# Отец Кристины-Альберты

# Герберт Уэллс

## Книга I

## Явление Саргона, Царя Царей

### Глава I

### Начало жизни мистера Примби

###### 1

Это история некоего мистера Примби, удалившегося на покой сотрудника прачечной и вдовца, который перестал принимать активное участие в делах прачечной «Хрустальный пар» в приходе святого Симеона Нерасторопного вблизи Вудфорд-Уэллса после кончины своей супруги, воспоследовавшей в году Господнем 1920. Его поджидало много поразительного. История эта по сути современная, история Лондона эпохи сэра Артура Конан-Дойла, радио и первых пэров-лейбористов. Исторический элемент в ней незначителен и отчасти неверен, а будущее, хотя и присутствует неизменно, в большой мере игнорируется.

Поскольку стирка в Лондоне подобно торговле молоком, выпечке хлеба, продаже постельного и столового белья, а также всяким другим видам коммерции является делом во многом специализированным и наследственным, не слишком-то открытым для посторонних, следует сразу же объяснить, что мистер Примби родился не под сенью прачечной. Ни духа, ни энергии лондонского знатока прачечных дел в нем не было. И приобщился он к ним через брак. В 1899 году он в Шерингеме познакомился с мисс Хоссет, богатой наследницей и девицей весьма решительного характера. Он ухаживал, завоевал ее, женился на ней, как вы вскоре узнаете, почти не отдавая себе отчета в том, что происходит. В прачечном мире Хоссеты — большие величины, и заведение «Хрустальный пар», которое вскоре перешло в способные руки миссис Примби, было лишь одним из серии родственных и схожих предприятий в северных, северо-восточных и юго-западных районах Лондона.

Мистер Примби, как весьма скоро и без обиняков установила семья мисс Хоссет, происходил из рода куда менее практичного, чем его супруга. Его отец был художником, очень обаятельным и необязательным, — художником-фотографом, проживал в Шерингеме и снимал, как их называли в восьмидесятых годах минувшего века, «жемчужные» фотографии летних посетителей этого приморского местечка. В указанные восьмидесятые он в Шерингеме был заметной фигурой — красивый брюнет, порой несколько растрепанный, в коричневом бархатном пиджаке и большой серой шляпе из мягкого фетра. Он завязывал беседу с курортниками на пляже и излучал такое достоинство, что в его ателье всегда хватало заказов для безбедного существования. Его жена, мать нашего мистера Примби, была терпеливой бесцветной личностью, дочерью фермера под Диссом. Когда со временем мистер Примби-старший исчез из жизни своего сына (у него возникла романтическая привязанность летом 1887 года к маленькому гастролирующему варьете, с которым он осенью тихонько испарился, чтобы больше никогда в Шерингем не возвращаться), миссис Примби-старшая стала работающей совладелицей небольшого пансиона и умерла примерно через год, оставив свою мебель, свою долю в пансионе и своего единственного сына попечениям миссис Уичерли — своей кузины и другой совладелицы пансиона.

Юный Альберт-Эдвард Примби был тогда миловидным, стройным, кудрявым (в отца) шестнадцатилетним блондином (в мать), с глазами синими, как небо у горизонта, мечтательным и не склонным к усердной работе. Совсем малышом он грезил наяву, в школе сидел над примером или учебником, не замечая их и глядя мимо, в неведомое. Из-за такой рассеянности его первые опыты на деловом поприще принесли лишь разочарование. После ряда безуспешных попыток применить свои дарования в той или иной созвучной ему части сложного механизма нашей цивилизации он на несколько лет осел в конторе агента по недвижимости и торговца углем в Норридже, дальнего родственника своей матери.

Какие-то давние, но еще живые сентиментальные воспоминания помогли Альберту-Эдварду получить это место и спасали его промахи и упущения от слишком уж взыскательной критики. Впрочем, он исполнял свои обязанности много лучше, чем кто-либо мог ожидать. Призвание агента, имеющего дело с недвижимостью, отличается от подавляющего большинства других призваний тем, что необходимая движущая энергия вкладывается исключительно клиентами, а сдача в наем особняков чем-то импонировала дремлющему воображению молодого Примби. В нем открылся природный дар к увлекательным описаниям, и со временем ему было поручено собирать сведения у желающих сдать в наем свою недвижимость. Он обладал очень полезным оптимизмом. И даже уголь оказался нежданно интересным, едва он открыл, что ему самому таскать его не придется. Ему не верилось, что все золотистые чешуйки в угле — это пирит, и он втайне лелеял мечту о великом коммерческом предприятии для добычи золота из шлаковых отвалов. Он никому не рассказывал об этом проекте, не предпринимал никаких шагов для его осуществления, но мечты скрашивали его будничные обязанности, суля свободу и богатство. А когда за полдень жизнь в конторе замирала, и ее оставляли на него, он отправлялся к столу, отданному под уголь, садился на край, рассматривал подносики с образчиками, брал куски угля, оглядывал их со всех сторон, взвешивал на ладони и предавался упоительнейшим грезам.

И если кто-нибудь в такие минуты заходил навести справки о доме, он беседовал с ними почти царственно.

В Норридже он стал членом Ассоциации молодых христиан, однако интересовала его более ее литературная, нежели религиозная сторона, и он посещал все литературные дебаты. Но никогда на них не выступал, а сидел в заднем ряду и размышлял, что политические деятели в конечно счете всего лишь марионетки в руках безмолвных богачей за сценой. В Норридже, кроме того, он смог заказать у портного свой первый сшитый по мерке костюм элегантного серого цвета. Когда в свой двухнедельный летний отпуск он приехал в Шерингем погостить у миссис Уичерли, ее весьма порадовала его преображенная внешность, а активный оптимизм, сменивший его прежнюю летаргию, произвел на нее большое впечатление. Когда он в сером костюме прогуливался днем по набережной, всякий, кто не был с ним знаком, легко принял бы его за состоятельного и преуспевающего курортника.

Кажется, только вчера, и в то же время так давно наш толстенький низенький мистер Примби был тем щуплым белокурым молодым человеком, который прохаживался по набережной Шерингема, поигрывая тросточкой и исподтишка, но жаждуще поглядывал на купальщиц в купальных костюмах с длинными юбками и в клеенчатых чепчиках. Было ведь это в те дни, когда автомобили все еще оставались главным образом источниками анекдотов — вонь, грохот, починки в придорожных канавах, а идея летательных аппаратов тяжелее воздуха признавалась неосуществимой. Королева Виктория отпраздновала свой Брильянтовый юбилей, и никто не верил, что Альберт-Эдвард, принц Уэльский, доживет до того, чтобы стать королем. На это лето планировалась война в Южной Африке длительностью в шесть месяцев и потребовавшая всего сорок тысяч солдат. И вот на третий день его отпуска в сером костюме и в Шерингеме на мистера Примби налетела катившая на велосипеде его будущая супруга мисс Хоссет и отбросила на свою подругу мисс Мийту Пинки, которая чуть его не переехала.

Ибо, каким бы невероятным это ни кажется современному читателю, в те далекие девяностые годы до появления более для этого подходящих автомобилей люди умудрялись сбивать и переезжать других людей с помощью еле ползущих транспортных средств, имевшихся тогда в наличии, — велосипедов, экипажей, влекомых лошадьми, и тому подобного.

###### 2

Мисс Мийта Пинки была эмоциональной блондинкой, и, когда мистера Примби швырнули на нее, она грациозно и естественно упала со своей машины в его объятия. Может показаться, что Судьба намеревалась положить начало новому союзу, но Судьба не учла мисс Хоссет в своих расчетах. Мисс Мийта Пинки была в те дни так же готова влюбиться, как сухой порох — взорваться, и она уже всей душой любила мистера Примби даже прежде, чем ее благополучно поставили на ноги. Она порозовела, широко раскрыла глаза и еле дышала, а мистер Примби, подобравший ее велосипед с видом героического спасителя, выглядел очень мужественным и красивым.

Мисс Хоссет, стукнув мистера Примби, резко повернула руль, спешилась и теперь стояла, готовая вступить в дискуссию. Толчок еще больше ослабил и без того разболтанный руль абсолютно ненадежной взятой напрокат машины.

Эта разболтанность и послужила причиной наезда. И ее внимание разделялось поровну между этим обстоятельством и возможными претензиями мистера Примби.

— Я позвонила звонком, — сказала она.

Она покраснела и выпрямилась. Была она круглолицей девушкой с длиной, худой шеей, хорошим свежим цветом лица, пенсне на тонком носу и решительным узкогубым ртом.

— Я сделала все, чтобы не столкнуться с вами, — сказала она.

— Такая неловкость с моей стороны, — обезоруживающе сказал мистер Примби. — Я замечтался.

— Вы не ушиблись? — спросила Мийта.

— Несколько растерялся, — ответил мистер Примби. — Особенно там, где меня задело колесо. Тут полно углов.

— Я бы упала, — сказала Мийта, — если бы вы меня не подхватили.

Мисс Хоссет успокоилась: конфликта с мистером Примби не намечалось. Видимо, он не собирался придираться к этому случаю.

— Руль совсем разболтан, — сказала она. — Вы только взгляните! Вертится как волчок. Им следовало бы отвечать за то, что они выдают в пользование подобные машины. Очень скоро та или другая даст повод для взыскания ущерба. Тогда они поостерегутся. Возмутительно, вот что я скажу.

— Теперь вам никак нельзя на нем ехать, — сказал мистер Примби.

— Да, — согласилась она. — Придется его вернуть.

Мистеру Примби ничего не оставалось, кроме как отвести машину через весь город до прокатной конторы, где мисс Хоссет сделала выговор владельцу, отказалась заплатить хоть пенс и обеспечила возвращение своего залога немногими, но точными словами. Мисс Пинки уплатила за пользование велосипедом один час. После всего этого маленькое общество числом трое не могло не сблизиться. Легкий нюанс приключения укреплял это сближение, а мистер Примби вел себя не более и не менее как законный постоялец в пансионе миссис Уичерли и завзятый курортник. Его новые знакомые были из Лондона, а он, говоря о себе, упоминал Норридж и управление недвижимостью. И так мило посмеивался над Шерингемом. Сказал, что это «очаровательнейшее захолустье с претензиями» и что всегда приятно приехать подышать морским воздухом.

— Модные курорты не в моем вкусе, — сказал мистер Примби. — Я слишком рассеян.

###### 3

В последующие годы мистер Примби часто пытался вспомнить те ступени, которые привели к его браку с мисс Хоссет, но всякий раз у него возникало смутное ощущение, будто он что-то упускает. Но вот что? И в какой связи?

Вначале ничто не указывало, что он женится на мисс Хоссет. Собственно, ничто не указывало, что он женится хоть на ком-нибудь, и если бы ему на ухо шепнули слово «брак», называя возможное последствие этой встречи, он пришел бы в ужас. Он заметил, что этим девушкам его общество приятно, но звеном между ним и ими, как ему казалось, была Мийта. И вскоре к их компании присоединился четвертый, откликавшийся на имя Уилфред, и мистеру Примби мнилось, что весь вид Уилфреда и мисс Хоссет неоспоримо свидетельствует о взаимном тяготении.

Юное общество тесной группой прогуливалось по набережной, пока набережная не кончилась, а тогда они обнаружили относительно укромную нишу в невысоком обрыве и предались восторгам воздыханий; и в тот день Мийта воздыхала с мистером Примби, а Уилфред воздыхал с мисс Хоссет. И через бездну четверти столетия память мистера Примби продолжала утверждать это категорически.

Нравы и обычаи меняются от века к веку. Просвещение распространялось, утонченность росла, и мир стал достоянием молодежи более сдержанной, более умудренной или более решительной, чем ее предшественники. Воздыхания эти представляли собой безыскусное неуклюжее лапанье, весьма модное в те исчезнувшие дни — лапанье, удерживаемое в рамках приличия (если в том возникала необходимость) возгласами «будет!» и «будет же, говорю вам!» из уст барышни. Они обнимались, они целовались, они склоняли друг к другу свои глупенькие юные головы и так коротали долгое время ожидания, пока любовь не брала свое. Летние английские курорты кишмя кишели молодежью, предававшейся этим жалким, глупеньким, смешным предвкушениям любви. Мистер Примби, как стало незамедлительно ясно, был прирожденным воздыхателем.

— Так чудесно, — сказала мисс Мийта, — ну, как вы меня тискаете.

Мистер Примби еще потискал и решился чмокнуть горячее ушко.

— Да подите вы! — сказала мисс Мийта голосом, придушенным от восторга. — Эти ваши усики, они щекочутся!

Раскрасневшись от такого ободрения, помышляя о дальнейшем, мистер Примби не заметил, что ситуация между мисс Хоссет и ее Уилфредом складывалась более черная и менее удовлетворительная. Уилфред не принадлежал к типу людей, симпатичных мистеру Примби. Вопреки небрежности его одежды — серые брюки спортивного покроя, старый пестрый жилет, твидовая куртка, коричневые башмаки и светлые носки, — он, как показалось мистеру Примби, сознательно давал почувствовать свое социальное превосходство. Молодой — самый молодой в их обществе, — он доминировал над ними. Его отличали большие красные руки, большие ступни, копна буйных волос, неправильные черты лица, которые в будущем могли стать красивыми, и грубый хохот. На мистера Примби он смотрел так, будто знал о нем всю подноготную, причем довольно скверного свойства, но пока не собирался ничего предпринимать по поводу его существования на земле. Он, шепнула Мийта, студент-медик из Кембриджа, а его отец — врач, практикующий на Харли-стрит, и недавно возведен в рыцари. Воздыхал он без малейшего энтузиазма, — казалось, ему надоело воздыхать. Быть может, он воздыхал уже несколько дней, и его беседа с мисс Хоссет происходила на пониженных, но резких тонах. Он сидел, чуть отстранившись от нее, среди песка и жесткой голубоватой травы, и лицо у нее горело. Того, что они говорили, наша сплетшаяся в объятиях пара не расслышала.

— Крис и Уилфред не ладят, как мы, — тихонько сказала Мийта. — Такие глупые!

— Он, как все мужчины, — сказала Мийта. — Ну, может, кроме одного. Хотят всего, а чтобы взамен что-то — ни-ни. Даже не желает сказать, что они помолвлены, — сказала она. — Увернулся от того, чтобы познакомиться с ее отцом.

Наступила некоторая пауза, затем ласки возобновились.

— Я в вас втюрилась, — сказала Мийта. — Ну прямо втюрилась. Таких синих глаз я еще не видела. Прямо как фарфоровая чашка.

###### 4

Вот так раздельно мистер Примби и его будущая супруга провели свой первый день вместе. День этот он помнил, как помнил большинство фактических событий, неясно — в обрамлении горячего песка, солнечного света, голубоватой травы и поросли маков, которые покачивали головками на фоне неистово синего неба. И затем сквозь эти ранние воспоминания на него словно прыгнула Крис Хоссет с горящими щеками и сверкающими глазами, еще увеличенными стеклами пенсне.

До этого прыжка втиснулись два-три дня. Мистер Примби в своей роли летнего приезжего в Шерингем не был обязан предъявлять фон своего социального происхождения, зато мисс Пинки представила его двум дородным благодушным тетушкам, явно предпочитавшим сидячую жизнь, в качестве молодого человека, имеющего какое-то отношение к мисс Хоссет, который спас ее от опасного падения с велосипеда, а затем он и она пили чай у родителей Крис Хоссет. Мистер Хоссет оказался очень больным человеком, на редкость толстым и раздражительным; он так и не стал прежним (каким бы прежде он ни был) после смерти единственного сына, и миссис Хоссет — энергичное тощее предупреждение о том, чем может стать ее дочь — ухаживала за ним, не покладая рук. В отличие от Крис она носила очки, а не пенсне, глаза у нее были умученные, цвет лица свинцовым, а шея тощей. На чаепитии присутствовали какой-то родственник и его жена, мистер и миссис Уиджери, которые, видимо, считали, что мистер Примби — родственник мисс Пинки. У мистера Уиджери было длинное рябое лицо и карие глаза, тусклее каких мистер Примби в жизни не видывал. Угощение никаких подвохов не таило, и мистер Примби ничем себя не уронил, слушая подробности опасностей, каким непрерывно подвергается существование мистера Хоссета из-за сердечной болезни, которыми его одолжила миссис Хоссет, и ее же сетования на тему, как тяжело и огорчительно уезжать, оставляя прачечную на попечение управляющего. На чай Уилфред не пришел. Его пригласили, а он не пришел.

Наследующий день мистер Примби встретил Уилфреда на набережной, где тот следил, как девицы плещутся в море возле купальни на колесах. Потом они вчетвером отправились погулять в поисках укромного уголка, и стало ясно, что мисс Хоссет отказывается и дальше воздыхать с Уилфредом. Стало ясно, что между Крис и Уилфридом все дошло до точки кипения. На обратном пути они и словом не перемолвились, и они еще не дошли до набережной, как Уилфред сказал «ну, пока!» и удалился по дороге, ведущей от моря. После чего Уилфред исчез из мира мистера Примби, который так и не узнал, что с ним сталось, да и не имел ни малейшего желания узнавать. А на следующий день он в первый раз заметил, что увеличенные глаза мисс Хоссет смотрят на него с интересом и вызовом, отчего ему стало почти тревожно.

Мисс Хоссет стала серьезной помехой в воздыханиях с Мийтой. Квартет теперь сократился в трио, и мистер Примби очутился, так сказать, на вершине треугольника, вечного треугольника, причем весьма острой формы. Когда одна его рука поддерживала Мийту, на другой повисала Крис. Она называла его «наш Тедди», она прижималась к нему, она заходила так далеко, что даже гладила его по волосам. При такой конкуренции ласки Мийты до какой-то степени отступили на второй план, но она никак прямо не возражала.

Глубоко в натуре мужчины-самца скрыт родник полигамной гордости. В этих новых обстоятельствах мистера Примби переполнили гордость и коварство. Он верил, что «крутит» с двумя девушками сразу, и ему казалось, что ничего лучше и придумать нельзя. На самом же деле не столько он крутил, сколько им крутили. В американском мире эмоциональных фантазий имеется идеал, называемый «пещерным человеком», который лелеют тихие, робкие женщины, так как он сулит избавление от малейших усилий с их стороны. Пещерному человеку положено схватить, сжать, куда-нибудь унести и обожать, обожать, обожать. В нашей простенькой любовной истории мистера Примби роль пещерного человека сыграла мисс Хоссет — во всяком случае, до момента унесения. В первый же раз, когда они остались вдвоем, она привлекла его к себе и поцеловала в губы так жарко, страстно и исчерпывающе, что мистер Примби был изумлен и ошарашен. Так это было не похоже на поцелуйчики, которые он срывал с Мийты, или на то, что с ним случалось в Норридже. Он и не подозревал, что существуют подобные поцелуи.

И в теплых летних сумерках мистер Примби обнаружил, что его уносит в укромный уголок пляжа для воздыханий с Крис Хоссет. Свет восходящей полной луны мешался с последними отблесками заката, камешки в песке сияли, как алмазы и звезды. Он держался храбро, но весь трепетал. Он знал, что на этот раз инициатива будет исходить не от него. И воздыхания с Крис Хоссет походили на воздыхания с Мийтой не больше, чем зарево домны походит на лунный свет.

— Я тебя люблю, — сказала Крис, будто это все оправдывало, а когда они, спотыкаясь, брели обратно в час, который мистер Примби назвал «жутко поздним», она сказала: — Ты ведь на мне женишься, верно? Ты обязан жениться на мне теперь. И тогда мы сможем изведать любовь сполна. И так часто, как захотим.

— Я, право, сейчас не вполне в состоянии содержать жену, — сказал мистер Примби.

— Ну, мне нет необходимости просить мужчину, чтобы он меня содержал, — сказала мисс Хоссет. — А ты чудо, Тедди, и я выйду за тебя, вот так!

— Да как это я могу на вас жениться? — спросил мистер Примби почти сварливо, потому что он действительно очень устал.

— Послушать тебя, так никто еще никогда не женился, — сказала Крис Хоссет. — А кроме того... после этого... ты обязан!

— Учтите, мне надо в следующий вторник вернуться в Норридж, — сказал мистер Примби.

— Об этом тебе надо было думать раньше, — сказала она.

— Но я же лишусь места.

— Само собой, папа тебе что-нибудь подыщет, и получше. Мы ведь не какие-нибудь бедняки, Тедди. Так не стоит пугаться...

Вот каким образом мистер Примби ухаживал за Крис Хоссет и завоевал ее. Он был испуган, страшно испуган, но в тоже время чрезвычайно возбужден. Случившееся казалось ему дико романтичным, очень жутким и чуть-чуть жестоким по отношению к Мийте Пинки. На следующий день он был вновь представлен старшим Хоссетам как жених их дочери, а она тайком дала ему три золотых соверена, чтобы купить ей в качестве сюрприза обручальное кольцо. Сперва миссис Хоссет вела себя так, словно одобряла мистера Примби, но не одобряла брак как таковой, а затем, после, видимо, бурной сцены с дочерью наверху в спальне, она повела себя так, будто очень одобряла брак как таковой, а мистера Примби считала крайне темной личностью. Мистер Хоссет не желал говорить с мистером Примби прямо, но он говорил о нем со своей женой и воображаемыми слушателями в присутствии мистера Примби, как о «проходимце», который «зацапал его девочку». Но и он тоже, казалось, одобрял брак, как таковой, и на его obiter dicta[[1]](#footnote-1) никто не отвечал.

Все это ставило мистера Примби в тупик и волновало его. Делал он только то, что ему говорили, и в брак его унесло, как утопающего течение уносит через плотину. Объяснение происходящего миссис Уичерли он отложил до более подходящего случая и утром во вторник ушел со своим чемоданчиком, будто возвращаясь в Норридж. Агенту по недвижимости и торговцу углем он написал коротенько письмо с сожалениями. Неотложные частные дела препятствуют ему вернуться к своим обязанностям. Миссис и мисс Хоссет поехали с ним в Лондон. Все они сняли номера в гостинице без подачи спиртных напитков, и мистер Примби был по специальному разрешению обвенчан в церкви св. Мартина у Трафальгарской площади.

Оттуда он отправился в прачечную «Хрустальный пар», чтобы жить с тестем и тещей и овладевать обязанностями помощника управляющего, сборщика заказов и рекламного агента. Мистер Хоссет никогда с ним не разговаривал, а иногда в его присутствии говорил о нем всякие неприятные вещи и бросал обвинения, которые лучше было пропускать мимо ушей, однако миссис Хоссет мало-помалу вновь стала с ним ласковой.

А вскоре у мистера Хоссета случился сердечный приступ, и он скончался, а через несколько месяцев мистер Примби стал отцом. Впервые увидев дочь (и, как оказалось в дальнейшем, своего единственного ребенка), он нашел ее крайне безобразным багровым существом. До тех пор ему не доводилось видеть новорожденных младенцев. У нее имелось много тонких-претонких темных волосиков, которые со временем сменились другими, крупные, ничем не примечательные черты лица и поразительно большие ступни и кисти. У мистера Примби возникло нелепое впечатление, будто он ее где-то уже видел, и она ему тогда не понравилась. Но через день-другой она превратилась в обыкновенного розового младенца, и недоумение уступило место родительской любви.

Ее окрестили Кристиной-Альбертой в честь матери и отца.

###### 5

С годами все эти переживания умягчились и сплавились в памяти мистера Примби в одно неясное, великолепное, романтичное, полное приключений прошлое. Он остался мечтательным и довольно рассеянным, но в целом был обязательным, верным мужем, и прекрасно ладил со своей властной и практичной супругой.

Она была, как он узнал уже после свадьбы, на три года старше него и продолжала быть по отношению к нему старшей во всех смыслах до дня своей смерти. Однако обходилась она с ним по-собственнически ласково и заботливо — выбирала всю его одежду, полировала его манеры и умение держаться, а также поддерживала его против всех посторонних. Одевала она его в стиле чемпиона по гольфу, чего он постарался бы избежать, будь у него право голоса в этом вопросе. Много лет она не разрешала ему обзавестись велосипедом, несколько придиралась к тому, как он вел счетные книги прачечной, выдавала ему на карманные расходы десять шиллингов в неделю и была склонна ограничивать возможность его бесед со служащими прачечной, принадлежащими к женскому полу. Но он как будто и не возражал против этих легких уклонений от покорности, обещанной ему женой перед алтарем. Вскоре у него появилась склонность к полноте, и он без видимых усилий отрастил порядочные пшеничные усы.

Их семейный очаг был очень приятным, что стало еще заметнее, когда миссис Хоссет последовала за мужем в его место упокоения в Вудфорд-Уэллсе под мраморным крестом с голубкой и оливковой веточкой в месте пересечения перекладин. Мистер Примби стал завзятым любителем чтения — и не только романтической литературы (он питал величайшее отвращение к «реализму» в любой форме), но и книг по древней истории, астрономии, астрологии и произведений мистиков. Его глубоко заинтересовали тайны пирамид и предположительная история погибшего континента Атлантиды. Влекли его еще труды о скрытых возможностях человеческой психики, а в особенности возможность многократно увеличить силу воли. Порой, когда поблизости не было миссис Примби, он практиковал силу своей воли перед зеркалом в спальне. По ночам он иногда усыплял себя силой воли, вместо того чтобы заснуть обычным способом. Много внимания он уделял пророчествам и эсхатологии. У него сложились собственные взгляды на Судный День, что могло бы привести к его разрыву с англиканской церковью, если бы миссис Примби не сочла, что такой разрыв неблагоприятно скажется на делах прачечной. Со временем у него собралась библиотека более тысячи томов, а его запас слов очень обогатился.

Его жена смотрела на все эти интеллектуальные занятия с дружеской симпатией, а порой — так и с гордостью, но сама в них участия не принимала. С нее было достаточно прачечной. И прачечную она любила все больше и больше. Любила стопки чистых накрахмаленных рубашек, и воротничков, и сложенных простынь, любила поскрипыванье деревянных механизмов и деловую суету стирального зала. Она любила, чтобы работа там шла упорядоченно, с соблюдением всех правил, непрерывно. Чтобы все проходило через котлы и валки для отжима в целости и сохранности, чтобы ничто не попадало не туда и не терялось по завершении стирки. Когда она появлялась там, голоса затихали, руки начинали трудиться с почтительным усердием. И она любила, чтобы дело приносило доход.

В воскресенье после полудня и в те дни, когда прачечная не нуждалась в его услугах, мистер Примби отправлялся в длинные прогулки. В хорошую погоду он шел в Эппингский лес, или до Онгара, или даже до овеянного сельским покоем Рутингса, а когда небо хмурилось, путь его лежал в сторону Лондона. Со временем трамвайные пути были проложены до нынешней конечной остановки в Вудфорде, и появилась возможность катить с приятностью до самого сердца Лондона по Севен-Систерс-роуд и через Кемден-Таун или (требовалось только чуть больше пройти пешком) по Ли-Бридж-роуд, через Энджел и Холборн.

Огромность Лондона, многогранность человеческой деятельности в нем будили дремлющее воображение мистера Примби. Он заходил в какую-нибудь булочную-кондитерскую, съедал лепешку с маслом (или пончик с вареньем) и выпивал чашечку какао; он часами рассматривал витрины магазинов и порой что-нибудь покупал. Он любил Чаринг-Кросс-роуд с ее книжными лавками, Тоттенхем-Корт-роуд, Холборн, Клеркенуэлл и Уайтчепел-роуд, но Пиккадилли, и Бонд-стрит, и Риджент-стрит выглядели слишком дорогими и не предлагали ничего интеллектуально интересного, к тому же он чувствовал, что его мешковатые брюки-гольф и кепка чуть-чуть не гармонируют с этой вызывающей роскошью. Иногда он отправлялся в Британский музей и с пристальным вниманием рассматривал предметы, так или иначе связанные с пирамидами. Знаменательные события особой важности всегда привлекали его в Лондон. Стоило случиться сенсационному убийству, сенсационному пожару, королевской свадьбе, королевским похоронам, и мистер Примби обязательно созерцал их оттуда, где толпа была гуще всего, нередко держа аккуратный пакет с провизией — бутербродом, апельсином или чем-нибудь подобным, — которым его заботливо снабдила миссис Примби. Но вот иллюминации и фейерверков он никогда не видел, потому что миссис Примби предпочитала, чтобы он был дома, когда дневной труд завершался. Великой войной 1914—1918 годов он наслаждался глубоко и истово. Как-то раз он прошел мимо мужчины, который, как он решил потом, несомненно был немецким шпионом. Этой мыслью он упивался несколько дней. Как бы то ни было, а он его досконально рассмотрел! Он присутствовал при многих воздушных налетах, и своими глазами видел, как был сбит цеппелин над Поттер-Баром. Он был на добрых четыре года старше призывного возраста, когда началась война, а пойти в отряд местной обороны жена ему не разрешила из опасения, что он простудится.

Обязанности мистера Примби в конторе были не слишком обременительными, но кроме того он заботился о расширении клиентуры и составил несколько убедительных рекламных проспектов. Его опыт агента по недвижимости помогал ему замечать дышащие состоятельностью особняки, которые иначе могли бы не привлечь его внимания, а затем выяснять, обитаемы ли они. После чего он проверял, пользуются ли они услугами прачечной «Хрустальный пар», и, если оказывалось, что не пользуются, он отправлял туда проспект, а затем даже и личное письмо. Проявлял он определенный интерес и к самой прачечной. Иногда он проводил там порядочное время, осматривая котлы отопления, или доставочные фургоны, или новые образчики технического прогресса вроде новых сушильных машин, пока не осваивался с ними. Но если он останавливался там, где работали девушки, миссис Примби под каким-нибудь предлогом возвращала его в контору, потому что, по ее убеждению, вид стоящего рядом мужчины дурно влияет на работу девушек. Он выписывал, а иногда читал журнал, издававшийся для занимающихся прачечным делом, а также газету, адресованную владельцам красильных заведений и химчисток.

Порой его осеняли блестящие идеи. Так, именно он придумал выкрасить доставочные фургоны ярко-голубой краской и украсить их свастикой, а также вы красить той же краской фасад прачечной с той же эмблемой и поместить ее на проспектах. Но когда он захотел снабдить доставщиков кепи со свастикой и обзавестись голубыми корзинами для доставки белья, миссис Примби сказала, что по ее мнению, это будет уже чересчур. Кроме того, именно мистер Примби еще в 1913 году предложил заменить конные фургоны на «форды», что и было осуществлено в 1915 году.

А дома у них Кристина-Альберта под сенью мягко интересующегося ею отца и очень занятой и иногда колкой матери стала из девочки девушкой, а затем и женщиной.

### Глава II

### Кристина-Альберта

###### 1

История эта, как было ясно объяснено в первом абзаце первого раздела первой главы, представляет собой историю мистера Примби в более поздние года его жизни, когда он овдовел. Это утверждение равноценно обычной коммерческой гарантии, и мы ни под каким видом не забредем в сторону от мистера Примби. Однако в течение этого времени жизнь его дочери так тесно переплеталась с его жизнью, что возникает необходимость четко и ясно рассказать о ней довольно много, прежде чем мы сможем приступить к нашей основной истории. Но и когда приступим, и пока будем продолжать, и так до самого конца, Кристина-Альберта будет постоянно в нее вторгаться.

Вторгание было заложено в ее природе. Она никогда не была тем, что принято называть милым ребенком. Но ее папочка всегда ей очень нравился, а он питал к ней величайшую привязанность и уважение.

Такта у нее почти — или вовсе — не было, но в ней всегда таилось что-то отчужденное, надзвездное, что-то заинтриговывающее, бросающее вызов. Даже внешность ее была бестактной. Торчащий нос, обладавший тенденцией увеличиваться, тогда как нос миссис Примби был маленьким, блестящим, зажатым пенсне, а нос ее отца, изящно вырезанный, точно мужественная лодочка устремлялся к величавому каскаду усов. Она была темноволосой, а волосы обоих ее родителей были светлыми. Когда она подросла, магическая сила переходного возраста собрала черты ее лица в эффектный ансамбль, но по-настоящему хорошенькой она так и не стала. Глаза у нее были карими, блестящими и суровыми. От матери она унаследовала узкогубый рот и умеренно решительный подбородок. И еще кожу — чистую, упругую, и яркий цвет лица. Она была поющим, орущим, швыряющимся, дерущимся ребенком со склонностью не слушать увещеваний и почти инстинктивным умением увертываться от шлепков. Она порхала с места на место. Могла оказаться на чердаке или у вас под кроватью. Выход был только один: встать на четвереньки и заглянуть туда.

Она танцевала. Ни мистер Примби, ни миссис Примби никогда не танцевали, и эти постоянные дерганье и верчение ставили их в тупик и тревожили. Звуки рояля или оркестра, играющего где-то вдали, сразу пробуждали в ней потребность танцевать, или же она танцевала, сама себе напевая, она танцевала под духовные гимны, и по воскресеньям. Мистер Примби обещал награду в шесть пенсов, если она пять минут просидит спокойно, но награда так никогда и не была востребована.

В своей первой, смешанной школе в Бакхерст-Хилл, она была сначала сугубо непопулярной, потом стала сугубо популярной, а потом ее исключили. Затем она преуспела в вудфордском пансионе Тавернеров для девочек, где в ней с самого начала признали юмористку. С самого начала называть ее иначе чем Кристиной-Альбертой ни у кого не получалось. Кто бы что бы ни пробовал, все кончалось Кристиной-Альбертой. Бэбс, Бэби, Берти, Чмочка называли ее дома, а еще Алли и Тина. В школе испробовали Носатка, и Прачка, и Ножища, и Прими, и Прим. А еще Ведьма, потому что во время хоккея на траве волосы у нее превращались в спутанные космы. Но все эти прозвища быстро отлипали, и вновь открывалось исходное имя.

На уроках она быстро схватывала знания, особенно на истории, географии и рисовании, но была непочтительна с учителями и учительницами; в хоккее она играла правым нападающим с большим успехом. Щипалась она жутко. И строила такие гримасы, дергая носом, что те, кто послабее, впадали в истерику. Особенно ей это удавалось во время школьных молитв.

В отношениях между нею и матерью вплеталась враждебность. Не слишком заметная, но тем не менее... Мать, казалось, затаила на нее какую-то невыразимую обиду. Она не препятствовала миссис Примби исполнять свой материнский долг, но мешала возникнуть между ними настоящему теплому чувству. С самого раннего возраста все поцелуи доставались папочке, на него лазили, его теребили. Он называл ее «моей собственной девочкой», а иногда даже говорил, что она — Чудо. Он водил ее гулять и рассказывал ей много тайн, его занимавших. О погибшей Атлантиде, и о тибетских ламах, и об основах астрологии, сохраняющихся зашифрованными в пропорциях пирамид. Ему, говорил он, очень бы хотелось осмотреть пирамиды как следует. Порой человеку удается увидеть то, чего другие не видят. Она слушала внимательно, хотя и не всегда воспринимала, как следовало бы.

Например, он рассказывал ей о добродетелях и науках атлантидцев.

— Они ходили в длинных белых одеяниях, — говорил он. — Более похожие на тех, о ком повествует Библия, чем на обыкновенных людей.

— Очень хорошо для прачечных, — сказала Кристина-Альберта.

— Все, что мы знаем об астрологии, лишь обрывки того, что знали они. Им было ведомо прошлое и будущее.

— Как жалко, что они все утонули, — заметила она словно бы без малейшей иронии.

— Возможно, они утонули не все, — сказал он таинственно.

— По-твоему, и сейчас есть атлантидцы?

— Некоторые могли спастись. И потомки их могут быть ближе, чем ты думаешь. Ведь в нас с тобой, Кристина, возможно, есть кровь атлантидцев!

В его голосе была глубокая убежденность.

— Только пользы от нее вроде нет никакой, — сказала Кристина-Альберта.

— Гораздо больше, чем ты думаешь. Скрытые способности. Прозрения. И всякое такое. Мы — не обычные люди, Кристина-Альберта.

Некоторое время каждый грезил о своем.

— Но мы ведь не знаем, что мы атлантидцы, — сказала Кристина-Альберта.

###### 2

После того как она проложила себе путь в шестой класс пансиона, перспективы дальнейшего образования Кристины-Альберты были омрачены раздорами как внутри школы, так и вне ее. В учительском составе из-за нее возник раскол. Скверная дисциплина, на уроках занимается скверно, отвратительно, а вот экзамены — и особенно, когда их проводят преподаватели других учебных заведений — сдает блестяще. В общем, убрать ее из школы хотелось всем, спор шел лишь о том, с помощью ли университетской стипендии, или просто попросить родителей забрать ее.

Учительница физкультуры была склонна рассмотреть и третий возможный выход — убийство: девчонка пренебрегала стилем в играх, имела недостойное истинного спортсмена обыкновение побеждать в них с помощью неожиданных непринятых приемов, а занятия маршировкой и гимнастикой рассматривала как повод для пошлых шуточек, более уместных на обычных уроках. Учительница родного языка и литературы соглашалась с этим, хотя Кристина-Альберта тратила на сочинения часы и часы, вставляя в них фразы и абзацы из Пейтера, Рескина и Хэзлитта так, чтобы они могли сойти за ее собственные построения. И не ее была вина, если раз за разом эти нити литературного золота подчеркивались красными чернилами с пометками «Неуклюже», или «Можно было бы выразить получше», или «Слишком цветисто». Только у директрисы нашлось для Кристины-Альберты доброе слово. Но ведь директриса, как того требовало ее положение, специализировалась на понимании особенно трудных учениц. А Кристина-Альберта с директрисой всегда была тихо почтительной и с обескураживающей быстротой умела показать наилучшие стороны своего характера всякий раз, когда директрису призывали ее обуздать.

Едва Кристина-Альберта поняла, как стоит вопрос, она выбрала стипендию. И перевоспиталась почти навязчиво. Она стала аккуратной, больше не отпускала шуточки, сет за сетом проигрывала преподавательнице физической культуры как истинная маленькая спортсменка, и еще она перестала спорить и начала прилежно обезьянничать со Стивенсона для враждебно настороженной учительницы литературы. Но даже в школе это было очень нелегко. Ее новая манера играть в теннис чуть слишком отдавала изящной уступчивостью, а в ее сочинениях чуть слишком заметно шуршал искусственный шелк. Возможность того, что она станет одной из тех счастливиц, которые отправляются из пригородов на занятия в Лондон и приобщаются высшей жизни вдали от родительских глаз и порой до позднего вечера в студиях, лабораториях и лекционных залах, — эта возможность выглядела очень зыбкой, даже если отбросить спокойное, но решительное противодействие ее матери.

Ибо миссис Примби не принадлежала к женщинам, которым нравится, что их дочери получают образование, возносящее их над родителями и социальным положением, им предназначенным. Она начала сожалеть о своей слабости, о том, что не привела Кристину-Альберту в прачечную в четырнадцать лет, как привели ее. Тогда бы она изучила дело с азов, обрела бы необходимые знания, чтобы помогать матери, а затем и сменить ее, как миссис Примби помогала миссис Хоссет, а потом сменила ее. Но школа с ее теннисом, ее музыкой, ее французским и так далее настроила девочку против этой чистой и очищающей жизни. Ей уже шел семнадцатый год, и чем скорее она оставит все это, ведущее прямо к учительству в школе, стародевичеству, отпускам в Италии, «артистической» одежде и чванливой никчемности, тем будет лучше для нее и для всех.

Она начала кампанию против привычки Кристины-Альберты сидеть в позах, для барышни неприличных, и читать; а когда мистер Примби решился на необычную для себя дерзкую смелость и сказал, что это слишком уж сурово и он ничего дурного не видит, если девочка почитает книжку-другую, миссис Примби потащила его в комнатку Кристины-Альберты показать ему, к чему это ведет, а особенно полюбоваться, какие она там картинки понавешивала. Но даже когда ему была предъявлена репродукция микеланджеловского сотворения Адама, каким великий художник изобразил это событие на потолке Сикстинской капеллы в Риме, он все еще пытался слабо сопротивляться и сказал, что это — «Искусство».

— Ты, по-моему, ей что угодно спустишь, — сказала миссис Примби. — Нет, ты только посмотри на это! Искусство! Посмотри на книги! «Происхождение видов» Дарвина! Самое подходящее чтение для девушки.

— Наверное, она не понимает вредности этой книги, — сказал мистер Примби.

— Она-то?! — коротко и выразительно откликнулась миссис Примби. — А ты вот на это посмотри!

«Этим» оказался «Биологический атлас» Хоу. Миссис Примби раскрыла его большие страницы, подробно иллюстрирующие вскрытие лягушки.

— Право же, дорогая моя! — сказал мистер Примби. — Это просто один из ее учебников. Право, ничего такого, что можно бы назвать неприличным, я тут не нахожу. Это Наука. И в конце-то концов, что такое лягушка.

— Хорошеньким вещам нынче учат в школах. Эти твои Искусство и Наука! Ничего не оставляют воображению. Да если бы я, когда была девочкой, спросила маменьку, что внутри у какого угодно животного, она бы меня отшлепала, и больно бы отшлепала. И поделом бы! Есть вещи, от нас скрытые, и скрытыми им следует оставаться. Бог показывает нам ровно столько, сколько нам полезно. Даже больше. И незачем распарывать животы всяким тварям. А вот... а вот книжка на французском!

— Хм, — произнес мистер Примби, слегка сдаваясь. Он взял лимонно-желтый томик и повертел в руках.

— Чтение! — сказала миссис Примби, указывая на три книжные полки.

Мистер Примби собрался с духом.

— Не требуй, чтобы я возражал против чтения, Крис, — сказал он. — Это и удовольствие, и просвещение. В книгах есть вещи... Право, Крис, по-моему, ты бы чувствовала себя счастливее, если бы иногда читала. Кристина-Альберта — прирожденная читательница, нравится тебе это или нет. Думается, тут она пошла в меня.

Миссис Примби вздрогнула и уставилась на его упрямое, покрасневшее лицо. Пенсне еще больше увеличивало гнев в ее глазах.

— Нет, это удивительно, — сказала она после короткой паузы, — это просто удивительно, как Кристина-Альберта умудряется делать все, что ей хочется.

###### 3

Мисс Молтби-Неверсон, директриса пансиона, побывала у миссис Примби и сильно поколебала ее убежденность. Она, бесспорно, была настоящая леди, а школьная стирка, пока шли занятия, приносила по двадцать фунтов в неделю. Ее повели показать возмутительную картину, а она сказала:

— Так красиво! Одна из величайших картин в мире. И глубоко религиозная. Слова Библии, претворенные в картину. Что в ней вам не нравится, миссис Примби?

И тут, как по мановению волшебной палочки, картина перестала быть возмутительной, и миссис Примби стало стыдно за себя. Теперь она увидела, что ничего дурного в картине никогда не было.

Мисс Молтби-Неверсон сказала, что Кристина-Альберта — трудная девочка, но очень интересная личность, настоящая личность. И с большой способностью к теплой привязанности.

— Никогда этого не замечала, — сказала миссис Примби.

— Она принадлежит к типу, который я изучала, — сказала мисс Молтби-Неверсон просто, но исчерпывающе.

Она объяснила, что Кристина-Альберта принадлежит к *активному* типу. Предоставленная самой себе без дела, которое потребовало бы от нее *напряжения* ее способностей, она легко может наделать всякие опасные глупости. Почти всякие. Хотя ничего по-настоящему дурного в ее натуре нет. Просто избыток энергии. Если ей предоставить интересную трудную работу и дать простор для ее честолюбия, она может стать весьма достойной женщиной, возможно даже, выдающейся женщиной.

— Я в выдающихся женщинах не нуждаюсь, — отрезала миссис Примби.

— Но в них нуждается мир, — мягко сказала мисс Молтби-Неверсон.

— Боюсь, я старомодна, — сказала миссис Примби.

— Но Кристина-Альберта — нет.

— Мужчина пусть будет выдающимся в делах, а женщина — у себя дома, — сказала миссис Примби. — Сожалею, что не согласна с вами, мисс Молтби-Неверсон, но убеждения есть убеждения.

— Все зависит от нас самих, — сказала мисс Молтби-Неверсон.

— Боюсь, мне нравится, чтобы командовали мужчины, — сказала миссис Примби. — У женщины есть в мире свое место, другое, чем у мужчины.

— Но мне казалось, мистер Примби одобряет идею стипендии.

Миссис Примби даже растерялась.

— Ну, да, одобрял, — сказала она, словно не понимая, при чем тут это.

— Не отказывайтесь заранее, — сказала мисс Молтби-Неверсон. — Ведь она может и не получить стипендии.

Но Кристина-Альберта стипендию получила с оценками даже выше необходимых. Стипендия была двухгодичной, учрежденной филантропом с передовыми взглядами. Учреждена она была в Лондонской школе экономики. Едва Кристина-Альберта узнала, что стипендия за ней, как, не посоветовавшись с матерью или с кем-либо еще, отправилась в парикмахерскую и коротко постриглась. Для миссис Примби это было ударом чуть ли не хуже стипендии. Она оглядела свою обкорнатую носато-красивую дочь, испытывая приступ искренней ненависти.

Ей нестерпимо хотелось, чтобы ее дочь испытала бы к себе те же чувства, какие к ней испытывала она.

— Посмотрела бы ты на себя со стороны! — сказала она с ядовитейшей горечью.

— Знаю, знаю, — сказала Кристина-Альберта.

— И за что мне такая кара, — сказала миссис Примби.

###### 4

Но проучилась Кристина-Альберта в Лондонской школе экономики всего год: в начале второго мать принудила ее отказаться от стипендии. Как-то вечером Кристина-Альберта, не предупредив мать, задержалась в Лондоне допоздна на обсуждении «Вопроса о народонаселении» в клубе «Добрая надежда» на Фитцджеральд-стрит и домой вернулась настолько пропахшая табачным дымом, что ее мать тут же раскаялась в своих уступках духу современности и тут же взяла их все назад.

Этой минуты она выжидала много месяцев.

— Ну, хватит, — сказала она дочери, впуская ее.

Кристина-Альберта обнаружила, что пока у нее не было средства обойти это решение или пренебречь им. Тщетно она воздействовала на отца и мисс Молтби-Неверсон. Но вместо того, чтобы отказаться от стипендии немедленно, как ей было велено, она тянула время и объясняла свое отсутствие на занятиях неопределенными ссылками на семейные обстоятельства. Миссис Примбли была в те дни уже очень плоха здоровьем, но от ее дочери и ее мужа факт этот заслонялся другим, куда более давящим на них фактом: теперь она неизменно была в очень плохом настроении. Все и вся будто сговорились допекать ее — кроме мистера Примби, который ни в коем случае не позволил бы себе ничего подобного.

Заключительные годы Великой войны и в еще большей степени первый год мира, обманувшего ожидания, были крайне трудными годами для прачечного дела. Девушек теперь брали на заводы боеприпасов, они зазнались и с молодыми прачками никакого сладу не было. Уголь, мыло — ну все стоило неслыханно дорого, а покрывать лишние расходы, повысив плату, оказалось невозможным: люди, даже люди самые приличные, отказывались от чистоты. Джентльмены с положением надевали одну и туже рубашку три-четыре раза, а нижние рубашки и кальсоны носили по две недели. Столовое и постельное белье тоже попадало в стирку реже. Люди то и дело переезжали; жены новых офицеров появлялись и исчезали — сегодня здесь, а завтра там, — оставляя после себя неоплаченные счета. Никогда еще у миссис Примби не скапливалось столько безнадежных счетов. Шоферы фургонов возвращались с войны такими контуженными и военизированными, что присваивали деньги чисто по нервности или по привычке. Подоходный налог превратился в кошмар. Вне дома, как и дома, жизнь миссис Примби представляла собой непрерывный конфликт. Она сохранила «Хрустальный пар», сводя концы с концами на протяжении всего этого жуткого времени, потому что была наделена истинным организаторским талантом, но обходилось ей это в невосполнимые затраты жизненной энергии.

Она горько сетовала, что от мистера Примби и ее дочери нет никакой помощи, а когда они пытались помогать, она сетовала на их никчемность. От них было больше вреда, чем пользы.

Когда они завтракали, обедали и ужинали, это было ужасно. Она сидела вся красная, сверкала глазами сквозь пенсне, явно потрясенная жгучим осознанием несправедливости, правящей миром, и почти ничего не ела. Попытки мистера Примби завести бодрящий разговор редко увенчивались успехом. Даже Кристина-Альберта присмирела.

— Дела сегодня утром шли получше? — начинал мистер Примби.

— Неужели я даже за едой не могу отдохнуть от работы? — говорила с упреком бедная дама.

Или:

— Приятная погодка для скачек.

— Жаль, что ты не можешь на них поехать, в прачечной от тебя же никакого толка нет. Думается, ты даже не слышал, что произошло с фургоном номер два?

— Нет! — воскликнул мистер Примби.

— Уж конечно. Заднее крыло помято. Оно в таком виде уже несколько недель. И никому не известно, кто это сделал. Можно бы подумать, что тут нужен мужской глаз. Но заметить я должна сама. И заплатить за починку. Как за все остальное здесь.

— Пожалуй, мне следует заняться этим.

— Знаю я, как ты занимаешься! Лучше уж не вмешивайся. Скаль зубы и терпи.

Молчание за столом восстанавливалось.

Она словно бы придавала огромное значение этой жуткой тишине. Она даже жаловалась, что он слишком громко хрустит сухариками с сыром. Но как еще можно ими хрустеть? Кристина-Альберта была потверже и начинала возражать. Тогда ее мать обрушивалась на ее дерзость и заявляла: «кто-то из нас» выйдет из-за стола.

— Я почитаю наверху, — говорила Кристина-Альберта. — Я здесь обедаю не по своему желанию.

До внезапного конца университетской карьеры Кристины-Альберты дома она только завтракала и ужинала. Ужин по качеству был далеко не так ужасен, как завтрак, а завтрак можно было быстро проглотить и убежать. Но после катастрофы из-за клуба «Новая Надежда» она присутствовала и на обеде — своего рода громоотвод для отца и нечто вроде узды и добавочного источника раздражения для матери. Она избрала тактику соглашаться, что раз ей надо отказаться от высшего образования, то она должна заняться прачечным делом. Но, упрямо доказывала она, чтобы преуспеть в современных условиях, необходимо «надлежащее обучение основам бизнеса». Если она не может учиться в Лондонской школе экономики, тогда ей следует поступить в Томлинсоновскую школу коммерции в Чансери-Лейн и научиться бухгалтерскому учету, стенографии, машинописи, ведению деловой корреспонденции, коммерческому французскому и так далее. И после трех недель застольных мучений это предложение было принято — правда, на крайне строгих условиях, — и ее сезонный билет до Лондона был продлен. Она вполне плодотворно прожила следующую зиму, постигая основы коммерции у Томлинсона и превратив большую часть Лондона в свою площадку для игр. Она научилась множеству вещей. И прибавила новых подруг и знакомых, как стриженых, так и нет, самых разных сословий и общественного положения, к кругу, которым успела обзавестись в Лондонской школе экономики.

Когда довольно скоро миссис Примби начала говорить о мучающих ее грызущих болях, и муж и дочь вначале сочли это новым способом изливать свою обиду на них и не встревожились. Мистер Примби сказал, что ей надо бы посоветоваться с кем-нибудь или показаться кому-нибудь, но в течение нескольких дней она с презрением отвергала подобную возможность. Если она обратится к врачу, сказала она, им придется найти кого-нибудь управляться с прачечной. Врачи укладывают тебя в постель и пичкают всякой дрянью, чтобы ты подольше в ней пролежала. А то на что бы они жили?

Потом она внезапно изменилась. Как-то утром объявила, что чувствует себя «ужасно» и снова легла, а мистер Примби со странным ощущением, что наступает конец мира, затрусил за доктором. Градусник показал температуру за тридцать девять.

— Так болит! — сказала миссис Примби. — Бок болит. Один раз такое со мной уже было, но только полегче.

Вернувшись домой в этот вечер, Кристина-Альберта обнаружила, что способна испытывать страх, раскаяние и нежность.

Ей довелось пережить с матерью несколько странных минут в промежутках между легким бредом и полной потерей сознания. Лицо миссис Примби словно стало меньше и миловиднее; румянец жара на щеках, казалось, возвращал ей эхо юности. Больше она не была суровой или сердитой, но до жалости дружелюбной. А Кристина-Альберта и не помнила даже, когда видела ее прежде в постели.

— Заботься о своем папе, — сказала миссис Примби. — Ты ему обязана больше... и меньше, чем ты думаешь. Мне пришлось сделать то, что я сделала. Заботься о нем. Он кроткий, хороший, легко поддается на уговоры, и в мире ему одному не справиться...

— Я никогда не была для тебя всем тем, чем должна быть мать. Но с тобой сладу не было, Кристина... Я всегда тебя уважала...

— Я рада, что ты не унаследовала моих глаз. Пенсне — это проклятие.

Тревога за прачечную занимала значительную часть ее мыслей.

— Эта Смизерс, прачка, нечиста на руку, и я бы выгнала этого нового истопника, Бексендейла. Не понимаю, почему так долго терпела миссис Смизерс... Слабость... Про него я не так уверена... еще ни на чем не попался, но я чувствую, что он вор... Боюсь, мы слишком долго не взыскивали по счету с леди Бэджер. Нынче титулам... доверять нельзя. Она обещала чек... Но не верится мне, что вы с ним вдвоем справитесь в прачечной. Он не может, ты не хочешь... А ты бы могла... Да уж что теперь.

— Продать ее как предприятие на ходу? Виджери могли бы заинтересоваться. Он кремень, но он честный. Достаточно честный. Наверное, они заинтересуются...

— Мне и в голову не приходило... думала, меня еще на двадцать лет хватит... И зачем только доктор про операцию... Что от нее толку...

Она часто повторялась.

— Мне противно думать, что меня выпотрошат, — сказала она. — Думается... Как лягушку в твоем учебнике...

— Упаковано как сумка... И уж назад — нет. На куски...

— Бельевая корзина или чего-нибудь такое... чтобы вместе собрать.

Тут ее мысли переметнулись к чему-то непонятному для Кристины-Альберты.

— Удрал, а меня оставил расхлебывать... Интересно, что с ним сталось... А вдруг... Подумать только, что, если бы ему выпало оперировать... Оперировать...

— Детьми мы были.

Она словно бы опомнилась и посмотрела на дочь сверлящим взглядом. Какой-то инстинкт подсказал Кристине-Альберте придать лицу равнодушие. Но эти слова запечатлелись в ее сознании, остались там, проросли, точно семена. Они были детьми, и он удрал? Странно, и согласуется все же с разными другими непонятностями.

###### 5

В глубоком трауре мистер Примби выглядел совсем уж низеньким, но исполненным необычного достоинства. Кристина-Альберта тоже была чрезвычайно черной и глянцевитой. Впервые в ее жизни юбки доставали ей до щиколоток — жертва, которая, как она чувствовала, была бы особенно приятной духу усопшей.

В жизнь Кристины-Альберты вошло нечто новое. Ответственность. Она поняла, что по непостижимым причинам несет ответственность за мистера Примби.

Было очевидно, что внезапная смерть его жены под ножом хирурга явилась для него огромным ударом. Он не был пришиблен, не рыдал, не предавался пароксизмам горя, но стал немыслимо тихим и печальным. Его круглые, синие как фарфоровая чашка глаза и его усы взирали на мир с торжественной скорбью. Гробовщику редко доводилось встречать такого превосходного вдовца. «Все самое лучшее, — сказал мистер Примби. — Все, что она может получить, она должна получить». И при таких обстоятельствах гробовщик, бывший другом семьи, поскольку часто встречался с мистером и миссис Примби за вистом, выказал достохвальную умеренность.

— Ты даже вообразить не можешь, что все это означает для меня, — много раз повторял мистер Примби Кристине-Альберте.

— Это был чистейший брак по любви, — говорил он. — В высшей степени романтичный. Выходя за меня, она ничего не приобретала. Но ни она, ни я не думали о пошлых соображениях. — Он помолчал, борясь с непослушными воспоминаниями, но усмирил их. — Мы едва познакомились, — сказал он со слабой улыбкой, — и сразу показалось, что это суждено.

«Удрал и оставил меня», — прошелестел шепот в памяти Кристины-Альберты.

###### 6

В эти дни траура требовалось позаботиться об очень многом. Кристина-Альберта старалась помогать, опекать и направлять мистера Примби, как того желала ее мать, но с удивлением обнаружила в нем некоторую нежданную решительность, которая словно бы возникла в первые же часы после смерти ее матери. Во-первых, твердое намерение избавить себя и ее от прачечной, продав это заведение, или сдав его в аренду, или, если ничего другого не останется, уничтожить его — сжечь дотла или взорвать к небесам. Он не обсуждал это, а считал неизбежной необходимостью. Он не выражал никакой вражды к прачечной, не поминал лихом жизнь, которую вел там, но каждая мысль выдавала его изначальное отвращение. И еще они должны будут уехать — немедленно! — из Вудфорд-Уэллса, и больше никогда туда не возвращаться. Кристина-Альберта сама пришла к почти таким же решениям, но никак не ожидала, что и он к ним придет со столь неколебимой бесповоротностью.

Он прямо заговорил о будущем, когда они сидели за ужином вечером после похорон.

— Двоюродный брат твоей матери, Сэм Уиджери, — сказал он, — разговаривал со мной. — Несколько секунд он жевал: усы поднимались и опускались, синие как фарфоровая чашка глаза смотрели в окно на закатное небо. — Он хочет ее забрать.

— Прачечную?

— Как предприятие на ходу. И, поскольку он наш ближайший родственник, так сказать, я предпочту, чтобы она досталась ему, а не кому-нибудь еще. При прочих равных... Хотел бы я знать, сколько запросить у него за нее. Было бы неприятно назвать слишком маленькую сумму. И я ответил, что похороны — не время для деловых разговоров. Сказал, чтобы он заглянул завтра. Их заведение хиреет. Оно как бы увязло в Уолтемстоу. Ему выгоднее выбраться оттуда, а землю сдать под строительство. Денег у него немного... Но эту прачечную он облюбовал. Да, облюбовал.

Его синие глаза превратились в глаза человека, которого посещают видения.

— Не знаю, учили тебя в школе экономики, как создают компании. Я во всем этом сущий ребенок. Он говорит о партнерстве, или о закладной, или еще о чем-то таком, но нам нужна... нам нужна компания с ограниченной ответственностью. Нам нужны привилегированные акции, но только привилегированные акция первого класса. Надо, чтобы мы получали больше того, что он будет получать с предприятия. Иначе компания может урезать обеспечение твоих привилегированных акций, выплачивая более высокие дивиденды на простые акции. У него будут простые акции. У него и его жены. Я не говорю, что он устроит такое сознательно, однако его легко могут толкнуть на это. За ним нужно присматривать. Нам надо устроить так, чтобы в случае, если он будет платить по своим акциям больше, чем по нашим, мы могли бы уравнять наши доли. Все это крайне трудно и сложно, Кристина-Альберта.

Кристина-Альберта смотрела на мистера Примби с новым и возрастающим уважением. Она еще ни разу не слышала, чтобы он произносил за столом подобную речь, но, с другой стороны, ему впервые не грозило, что его перебьют и наставят на ум.

— Надо будет, конечно, чтобы наши поверенные оформили все это надлежащим образом, — сказал мистер Примби.

— Финансово мы будем не в таком уж плохом положении, — продолжал он, беря сыр. — У нас есть пара закладных и несколько домов в Бакхерст-Хилле. Как ни странно, твоя бедная дорогая мама доверяла моему глазу в вопросах недвижимости. И часто позволяла мне руководить ею в этой области. А у меня всегда было чувство, что следует обзавестись резервом, помимо семейного дела... Очень вероятно, что Сэм Уиджери захочет взять большую часть мебели тут. Этот дом ведь больше, чем его...

— Где ты думаешь поселиться, папа? — спросила Кристина-Альберта.

— Еще толком не знаю, — ответил мистер Примби после минутного размышления. — То об одном месте подумываю, то о другом.

— Лондон, — сказала она. — Если бы я могла вернуться к занятиям, пока еще не совсем поздно.

— Может быть, и Лондон, — сказал он.

Прежде чем продолжить, он замялся с обычной неуверенностью, давно свыкнувшись с тем, что его предложения встречались в штыки и тут же отбрасывались.

— Ты слышала про пансионы, Кристина-Альберта? — спросил он с неубедительной небрежностью. — Ты никогда не думала, что мы могли бы поселиться в каком-нибудь пансионе?

— В Лондоне?

— Пансионы есть по всему миру, ну, почти. Видишь ли, Кристина-Альберта, мы могли бы избавиться от своей мебели здесь, кроме моих книг, ну и каких-нибудь мелочей, их на время мы могли бы сдать на хранение — Тейлоровский склад займется этим для нас, — а сами поселились бы в одном пансионе, потом переехали бы в другой, и в третий. Тогда ты могла бы учиться и не заниматься хозяйством, а я бы читал, и кое-что осматривал бы, и составлял бы меморандумы касательно некоторых моих теорий, и разговаривал бы с людьми, и слушал бы их разговоры. В пансионах живут самые разные люди — всякие интереснейшие люди. Последние ночи я без конца размышлял о жизни в пансионах. Все думал — и так, и эдак. Для меня это была бы новая жизнь, словно бы я начал заново. Жизнь здесь была такой размеренной. Конечно, все было хорошо, пока была жива твоя бедная дорогая мама, но теперь я чувствую, мне нужны отвлечения, хочу ездить, видеть много всякого, встречать разных людей. Я хочу забыть. И ведь в некоторых пансионах живут китайцы, и индийцы, и русские княгини, и профессора, и актеры, ну самые разные люди! Даже просто послушать их!

— В Блумсбери есть пансионы, где полно студентов.

— Всяких, всяких людей, — сказал мистер Примби и налил себе оставшееся пиво. — Очень меня привлекает одно место, — продолжал он. — Танбридж-Уэллс.

— Его еще иногда называют Танбридж, папочка.

— Прежде называли. А теперь всегда называют Танбридж-Уэллс. И в этом Танбридж-Уэллсе, Кристина-Альберта, есть холмы с названиями, которые прямо указывают на какую-то связь с древними израильтянами. Монт-Ефраим, Монт-Гильбоа, ну и тому подобное; и еще там немало глыб любопытнейших форм — точно огромные жабы, или доисторические чудовища, или мистические фигуры. И никто не знает, творения ли они рук Божьих или рук человеческих. Мне не терпится увидеть все это самому. Возможно, в них заложен смысл, гораздо более глубокий и близкий нам, чем принято считать. В Танбридж-Уэллсе полно пансионов — мне об этом только на днях сказал человек, с которым я разговорился в Британском музее, в Ассирийском зале, — и некоторые из них как будто и очень уютны и очень недороги.

— Почему бы нам не съездить туда на каникулах, — сказала Кристина-Альберта. — Перед тем как начнется лондонским семестр.

Снаружи догорал летний закат, и в комнате царила мирная тишина вечерних сумерек. Отец и дочь думали каждый о своем. Первым молчание нарушил мистер Примби.

— Раз я некоторое время буду носить траур или полутраур, я решил пожертвовать все мои твидовые костюмы с брюками-гольф и гетрами. Может, какой-нибудь бедняк обрадуется им — зимой. Эти штаны мешками мне никогда не нравились, но, конечно, пока была жива твоя бедная дорогая мама, ее вкус был для меня законом. Ну, и эти кепки. Налезают на глаза, когда жарко. И вообще твид... его перехваливают. Если ездить, скажем, на велосипеде, от трения седла нитки лохматятся. И выглядишь смешно... Пожалуй, я скоро куплю мягкую серую фетровую шляпу... с черной лентой.

— Мне всегда хотелось увидеть тебя в такой шляпе, папочка, — сказала Кристина-Альберта.

— Но она будет достаточно траурной?

— Ну конечно, папочка.

Мистер Примби предался приятным размышлениям. Девочке присущ здравый смысл. С ней можно посоветоваться.

— Что до свастики на надгробном камне твоей бедной дорогой мамы, пожалуй, ты права: она ее не выбрала бы для себя. Наверное, лучше все-таки сделать, как предлагаешь ты, и поставить простой крест. В конце-то концов, это ее могила!

Тут Кристина-Альберта встала, обошла стол — почти вприпрыжку, пока не спохватилась, и поцеловала его. По каким-то неясным причинам свастику она ненавидела почти так же горячо, как любила своего папочку. Для нее свастика стала символом глупости, а ей не хотелось считать его глупым. Особенно теперь, когда по каким-то неясным причинам она начала считать его безответным страдальцем.

###### 7

Прежде чем отец и дочь Примби могли отправиться в Танбридж-Уэллс, предстояло сделать очень многое. Предстояли долгие переговоры с Сэмом Уиджери в Вудфорд-Уэллсе, а затем в обшарпанной конторе господ Пейна и Пантера в Линкольнс-Инн. Этим деловым людям с первой же минуты стало ясно, что в делах мистер Примби — сущий ребенок, но затем они мало-помалу обнаружили, что ребенок он на редкость жадный и упрямый. И миновало почти полтора месяца, прежде чем мистер и миссис Сэм Уиджери смогли в горькой досаде и раздражении водвориться в стенах «Хрустального пара», а мистер Примби и его дочь отправиться, проведя день-другой в Лондоне, в Танбридж-Уэллс на поиски подходящего пансиона.

Первые дни своего полусиротства Кристина-Альберта провела в борьбе с несвоевременно веселой бодростью и глубочайшим чувством освобождения. Ее отец, как она обнаружила, охотно принимал почти любое объяснение, почему ей необходимо на день съездить в Лондон, и был склонен снисходительно терпеть ее поздние возвращения. В Лондоне у нее был целый мирок разнообразных знакомых: сокурсники, сокурсницы и их друзья, сокурсники и сокурсники по Лондонской экономической школе, сокурсники и сокурсницы в Томлинсоновской школе, а также их знакомые студенты, занимающиеся искусством или медициной, и девушки из провинции, которые сбежали из семьи и стали машинистками. И так далее, вплоть до натурщиц и хористок, и, наконец, неясно чем занимающихся молодых людей постарше из интеллектуальных сфер. Она встречала их в лекционных залах и где-нибудь около, и в столовых, и в других подобных местах, и в клубе «Новая Надежда», где даже бывали лейбористские деятели и люди, называвшие себя большевиками; и она посещала вечеринки и дискуссии в студиях, в уединенных необычнейших квартирах на верхних этажах. Это был вихрь наслаждений, хотя большую часть их приходилось урывать от требований и настояний Вудфорд-Уэллса. И она нравилась людям, им нравилась Кристина-Альберта, они смеялись ее шуткам, да, смеялись, и восхищались ее неукротимой дерзостью, и никогда ничего не говорили о ее носе. Она была в этом мире своей, куда больше, чем в школе Тавернеров. Никого словно бы не трогало, что она явилась туда из прачечной; судя по их отношению к подобным вещам, она могла, казалось, явиться хоть из тюрьмы. И в этой лихорадке студенческой жизни она даже умудрялась читать.

Пока не утихло горе из-за смерти матери, она гнала от себя ощущение новой безграничной свободы познавать и испытывать все это. Ее папочка в горе — благослови его Бог! — курил куда больше, чем когда-либо прежде, и даже пробовал сигары. Так где ему было уловить табачный запах, исходящий от его дочери? Или еще что-либо не слишком уместное. Вопросов он задавал мало, и отвечать на них было просто. Долгие годы упражнения в покладистости сделали ее практически свойством его характера. И Кристина-Альберта понимала, что теперь в очень и очень широких пределах она может делать все, что захочет и когда захочет. И еще она поняла, что нет никакой необходимости торопиться делать что-либо. Все остальные, казалось, кружились в этом вихре парами, как ложки и вилки. Ее же больше устраивало оставаться самой по себе.

А мир изменился. Крушение былого родного дома, смерть матери, исчезновения всякого контроля, не считая надзора ее доверчивого и рассеянного папочки, одним рывком перебросили ее из детства в зрелость. Прежде дом казался вечным и незыблемым местом, откуда можно было отправиться на поиски приключений, и куда, что бы ни случилось, вы возвращались отдохнуть, точно морские бродяги, и где вы ложились и засыпали сном праведника в безопасности и покое. А теперь они двое — папочка и она — оказались на открытой равнине: никакого убежища. С ними могло произойти что угодно — и происходить, происходить, происходить. Да, правда, она теперь могла делать, что ей вздумается. Но, как ей стало ясно, принимать все неограниченные последствия должна была тоже она.

Вот так, вопреки ощущению новой безграничной свободы, Кристина-Альберта обнаружила, что ездит в Лондон не чаще, чем ездила бы, будь ее мать жива. Правда, очень многие из самых ее привлекательных друзей разъехались на каникулы. Да и общество отца стало гораздо более интересным. Он напоминал ей биологические опыты (по разделу ботаники) в школе Тавернеров, когда берешь сухую фасолину, помещаешь в банку с водой и наблюдаешь, как на нее воздействуют влага и тепло. Она прорастает. Вот и он пророс.

Мама держала его засушенным почти двадцать лет, но теперь он дал росток, и никто не мог предсказать, чем он станет.

### Глава III

### В Лонсдейлском подворье

###### 1

После месяца глубокого траура Кристина-Альберта убрала длинные юбки и вернулась к тем, к которым привыкла, несколько напоминающие нижнюю часть формы шотландских гвардейцев. Она не бездельничала, пока ее отец улаживал дела с мистером Сэмом Уиджери, и составила план, который сулил счастливую жизнь и ее отцу, и ей самой. Она одобрила идею пансиона и выбор Танбридж-Уэллса для начала. Она прекратила тщетную борьбу с тем, что он продолжал без настояний, но упрямо называть его Танбридж-Уэллсом. По некоторому размышлению она почувствовала, что Танбридж-Уэллс это и правда место, где, во всяком случае, будет жить он.

Это тихое отступление от честности вполне гармонировало с его привычной жизнью несколько по касательной к реальности.

Однако ей удалось внушить ему, что раз теперь им предстоит кочевая жизнь, но у них остаются некоторые количества книг, предметов мебели, которые продать не удалось, а миссис Сэм Уиджери отказалась взять и по номинальной цене, и еще всякие редкости — например, половина скорлупы, как он полагал, от яйца вымершей бескрылой гагарки, регалии розенкрейцеров с мумифицированным ястребом из Египта, обладателем пророческих свойств, — то по всему по этому им следует обзавестись в Лондоне, так сказать, штаб-квартирой, где можно было бы хранить вышеперечисленное и куда он и она могли бы возвращаться из различных пансионов, разбросанных по всему миру. И посему она начала наводить справки, в результате которых разработала великолепный план — разделить кров с двумя своими хорошими друзьями, которые занимались искусством, литературой и живописным сведением концов с концами в перестроенной конюшне в Челси. Собственно, она уже обо всем с ними договорилась. Мистеру Примби она сообщила, что договорилась с ними, следуя его инструкциям, и через какое-то время он уже не сомневался, что дал ей инструкции, а она их строго выполнила.

Лонсдейлское подворье ответвляется от Лонсдейл-роуд в Челси, и ведет в него внушительный вход с большими оштукатуренными колоннами по сторонам и аркой над ними с барельефом Нептуна, морских коней и надписью «Лонсдейлское подворье». Внутри него некогда помещались конюшни и каретные сараи со спальней и жилой комнатой над ними (последняя в более плодовитые времена служила заодно и спальней), а также лестничной площадкой и так далее — уютное жилище кучера (и его жены, и его детей), примостившееся над благородной обителью карет и лошадей. Но развитие наук и расцвет изобретений покончил с благородным распорядком вещей и настолько уменьшил число кучеров и карет в мире, что Лонсдейлскому подворью пришлось принимать других обитателей. А так как оно было слишком узким, чтобы в нем могли свободно передвигаться автомобили, не проминая крылья и не сокрушая радиаторы, то ему пришлось покраситься в приятные колера и опереться на искусство и интеллигенцию.

Молодым друзьям Кристины принадлежало одно из этих перестроенных кучерских жилищ, а поскольку они совсем не были готовы вносить квартплату (очень даже аристократическую), то крайне обрадовались возможности принять мистера Примби, а главное — Кристину-Альберту, как сожильцов. Мистеру Примби предназначалась большая комната внизу, чтобы разместить книги, избыточную мебель, безделушки и раритеты, а также диван, который можно было превратить в кровать, буде он пожелает переночевать в Лондоне. А Кристина-Альберта получала в полное свое распоряжение спаленку за комнатой отца, бодрая цветовая гамма из оранжевых и голубых тонов более чем компенсировала отсутствие дневного света и свежего воздуха. Но когда молодые друзья устраивали вечеринку, а также когда мистер Примби пребывал в отъезде, они имели право пользоваться большой комнатой, а при устройстве вечеринки спаленка Кристины-Альберты должна была служить гардеробной для гостей.

Сдающие в поднаем сохраняли за собой пользование верхними комнатами, кухня же и прочее считалась в общем пользовании. Ничто в этом соглашении не обрело письменной формы, а многие вопросы прямо и откровенно были оставлены для будущих разногласий.

— Мы будем свиньями и возьмем на себя квартплату, — сказала Кристина-Альберта, как это, собственно и предполагалось.

— Мы большую часть времени работаем не дома, — сказал мистер Гарольд Крам. — Многое наладится само собой. Предусматривать все до полной определенности бессмысленно. — Определенным было то, что платить за перестроенный каретник предстояло мистеру Примби.

Мистер Гарольд Крам был рыжим молодым человеком с копной волос и вздыбленным профилем — молодым человеком, одетым в синий халат, потрепанные серые брюки и шлепанцы. У него были крупные веснушчатые руки и работал он в Черном и Белом. Мистер Примби подумал было, что речь идет о новом виски, но выяснилось, что это — искусство. Гарольд жил на попытки продавать рисунки для рекламы и карикатуры для еженедельников. Выражение его было надменным, голос сдержанным, и мистеру Примби почудилось, что мистер Крам не познакомился с ним, а стерпел его. Кристину-Альберту и мистера Крама, видимо, связывала безмолвная дружба — они не обменялись ни единым словом. Он поднял руку и пошевелил на нее пальцами — довольно-таки меланхолично.

Миссис Крам оказалась более общительной. Она тепло обняла Кристину-Альберту и откликнулась на имя «Фей». Потом повернулась к мистеру Примби и пожала ему руку самым нормальным образом. Она была тоненькой, стройной, с небрежно подстриженными пшеничными волосами, светло-серыми глазами и отсутствующим выражением на лице. Она тоже носила синий халат, чулки перламутрового цвета и туфли, а возможно, и что-то еще, делом же ее жизни, насколько понял мистер Примби, было рецензировать книги для разных газет и писать романтическую беллетристику для журналов, продающихся в киосках. Ее правый указательный палец щеголял тем несмываемым чернильным пятном, наградить которым способна только автоматическая ручка с щедрой натурой. В нижней комнате, предназначавшейся для мистера Примби, стояла большая ширма, которую изготовил мистер Крум, а миссис Крум обклеила яркими лживыми суперобложками с книг, которые рецензировала. Это поставило мистера Примби в тупик еще больше, так как некоторые суперобложки были, бесспорно, наклеены вверх ногами, и он не ног понять, кроется ли за этим искусство, небрежность или какая-нибудь серьезная душевная болезнь.

— Поедим чего-нибудь, — сказала она мистеру Примби, — а потом они обо всем договорятся. — Но у нее была необыкновенно быстрая, манера выпаливать слова, и прозвучало это примерно: «Пдим ченибдь. Аптм обсем догвримся». Потребовалось десять — двенадцать секунд, чтобы мистер Примби кое-как ее понял. А она уже повернулась к Кристине-Альберте.

— Пожди чтку, — попросила она. — Стол псе затрака нубран. Чра легли здно. Оглядись, пка Нолли сдит замсом, а я прибру нарху, чтб вам мжно бло посмтреть.

— Давай, — отозвалась Кристина-Альберта, прекрасно все поняв. А мистер Примби стоял оглушенный, шевеля губами.

— Покеда, — сказал Гарольд, достал деньги из черного, веджвудского фарфора, чайника для заварки, вышел, споткнулся обо что-то раз-другой в коридоре и вскоре вырвался в широкий мир, а Фей исчезла наверху.

— Она поднялась наверх, — сказал мистер Примби, медленно расшифровывая, — чтобы убраться у них в комнатах. Он пошел купить мяса. Это большая, приятная комната, Кристина-Альберта. И света много.

— По-моему, я еще ни разу не бывал в подворе, — сказал мистер Примби, приближаясь к группе рисунков на стене, привлекавших взгляд.

— Где-где, папочка?

— В подворе, ну и в *студье* тоже... Полагаю, это оригиналы.

Кристина-Альберта ожидала его впечатления от рисунка не без тревоги.

— Похоже на всякие фрукты, человеческие ноги и что-то еще, — сказал мистер Примби. — Что они, собственно, означают? «Летняя ночь» тут подписано. А тут — «Страсть в безлюдии». Не совсем вижу почему, ну, думается, это символы или еще что-то. — Он обвел круглыми синими глазами всю комнату. — Для моих Редкостей я мог бы раздобыть шкафчик красного дерева и поставить его вон к той стене. Со стеклянными дверцами, чтобы все могли их рассматривать. А если бы здесь прибить полки, то встали бы все мои книги. Но ведь нужна еще кровать, Кристина-Альберта.

— У них наверху есть диван, — сказала Кристина-Альберта. — С выдвижным концом.

— Вот тут, пожалуй, встанет.

— Или под окном.

— Но ведь еще моя одежда, — сказал мистер Примби. — Я почти жалею, что обещал Сэму Виджери гардероб твоей мамы. Розового дерева. Он очень просторный и как раз уместился бы вот тут у стены. Сундук можно превратить в диванчик, если починить углы. Интересно, как выглядела бы эта ширма, если бы ее перевернуть. Мольберты эти и все прочее они, полагаю, унесут наверх... Да, тут все расставится.

Кристина-Альберта, уперев руки в боки, поворачивалась и взвешивала его предположения. Она обнаружила, что они грозят серьезно нарушить эстетическую гармонию студии. Она-то думала только о маленькой диван-кровати, накрытой алым пледом. Глупо, что она забыла про вещи. Но, наверное, можно будет задержать большую часть их в коридоре. Коридор уже был так загроможден, что некоторые добавления ничего не изменили бы. Когда ему что-нибудь понадобится, выйдет туда и возьмет. Она вдруг увидела, как он в рубашке с перекрещивающимися на спине подтяжками роется в сундуках.

— Конечно, — сказал мистер Примби, — когда ты заговорила про своих молодых друзей в *студьи*, я думал, что они — две девушки. Я не думал, что они — супружеская пара.

— Да не такая уж бесповоротно супружеская, — сказала Кристина-Альберта.

— Да, — сказал мистер Примби, и стыдливость заставила его немного помолчать. — Конечно, — сказал он затем, — если вскорости будет прибавление семейства, нам придется съехать, Кристина-Альберта.

— Третий лишний, — сказала Кристина-Альберта. — Но вероятность невелика. Положись на Фей.

— Все бывает, — ответил мистер Примби не слишком уверенно и обернулся к загадочным рисункам.

— Нам пора осмотреть второй этаж, папочка, — сказала Кристина-Альберта и вышла в коридор, чтобы воззвать: — Фей!

Сверху донеслось отдаленно «а?».

— Го-то-о-во?

— Нет еще.

Отца Кристина-Альберта нашла в углу с рисунками. Голову он наклонил, как любопытствующий воробышек. Некоторое время царило молчание.

— Конечно, — сказала он наконец, — это Искусство.

Его лицо над усами сморщилось, он отвернулся, напевая. Она поняла, что это ровно столько Искусства, сколько он может стерпеть.

Он провел ладонью по стене и проницательно поглядел на Кристину-Альберту.

— Это просто холст, — сказал он. — Во что пакуют вещи. С мазками золотой краски. По-моему, все стены, какие я до сих пор видел, были либо оклеены обоями, либо выкрашены. А ведь правда, стены можно обтянуть, чем хочешь. Сукном, простынями, брезентом. Странно, как самому такое в голову не приходит.

###### 2

«Наверху» вскоре было «го-то-о-во». Миссис Гарольд Крам освободилась, чтобы отвечать на вопросы и давать объяснения, и мистер Примби узнал побольше о планах Кристины-Альберты устроить его поудобнее. Наверху было разнообразнее, но теснее, чем внизу: кровати не столько маскировались под диваны, сколько подделывались под них, а вокруг было больше чем-то неприличного, но весьма декоративного Искусства. Как Кристина-Альберта, так и миссис Крам не учла возможностей мистера Примби в смысле вещей, но и бровью не повела. Когда мистер Примби заговорил о шкафчике красного дерева и гардеробе, она сказала, что Гарольд без труда закамуфлирует их с помощью очень ярких красок, а что до сундуков и одежды, так в углу для них можно сделать занавешенный альков.

— С одеждой просто беда, — сказала миссис Крам. — Если затеваются шарады или переодевания, для них нет ничего святого. На прошлой неделе кто-то растерзал мою пижаму на куски.

— Надо бы что-то придумать, — сказал мистер Примби с легкой тревогой.

— Ну, что-нибудь мы да придумаем, — сказала миссис Крам.

Но прежде, чем что-то было придумано, вернулся Гарольд с большим куском лиловатой вырезки в узенькой набедренной повязке из обрывка газеты, с пучками салата и мелкого лука в другой руке, и двумя большими бутылками пива под мышкой, и общее внимание сосредоточилось на приготовлении дневной трапезы.

— Обычно, — сказал Гарольд, — мы питаемся не дома. Меньше чем в пяти минутах отсюда на Кингз-роуд есть вполне приличная немецкая колбасная, итальянский ресторанчик и так далее. Питаться не дома куда веселее. Но мы подумали, что вы хотите ознакомиться со студией со всех сторон.

В течение своей жизни мистер Примби редко наблюдал приготовление пищи. Кто-то другой всегда накрывал на стол и говорил: «Обед готов, папочка» или «Ужин готов, папочка», смотря по обстоятельствам, и теперь он с искренним любопытством принял приглашение мистера Крама «пойти посмотреть, как мы управляемся» и оказывать посильную помощь. Мистер Крам несколькими точно выбранными словами познакомил его с кухонными принадлежностями, нагроможденными вокруг газовой плиты, газовая плита взрывчато вспыхнула, мистер Примби подавал, что ему говорили, держал, что ему говорили, и в процессе этого всем мешал. Кристина-Альберта, видимо, набившая в этом руку, рубила луковички и смешивала салат на кухонном столике, а бифштекс яростно и брызжуще поджаривался.

Тем временем миссис Крам накрыла выкрашенный голубой краской стол в комнате, предназначенной мистеру Примби, оранжевой тканью и уставила ее тарелками, обломками тарелок, желтыми глазированными кружками с грубо выведенными надписями на каком-то сельском диалекте «за друзьев вдалях» и тому подобным, а между положила ножи и вилки, поставила оловянную кружку, полную сигарет, и пучок подсолнечников в вазе, облитой коричневой глазурью. И вскоре мистер Примби уселся за этим самым столом. Лицо у него пылало и было щедро обрызгано жиром, на котором жарился бифштекс. Никто не прочел молитвы, и все приступили к еде.

Как-то само собой разумелось, что вопрос о подселении мистера Примби уже решен, хотя оставалось очень много моментов, которые ему хотелось обговорить точно. Особенно он беспокоился о том, как бы поделикатнее оградить свою одежду и свои редкости от всеобщего пользования, когда будут устраиваться пресловутые шарады, но он не знал, как вернуться к этой теме. И его смущало подозрение, что его длинные ночные фланелевые рубашки, если их выставят на публичное обозрение, могут показаться старомодными этой артистичной молодежи. Но они скакали с темы на тему так прихотливо, что трудно было направить разговор в нужном ему направлении. Он привык, особенно в обществе, прочищать горло «кха-кха» и подергивать усами вверх-вниз, прежде чем заговорить, а к тому времени, когда он был готов высказать то, что хотел, кто-нибудь из них уже делал очередной зигзаг. Так что он молчал, пока бифштекс не был съеден, не считая отдельных «кха-кха».

Говорили почти только Кристина-Альберта и Фей. Гарольд был словно бы не в духе, иногда поправлял жену или вносил добавления, и съел львиную долю бифштекса с мученическим выражением человека, который страдает зубами и привык к более изысканной пище. Один раз он спросил мистера Примби, неужели тот и правда любит Хорошую Музыку, а через какое-то время осведомился, видел ли он год назад иберийский балет, но эти вопросы не вылились в беседу.

— Кха-кха, не-ет, — сказал мистер Примби. — Не совсем. Не особенно.

— Не-ет, не видел, — ответил он на второй вопрос.

Миссис Крам весело болтала о разных газетных заказах, которые получила, рассказала, как ей предложили делать детский уголок в «Патриотик ньюс» — так соглашаться ей или нет? Мистер Примби подумал, что редакторы и владельцы газет, о которых она упоминала, народ, видимо, безнравственный. Но в основном разговор шел о перетасовках и передвижениях внутри обширного круга их знакомых. После бифштекса было кофе, и Гарольд с видом покорности судьбе пошел и вымыл посуду.

В прачечной ждали внимания десятки мелких дел, и после двух-трех сигарет мистер Примби решил:

— Нам пора, Кристина-Альберта.

— Все будет в ажуре, — сказал Гарольд, когда они попрощались.

Пока мистер Примби и Кристина-Альберта возвращались на поезде с Ливерпуль-стрит в Вудфорд-Уэллс, немало минут было посвящено размышлениям.

— Это не то, к чему я привык, — сказал мистер Примби. — Так не похоже на хозяйничанье твоей матери... Меньше порядка... Конечно, одежду я могу держать под замком в сундуке.

— Тебе будет очень хорошо. Они просто прелесть. А она уже ужасно тебя любит, — сказала Кристина-Альберта.

###### 3

Однако ночью, перед тем как заснуть, Кристина-Альберта испытала угрызения совести. Совесть начала ее грызть из-за того, как она устроила жизнь своего папочки. Она не была уверена, что ему будет уютно и хорошо в этой студии в Лонсдейлском подворье, что он сможет вести ту любознательную жизнь, которую он предвкушал с такой тихой радостью — даже напевал что-то про себя, и подергивал усами, и говорил «кха-кха», если не был занят ничем другим.

Данная история, как можно неустанно повторять, это история мистера Примби, который стал, как мы расскажем в своем месте, Саргоном, Царем Царей. Однако Кристина-Альберта самостийно вылупилась в ней, как кукушонок вылупляется в гнезде трясогузки, и игнорировать ее невозможно. В сущности, он был под полным ее контролем, а она обладала эгоизмом своего пола и возраста.

Но еще она обладала беспощадной совестью. Пожалуй, совесть была единственным в ее жизни, чем она не могла управлять. Совесть управляла ею. Это была большая хрустальная совесть без опор и взаимосвязей. Она парила в ее существе сама по себе, была ее центром тяжести, и всему остальному в ней деваться было некуда.

Когда Кристина-Альберта представала на допрос и суд перед Кристиной-Альбертой, никаким экивокам не было места: карты на столе, все предъявлено, никакого этикета, полная нагота, рентген, если потребуется. Допросы были тем более ужасны, что велись они в практически пустом помещении без ширм, занавесок, норм или верований какого бы то ни было рода. Просто страшно подумать о полном отсутствии покровов и процедур на суде совести Кристины-Альберты. Во-первых, Кристина-Альберта была совершенно и принципиально не религиозной. Затем, в теории, она была антисоциальной и аморальной. Не верила в респектабельность, христианскую мораль, институт семьи, капиталистическую систему, а также в Британскую империю. Она заявляла об этом с крайней прямотой и множеством подробностей, кроме тех случаев, когда поблизости оказывались ее родители. Преобладающие ветры пристрастий ее не будоражили. Она не находила принца Уэльского обворожительным, а «Панч» смешным. Современные танцы ее скорее раздражали, хотя танцевала она хорошо, а уимблдонский теннис и разговоры о теннисе наводили на нее зевоту. Она одобряла большевизм, потому что все неприятные ей люди всячески его поносили, и она уповала на всемирную революцию всесокрушающего и очищающего типа. А о последствиях этой революции Кристина-Альберта со счастливым оптимизмом юности не думала вовсе.

Не нам строить тут предположения о том, почему молодая девушка, родившаяся и выросшая между Вудфорд-Уэллсом и центральным Лондоном, в первые годы двадцатого века вступила в жизнь с сознанием столь абсолютно и категорически очищенным от каких-либо положительных или сдерживающих убеждений; мы просто регистрируем этот факт. Но и подкрепляй ее все верования христианского мира, а также неколебимое уважение ко всем мельчайшим требованиям кодекса общественной морали, каким бы ни был этот кодекс, Кристина-Альберта не могла бы вступить в жизнь с более бодрой уверенностью и более сильными убеждениями, чтобы вести себя, пусть неопределимо, но хорошо. Кристина-Альберта должна была быть Кристиной-Альбертой, последовательной и безупречной, иначе суд совести открывал ей глаза на нее же и затруднял ей жизнь.

«Кристина-Альберта, — заявлял суд, — ты самая грязная, самая мерзкая дрянь, когда-либо поднимавшая пыль жизни. Как ты намерена вновь стать чистой?»

Или: «Кристина-Альберта, ты снова лгала. Того и гляди, ты попробуешь лгать мне! Вначале лгать тебя заставляла лень, а теперь трусость. Что ты намерена сделать с собой, Кристина-Альберта?»

Наступило время, когда суду пришлось обратиться к Кристине-Альберте с таким вот увещеванием: «Нос у тебя, Кристина-Альберта, просто огромен. Вероятно, он будет расти до конца твоих дней, как это водится за носами. И тем не менее ты готовишься очаровать и заворожить Тедди Уинтертона. Ходишь туда, где надеешься встретиться с ним. Суетишься и прихорашиваешься на манер всех дур. И как ты только ни грезишь о нем — всяческие мерзости. Ты рассиропилась из-за этого молодого человека вопреки тому, что тебе известно, каков он — плох, как ни взглянуть. Тебе нравятся его прикосновения. Сидишь, глупо на него таращишься и упиваешься. А он тобой упивается? Не пора ли тебе задуматься, Кристина-Альберта, куда ты идешь?»

И вот теперь суд заседал, и обвинение — обвинение, от которого не было защиты, гласило, что она намерена взять своего нелепого беззащитного папочку и водворить вместе с его глупостью, дурацкими книгами, смехотворными сокровищами, со всеми его мечтами и устремлениями, в ненадежную и враждебную студию Крамов не из-за смутной общей жажды Лондона, хотя на втором плане было и это, а из-за того, что студию навещал слишком уж неотразимый Тедди, из-за того, что именно там она познакомилась с ним, и упоенно танцевала с ним, и внезапно он ее поцеловал, и она поцеловала его. А затем он улестил ее разучить с ним танец и заставил прийти к нему в студию выпить чаю с ним и познакомиться с его сестрой — которая не пришла. А потом были новые встречи, еще и еще. Он был нахален, и обаятелен, и уклончив. Все ее существо пылало волнением из-за него. Теперь суд холодно и точно обличал перед ней уловки ее сознания, продемонстрировал, как мысли о Тедди, неотвязные, но не признаваемые, привели ее к решению поселиться у Крамов. Только теперь она призналась и обрела ясный взгляд на вещи. «Ты лгала себе, Кристина-Альберта, — объявил суд, — а хуже этой лжи не бывает. Так как ты намерена поступить?»

«Я не могу подвести Крамов. Они рассчитывают на нас». «Ты в скверном положении, Кристина-Альберта. Даже в еще худшем, чем мы полагали. Ты рассиропилась из-за Тедди Уинтертона. Почему не называть вещи своими именами? Ты влюблена. Возможно, с тобой случилось что-то страшное. Маленькие кролики весело снуют под живыми изгородями, и все дни для них одинаковы; они подергивают носишками и своими хвостишками, и вытворяют что хотят со своими лапками. Пока не приходит день, когда, зазвенев, петля силка затягивается на мохнатой ножке, и все, что ты делаешь после этого, уже совсем другое. Силок не дает тебе убежать, и приходится плясать вокруг него и пищать, если хочешь, пока не явится человек, поставивший силки. Так вот, что с тобой происходит? И из-за Тедди! Тедди, с его открытым лживым лицом!»

«Нет, — сказала Кристина-Альберта, — я его не люблю. Я была глупа, рассиропилась и растерялась. Я больше недостойна называться Кристиной-Альбертой. Но это еще не сцапало меня и не сцапает. Я вытащу папочку и себя. Присягаю и клянусь»...

«Хм!» — сказал суд.

###### 4

Мистеру Примби казалось, что первый вечер, который он провел в своем новом жилище в Лонсдейлском подворье, был наиболее событийным вечером в его жизни. Одно впечатление теснило другое. Он никогда не страдал бессонницей, но когда он наконец улегся на своем раскладном ложе, то продолжал бодрствовать значительную часть того, что осталось от ночи (жалкий обрывок с унылым рассветом в середине), пытаясь разобраться в вышеупомянутых впечатлениях. Впечатления от новой обстановки, впечатления от Кристины-Альберты, впечатления от новых невероятных личностей — слоеный мармелад впечатлений.

Мистер Примби и Кристина-Альберта прибыли в студию, как и предполагалось, около половины четвертого, однако выехавший утром фургон с сундукам и мистера Примби, ящиками с его книгами и редкостями, а также с вместительным гардеробом покойной миссис Примби, который удалось-таки вырвать из когтей Сэма Уиджери, приехал почти в шесть. К несчастью, торговец мебелью на Бромптон-роуд, у которого мистер Примби приобрел шкафчик-витринку и длинный низкий книжный шкаф орехового дерева, доставил указанные предметы в студию накануне, и в Гарольде взыграла вся ненависть современного художника к воинствующему дереву. Они с Фей, а также пара друзей, забредших к ним, только глубокой ночью кончили красить их в глубокую ультрамариновую синеву, разбрасывая по ней золотые мазки и звездочки, как на наклейках вокруг горлышка бутылок «авилы», «цариста» и других подобных марок шампанского. Когда мистер Примби увидел дело их рук, он просто поверить не мог, что эта та же витрина, тот же шкаф.

— Полагаю, их можно вернуть в прежний вид, — сказал мистер Примби.

— Но посмотрите, как они ассимилировались с комнатой! — с жаром возразил Гарольд.

— Я имел в виду, если мы решим переехать, — сказал мистер Примби. — Я знаю, что это искусство, и здесь они гармонируют с остальным, но есть места, куда мне не хотелось бы переехать... то есть с этими вещами в их нынешнем виде. Вы даже не знаете, на что способно людское воображение.

Дальше все пошло скучновато, пока не подъехал фургон. Диван-кровать поставили сначала так, потом эдак. Постельные принадлежности — одеяла, простыни, наволочки предполагалось завязывать в узел и класть на плоскую крышку сундука мистера Примби за ширмой из суперобложек.

— Для бутылок с пивом придется поискать другое место, — сказал Гарольд. — В кухне слишком жарко, а в коридоре слишком опасно. Но мне пришло в голову, что их можно поставить в посудомойной под раковину, накрыть тряпкой, и пусть на них капает вода. Испарение. Я займусь этим.

Мистер Примби неожиданно для себя зевнул.

— Наверное, вы бы выпили чаю, — внезапно сказала Фей, и вместе с Кристиной-Альбертой занялась его приготовлением.

Гарольд явно пребывал в напряженном и нервном состоянии. Исполненная терпения низенькая фигура мистера Примби, который сидел, положив ладони на колени в ожидании фургона, поглядывал по сторонам простодушными глазами и издавал «кха-кха» оказывала такое же воздействие на нервную систему Гарольда, какое кроткий и терпеливый верблюд оказывает на нервную систему лошади. Гарольд грыз невидимые удила и гарцевал. Он расхаживал по комнате, поднялся наверх, вышел из дома, вернулся. Он курил нескончаемые сигареты, и нескончаемо предлагал их мистеру Примби; он отпускал загадочные замечания глухим голосом.

— Все это прямо из Достоевского, — сказал он мистеру Примби. — Естественно, в другой цветовой гамме. Иное, но то же самое. Как по-вашему, мистер Примби?

Мистер Примби кивнул сочувственно, чуть шутливо и неопределенно.

— Кха-кха, — сказал он. — И правда, похоже.

— Все наладится само собой, — сказал Гарольд. — Все наладится само собой. Вы знаете эти стихи Руби Парема? — Он прочистил горло. — Называется «Ожидание», — сказал он. — Вот...

Его взгляд стал неподвижным, глаза остекленели, голос набрал силу, так что слова как будто стали больше натуральной величины:

За каждой минутой

Приходит другая минута,

А за ней, не сомневайся,

Другая,

Каплями с подоконника в дождь.

Может, ты и не хочешь идти,

Но они идут,

О, без конца

Унося твою жизнь. Смерть, не полная, бесповоротная.

Но смерть в разгаре жизни,

Частицы смерти,

Смерть в притяжении.

Капай, Старуха Смерть — в жизни!

Медленно, тупо, неумолимо, невыносимо!

Капай, капай.

— Это «Капай, капай» гениально. Но, может, вам не нравится современная поэзия?

— Ничего против нее не имею, — благодушно сказал мистер Примби.

— Конечно, совсем уничтожить этот фургон ничто не могло, — пессимистично сказал мистер Крам.

Когда же фургон прибыл, и вместительный гардероб начал свое уничтожающее продвижение по коридору, мистер Крам внезапно громким удрученным голосом воззвал к своему творцу и исчез на без малого добрый час.

Кристина-Альберта разрывалась между сочувственным пониманием душевного состояния Гарольда и страхом, что ее папочка может заметить, как он действует на Гарольда, и будет расстроен. Она и Фей принялись с жаром помогать ему распаковывать вещи.

— Нельзя ли мне воспользоваться одним из синих фартучков мистера Крама? — осведомился мистер Примби. — Я был бы рад. На черном каждая пылинка видна.

Халат мистера Крама доставал мистеру Примби много ниже колен, и почему-то казалось естественным, что он назвал его фартучком. Он придавал его внешности что-то младенчески трогательное, пробудившее дремлющий в миссис Крам материнский инстинкт. Она старалась побороть ощущение, что на самом деле он маленький мальчик девяти лет, который из баловства отрастил длинные усы, и что ей следует заботиться о нем, запрещать то и это, и вообще говорить ему «нельзя!». Книги были расставлены по полкам как попало, по выражению мистера Примби — рассортировать их можно будет потом, но редкости и экспонаты потребовали больше времени, и их понадобилось «разместить» в витрине, пусть и не окончательно. Ведь, кроме редкостей и экспонатов, там было много всякой всячины, которую мистер Примби сохранил, поскольку эти предметы, на его взгляд, могли оказаться редкостями или экспонатами. Например, кусок крыла одного из прачечных фургонов, смявшийся при столкновении так, что стал удивительно похож на человеческий торс; и почти целый череп неизвестного млекопитающего, возможно, подобранный в Эппингском лесу, и картофелина, правда, уже сильно сморщенная, в которой можно было различить тридцать три человеческих лица, и экспонат совсем иного характера — в котором их насчитывалось целых пятьдесят пять. Давным-давно какой-то первобытный Примби нашел этот самый кремень, был заворожен им и выявил лица, выбив глаз тут, ноздрю там, но мистер Примби не подозревал о содействии древней руки этого, возможно, его прямого праотца. Даже наяву мистер Примби повсюду видел лица. А что приключилось бы, поднимись у него температура, и подумать страшно.

Тревога Кристины-Альберты при мысли, как ее отец будет принят Крамами, несколько улеглась, когда она увидела, что он буквально покорил Фей, которая обходилась с ним твердо, но снисходительно; они потратили массу времени на то, чтобы она рассмотрела все пятьдесят пять лиц в чудесном кремне. Они начинали снова и снова, но каждый раз сбивались примерно на «два-ацатом» или «два-ад-цать первом». И начинался спор, считали они это лицо или еще нет.

Гарольд вернулся в угрюмом настроении и слишком уж убедительно пинал ящики мистера Примби в коридоре, но Фей вышла к нему с надменным выражении сомнамбулы в светлых глазах, и стуки оборвались, а затем Гарольд спустился в студию, выглядя прямо-таки красавцем в нанковых брюках, голубом пиджаке с большими серебряными пуговицами и огромном черном галстуке. С мистером Примби он был очень мил.

— Вы позволите мне чуточку освежить ваш гардероб? — сказал он. — Эта штуковина на нас всех давит. Словно бы упрекает. Кому-то придется измениться, ему или мне: либо я его покрашу, либо куплю шелковый цилиндр с широченной траурной лентой и зонтик с золотой ручкой — и это обойдется в гигантскую сумму. А краска у меня уже есть.

— Если потом можно будет краску убрать, — сказал мистер Примби. — Видите ли, если мне придется переехать... обратно. В подворье краска в самый раз. Но не в подворье...

— Абсолютно, — сказал Гарольд. — Я думаю сделать из него розовый домик с окнами и так далее. Что-нибудь простенькое. Как набросок русского пейзажа. В духе Chauve Souris[[2]](#footnote-2). Традиционный в энной степени. И мы могли бы вешать по его углам плакаты, раскрывающие то, что происходит. Превратить его в своего рода институт.

— Ну, если так для всех приятнее, — сказал мистер Примби.

Ему любовно взъерошили волосы.

— Милый папулечка, — сказала Кристина-Альберта.

###### 5

Но тут явился гость, и вновь жизнь Кристины-Альберты омрачило и усложнило присутствие мистера Тедди Уинтертона, его откровенной неискренности. Его изящная фигура, движения, голос будоражили ее чувства, а она ненавидела, чтобы их так будоражили; его безмятежное нахальство парализовало ее чувство юмора, он ранил ее гордость, и она изнывала от желания расквитаться с ним. У нее не было над ним никакой власти, а он вел себя так, будто она — его собственность. И она все время разрешала ему заходить чуть-чуть дальше, чем следовало. В его присутствии ее нос отбрасывал тень до самого горизонта. А теперь он стоял в дверях: брюки из твида одного узора, жилет из твида другого узора, однобортная куртка с накладными карманами — третьего, и полностью расстегнутая по утвердившейся студенческой моде. Стоял и смотрел, как мистер Примби несет через студию на подносике свою коллекцию костей птицы рух, найденных под Стейнсом. Глаза Тедди округлились от насмешливого удивления, губы беззвучно произнесли: «Это еще что такое?»

Кристина-Альберта не собиралась допускать, чтобы какие-то Тедди Уинтертоны смеялись над ее папочкой.

— Мистер Уинтертон, — сказала она, — это мой отец.

— Я только избавлюсь от своих костей, — сказал мистер Примби, — и поздороваюсь.

— Мы сейчас закончим с вещами мистера Примби и пойдем все к Поппинетти пообедать, — сказала Фей. — Почти все уже распаковано.

— Только одна-две допотопные кости, — сказал мистер Примби.

Тедди так и вцепился в одну.

— Это, — объявил он, поворачивая ее так и эдак, — окаменелая берцовая кость носорога из Крэга.

— Это допотопная лошадь, — сказал мистер Примби.

— Прошу прощения! Это кость носорога!

— В те дни у лошадей были носорожьи кости, — сказал мистер Примби. — А у носорогов... Поверить трудно. Да будь у меня одна, мне негде было бы ее поместить.

Мистер Примби был извлечен из халата и водворен в черное пальто и серую фетровую шляпу с черной лентой. Он стал членом компании, которая, растянувшись, направилась из Лонсдейлского подворья в итальянский ресторанчик на Кингз-роуд. Трое крамовских соседей присоединились к ней — очень тихий мужчина с серебряными волосами, молодой человек и смуглая девушка.

Мистер Примби был захвачен новизной самой идеи идти обедать не домой, а из дома, и подробно излагал преимущества этого среброволосому мужчине, который, казалось, принадлежал к тихим, слушающим людям, с которыми он всегда был рад познакомиться.

— Видите ли, вам не нужно готовить еду и стол накрывать, а потом, естественно, и мыть посуду не надо. Но полагаю, выходит дороже.

Среброволосый мужчина умудренно кивнул.

— Совершенно верно, — сказал он.

Гарольд Крам расслышал их беседу.

— Дороже, — сказал он, — это не выходит. Нет. Поппинетти может пойти на любое другое преступление, но вот это исключается положением его клиентов. Он кормит нас крадеными голубями, его индейка — это морская свинка, его рагу — только Богу известно, что там нарублено, а то, чем он начиняет свои равиоли, заставляет даже Господа Бога жалеть, что он так увлекся сотворением. Но понимаете, вы не думаете о его равиолях, вы их едите, и они чертовски вкусны. На столе всегда стоят цветы, создавая эффект скромного изящества. Вот увидите. Увидите.

И мистер Примби увидел. Поппинетти был щуплым человечком, но тщательно скроил себя под Карузо, и большую компанию он встретил с любезностью дипломата и бурностью гейзера. Особенно учтив он был с мистером Примби — глубоко ему поклонился, а затем всякий раз, когда перехватывал его взгляд, отвешивал еще поклон с большой помпой. Он, казалось мистеру Примби, до конца их пребывания тут отходил во все более дальние углы ресторана, чтобы оттуда перехватить взгляд мистера Примби, поклониться и улыбнуться ему со все большего и большего расстояния.

Синьор Поппинетти как величайшее одолжение проводил компанию к малопривлекательному столу почти в центре зала и принял их противоречивые заказы, жестикулируя, как дирижер, тянущий оркестр через трудный пассаж. Мистер Примби хранил пассивность, но наблюдал, а вскоре уже ел макароны, запивая их терпким красным вином, название которого его лондонское ухо восприняло как «кегли». Кьянти.

Гарольд Крам проявил большую принципиальность в вопросе макарон.

— Чтобы ощутить вкус макарон, — заверил он мистера Примби, — необходимо наполнить рот целиком, утрамбовать, спрессовать. Резать макароны вилкой, как делаете вы, не менее жутко, чем резать устрицу. Это... это обезжизнивает их.

— Мне нравится их нарезать, — сказал мистер Примби с неожиданной твердостью. И принялся резать дальше.

— Иначе, — сказал он доверительно среброволосому мужчине, — я невольно думаю о земляных червях.

— Совершенно верно. Совершенно, — сказал среброволосый мужчина.

Гарольд самоотверженно служил наглядным примером. Его взыбленное лицо с извивающимися над подбородком макаронами походило на святого Георгия с драконом на английском соверене. Он ел со свистом. Длинные змеи макарон на мгновение повисали, а затем, втягиваемые каким-то непостижимым образом, уползали в его рот. Тедди Уинтертон и один новоприбывший из соседней студии подражали ему. Кристина-Альберта и Фей действовали с женской маскирующейся ловкостью. Однако мистер Примби был рад, когда с макаронами было покончено, хотя на смену пришла проблема, как есть яйцо на шпинате вилкой.

Но он не был душевно смущен, как мог бы в молодости. Он обладал savoir faire[[3]](#footnote-3) зрелого возраста. В целом, обед в ресторане оказался ярким и приятным переживанием. Ему понравился даже едкий вкус этого кьянти. Это кьянти пили из очень больших рюмок, потому что оно было легким и дешевым, почти как пиво. Оно не пьянило, а только согревало рассудок и набрасывало приятную и убедительную нечеткость на вселенную, так что все Танбриджи бесповоротно становились Танбриджами, а тайные мечты и убеждения превращались в бесповоротную убежденность. Вскоре мистер Примби обнаружил, что может и хочет рассказывать о том о сем и намекать на еще более важные тайны, связанные с его коллекцией, — сначала седовласому мужчине, а также смуглой неряшливой девушке, которая сидела по другую его руку, которая пришла из соседней студии и чье имя было ему неизвестно; а затем и всем остальным, и когда подали птицу (птицу, которую мистер Примби видел впервые, а называлась она не то кролька, не то дейка), уже почти вся компания громко, бессвязно, воинственно — в обычной манере этой молодежи — обсуждала погибшую Атлантиду.

Никогда прежде он не рассуждал так свободно на эту тему. Прежде дома его удерживало полное и искреннее отсутствие интереса у покойной миссис Примби. И даже теперь он еще не был готов к категоричным утверждениям или парировать скептические доводы против в том, что касалось великого погибшего континента Золотого Века. Атлантида была местом и сутью его тайных грез в течение многих лет; он знал, что его сведения о ней были иного порядка, чем общеизвестные, — более интуитивными, мистическими, глубокими. С самого начала он держался оборонительно, не договаривал и темнил, как человек, который и хотел бы рассказать, но не имеет на то права.

Откуда он знает, что этот погибший континент действительно существовал?

— Кха-кха, — сказал он с легкой улыбкой причастного тайнам, — изучал его много лет.

— Но где доказательства? — спросила неряшливая девица.

— Их немыслимое изобилие, они не поддаются пересказу. Убедительнейшие. Самые разные. У Платона очень много. Незавершенный фрагмент. Множество книг написано. Много надписей в Египте.

— А какими они были? — спросила неряшливая девушка.

— Совершенно удивительными, барышня, — сказал мистер Примби. — Кха-кха. Совершенно удивительными.

— Философии, полагаю, пруд пруди? — спросил с набитым ртом молодой человек из соседней студии.

— То, что нам известно, лишь отрывки, — сказал мистер Примби. — Лишь отрывки.

— А как они одевались?

— Кха-кха. В одеяния. Белые одеяния. Очень величавые. Голубые... лазурные, когда творили правосудие. Это нам сообщает Платон.

— Летать они умели?

— В принципе. Но не практиковали.

— Автомобили? И все такое прочее?

— Если хотели. Но катаниям предпочитались медитации. Мы живем... в веке перехода, кха-кха.

— И затем все пшикнуло? — сказал молодой человек из соседней студии. — Ушло под воду и все такое прочее. Какое назидание!

— Это не должно было произойти обязательно, — загадочно сказал мистер Примби. И смутно уловил скептицизм.

— Нет ни единого доказательства, что в Атлантическом океане существовал материк, — говорил мистер Тедди Уинтертон Кристине-Альберте, — по крайней мере за тридцать миллионов лет до возникновения человечества. Океанские впадины восходят к мезозойской эре.

Мистер Примби уловил бы эти слова, но тут неряшливая девушка внезапно спросила, не думает ли он, что свастика — это символ, заимствованный с Атлантиды. Она спросила, а что, собственно, означает свастика — ей всегда хотелось это узнать, и он стал сдержанным и таинственным. Ей хотелось услышать побольше об одежде этого исчезнувшего мира, его общественном устройстве и обычаях, о его религии. Были ли женщины равноправными гражданками. Бесспорно, в этой компании она проявляла наибольшую и живейшую любознательность. Сребровласый человек словно бы посмеивался про себя.

Остальная компания уклонилась от темы, занявшись обсуждением вопроса, не отправиться ли на Бал Искусств в Челси под видом визитеров из погибшей Атлантиды. Многие их идеи мистер Примби находил банальными и пошлыми.

— Предоставьте нам неограниченную свободу, — сказал Гарольд Крам. — Мы могли бы изобрести оружие... обзавестись крыльями, если захотим. Магические карбункулы на наших щитах... расписанных золотом. Загадочные книги и таблицы. И особая завывающая барабанящая музыка — мья, мья, мья.

Он сморщил лицо и испустил нелепое мычание, иллюстрируя свое намерение, и покрутил пальцами в дополнение эффекта.

Бессмысленно спорить с таким фантастическим невежеством. Однако смуглую неряшливую девушку и кроткого мужчину с серебряными волосами мистер Примби продолжал негромко просвещать из-под завесы своих усов.

— Но откуда все это известно? — не отступала смуглая девица. — В Британском музее нет ничего.

— Вы забываете, — сказал мистер Примби. — Кха-кха, вольных каменщиков. Внутренние группы... традиции. Благодарю вас. Еще полрюмочки. А! Вы налили до краев. Благодарю вас.

Он говорил, но и осознавал, что между Кристиной-Альбертой и Уинтертоном что-то происходит. Вначале казалось, что это не имеет ни малейшего значения и является просто частью общей необычности этого обеда, но затем обрело огромное значение. Он увидел, что кулачок Кристины-Альберты лежит на столе, и внезапно рука Уинтертона накрыла его. Она отдернула руку. Что-то шепотом, и ее рука возвратилась. Еще миг — и руки оказались на расстоянии в пять дюймов, будто ничего и не было.

Он, вероятно, забыл бы это внезапное вторжение Кристины-Альберты в его внимание, если бы на стадии десерта не произошло еще кое-что. Представления Поппинетти о десерте воплощались в своего рода лотерее из грецких орехов — находя несгнивший, вы выигрывали, — комьев слипшихся, мятых фиников и полдесятка стойких яблок. Общество же засыпало стол ореховой скорлупой и позеленевшим, почерневшим и гнилостно-желтым ее содержимым, когда взор мистера Примби уловил второй упомянутый выше эпизод. Он увидел, как Тедди Уинтертон легонько провел ладонью по руке Кристины-Альберты до локтя. И рука по локоть не отдернулась.

В тот момент все громко говорили, и мистер Примби подумал было, что видел это только он один, но тут он поймал знающее выражение на лице сребровласого мужчины. Все было каким-то спутанным, и это кьянти — хотя оно и не пьянило вовсе — заставляло окружающее немножко плавать, но мистер Примби почему-то твердо знал, что сребровласый мужчина тоже заметил эту фамильярность исподтишка и что он тоже в целом ее не одобряет.

Следует ли обратить внимание? Следует ли сказать что-то? Пожалуй, потом. Пожалуй, когда они останутся вдвоем, можно будет спокойно спросить у нее: «Ты и этот молодой человек, Уинтертон, вы помолвлены?»

— Немножко слишком, — сказал мистер Примби, встретившись взглядом с сребровласым мужчиной. — Мне такое не по вкусу.

— Разумеется, — сказал сребровласый.

— Я с ней поговорю.

— Тут вы совершенно правы, — горячо сказал сребровласый. Очень положительный человек.

Шорохи, шелест, скрип отодвигаемых стульев. Поппинетти, повычисляв в блокнотике, подошел за деньгами.

— Я заплачу за нас, папочка, — сказала Кристина-Альберта. — Сочтемся потом.

Поппинетти в поклоне. Поппинетти справа от мистера Примби и слева от мистера Примби; несколько Поппинетти кланяются. Поппинетти энергично вручают шляпы и прочее. Поппинетти, куда ни повернись. Ресторан слегка вращается. Что, это кьянти оказалось крепче, чем давали понять мистеру Примби? Сколько-то Поппинетти открывают сколько-то дверей и говорят всякие вежливости. Выбрать дверь нелегко. Правильная с первого же раза! На улицу. Мимо проходят люди. Едут такси. И ни одного Поппинетти. Однако девушка не должна разрешать молодому человеку гладить себя по руке до локтя, когда это могут увидеть все. Это некорректно. Надо что-то сказать. Что-то тактичное.

Мистер Примби обнаружил, что идет рядом с миссис Крам.

— Так чудесно было слушать, как вы говорили о Новой Атлантиде, — сказала она. — Так жалела, что сижу не рядом с вами.

— Кха-кха, — сказал мистер Примби.

Что-то очень приятное в миссис Крам. Но что? Не так, чтобы жутко замужем, но вполне.

###### 6

Мистер Примби полагал, что они возвращаются, чтобы выпить кофе, поболтать и лечь спать; он понятия не имел, какие необъятные просторы вечера еще простирались перед ним. Он пока еще ничего не знал о способности этого нового мира молодежи, в который ввела его Кристина-Альберта, засиживаться допоздна и особенно оживляться в глухие часы ночи.

И они пребывали в лихорадочно прерывистом оживлении час за часом. Мистер Примби кое-как осознал, что миссис Крам отвела особый «день» для вечерних сборищ в студии и что вечер, который он избрал для своего водворения туда, был как раз таким вечером. Заходили новые люди. Один из таких словно обладал особой значительностью. Явился он вскоре после возвращения от Поппинетти — очень толстый и широкий мужчина лет сорока с мучнистым лицом и одышкой, с чрезвычайно умными глазами под широким лбом и довольно дряблым брюзгливым ртом. Он держался с невольной настороженностью человека, считающего, что все указывают на него друг другу. Звали его, видимо, Пол Лэмбоун, и он написал очень много всякого. Все держались с ним чуть почтительно. С Кристиной-Альбертой он поздоровался крайне тепло.

— Ну-с, как новейший авангард? — сказал он, тряся ее руку, словно ему это очень нравилось, и говоря голосом удивительно жиденьким для такой корпулентной фигуры. — Как последний шаг прогресса?

— Вы должны познакомиться с моим отцом, — сказала Кристина-Альберта.

— Как, оно имеет отца? А я думал, оно просто выросло, как Топси, — из Ницше, и Бернарда Шоу, и всех прочих.

— Кха-кха, — сказал мистер Примби.

Мистер Лэмбоун обернулся к нему.

— Что за наказание — дочери! — сказал он, слегка поклонившись в сторону Кристины-Альберты. — Даже лучшие из них.

Мистер Примби ответил в духе родителя из Вудфорд-Уэллс:

— Она очень хорошая дочь, сэр.

— Да, но они не то, что сыновья.

— У вас, я полагаю, есть сыновья, сэр.

— Только в мечтах. У меня не хватило вашего мужества превратить сон в явь. Теоретически я женился сотню раз, и вот я здесь своего рода холостой дядюшка для всех. Рыщу среди молодежи и наблюдаю ее поведение (его умные глаза спокойно взглянули над болтающим ртом на Кристину-Альберту) с ужасом и восхищением.

В дверях появились два новых гостя, и мистер Лэмбоун отвернулся от мистера Примби, чтобы приветствовать их, едва Фей с ними поздоровалась. Свирепого вида молодой человек с огромной копной черных волос и миниатюрная девушка, точно фарфоровая куколка, одетая так, чтобы на мысль приходил Ватто.

Разговор стал общим, и мистер Примби отступил за задний план.

Он оказался рядом со своим сребровласым другом у книжного шкафа.

— Я никак не ожидал званого вечера.

— Я тоже так считал.

— Я переехал только сегодня днем, а фургон задержался, и много моих вещей еще не распаковано.

Сребровласый сочувственно кивнул.

— Так часто бывает, — прожурчал он.

Все говорили очень громко. Расслышать что-нибудь было трудно. Разговор шел сумбурный, а чуть двое-трое начинали проявлять интерес к тому, что говорили, Фей Крам, как хорошая хозяйка дома, немедленно их перебивала. В студии каким-то образом оказались еще люди, которых мистер Примби воспринял лишь смутно. Например, рыжая девица с глубочайшем декольте, а сзади можно было увидеть чуть ли не ниже талии. Он кхакхакнул и хотел что-нибудь сказать по этому поводу сребровласому — что-нибудь холодное и спокойное. Но не сказал. Не нашел ничего достаточно холодного и спокойного.

Подошла Фей Крам и спросила, не хочет ли он виски или пива.

— Благодарю вас, но не после этого приятного кьянти, — сказал мистер Примби.

Разговор словно становился все шумнее и шумнее. В одном углу Гарольд Крам громогласно читал стихи Вейчела Линдзи. Затем подошел мистер Лэмбоун и заговорил о погибшей Атлантиде, но мистер Примби стеснялся говорить о погибшей Атлантиде с мистером Лэмбоуном.

— Все хорошо, папочка? — спросила Кристина-Альберта, продрейфовав мимо и не дожидаясь другого ответа, кроме «кха-кха».

Потом появились три молодых человека с граммофоном, который, по их словам, они только что купили, а Фей обнаружила, что про пиво забыли, и отрядила Гарольда пойти занять несколько бутылок у соседей. Эти новоприбывшие не произвели особого впечатления на уже пресыщенный мозг мистера Примби, если не считать того, что владелец граммофона, белобрысейший молодой человек с длинным умным носом, вошел с граммофонной трубой на голове в качестве шляпы, и что он во что бы то ни стало хотел этот граммофон завести.

Музыка по большей части была танцевальной, джазовой с парой-другой вальсов, и она заметно оживила мистера Примби. Он сел прямо и принялся отбивать такт костями ног птицы рух. Вскоре в студии уже танцевали несколько пар. Какой-то странный танец, решил про себя мистер Примби. Просто прохаживаются, дергаясь всем телом, время от времени жутко закидывая ноги назад. Перерыв, когда Гарольд вернулся с пивом, а заодно и с теми, кто это пиво одолжил. Все начали требовать, чтобы Кристина-Альберта и Тедди «откололи» их танец. Тедди ничего не имел против, но Кристина-Альберта словно бы упиралась, и увидев танец, мистер Примби понял почему.

— Кха-кха, — сказал он, погладил усы и посмотрел на сребровласого.

Такая фамильярность! На несколько минут исполнители убежали наверх и вернулись совсем другими. Тедди зачем-то нахлобучил кепку и навертел на шею красный шарф. Собственно говоря, он был апашем, а Кристина-Альберта бойко уперла руки в боки с самым гордым видом. Все попятились к стенам, чтобы освободить пространство для танца. Вначале было довольно терпимо. Но вскоре этот мистер Тедди начал швырять Кристину-Альберту то так, то эдак, перекидывая через плечо, хватал, опрокидывал на спину, чуть не переворачивал вверх ногами, которые торчали почти вертикально, а пальцы на руках касались пола. А она была красной, возбужденной, и ей как будто нравилось это фамильярное тисканье. Между ними чувствовалось какое-то нежелательное соответствие друг другу. Она и Тедди смотрели в глаза друг другу почти интимно, но и с какой-то яростью. В какой-то момент этого невероятного танца ей пришлось влепить ему пощечину, очень звонкую и точно вовремя. Проделала она это с таким воодушевлением, что все зааплодировали. А он улыбнулся, обхватил ее шейку своими ручищами и очень реалистично задушил.

Тут граммофон издал предсмертный хрип, и танец завершился.

Горло не беспокоило мистера Примби со времени обеда, но теперь он несколько раз издал «кха-кха».

Они хотели, чтобы Кристина-Альберта, раскрасневшаяся, запыхавшаяся и растрепанная, станцевала еще раз, но она не согласилась. Танцуя, она заметила удрученное недоумение и горесть на лице папочки.

Парочка из соседней студии затем одолжила общество подражанием русскому подражанию пляске саратовских крестьян. Подобранная граммофонная пластинка обеспечивала не совсем тот аккомпанемент, но это ничему не мешало. Пляска доставила мистеру Примби искреннее удовольствие. Молодой человек присел почти к самому полу и лихо выбрасывал вперед то одну ногу, то другую, а девушка была совсем как деревянная кукла. Все хлопали в ладоши, отбивая такт в лад с музыкой, и мистер Примби тоже. Но тут произошло новое извержение из двери. Пятеро в причудливых костюмах потребовали пива. Мистеру Примби они показались нелепыми, яркими и совершенно неинтересными. На одном был красный петушиный гребень на колпаке шута с бубенчиками. На остальных были трико и что-то яркое, ничего не означавшее. Они явились с вечеринки, устроенной кем-то там для «Молодежи». Они воплями возвестили: «Они в полночь объявили конец. Объявили конец в полночь. Когда молодежи положено ложиться спать».

Было более чем ясно, что в доме № 8 в Лонсдейлском подворье этого ждать не приходилось.

Пиво. Мистер Примби отказался. Последнее пиво. Сигареты. Много дыма. Последние виски. Снова граммофон, снова танцы и декламирующий голос Гарольда Крама. От пива или от виски голос этот охрип. Но раздавались компенсирующие шумы. Движение. Середина студии освободилась. Не снова же танцы! Нет. Демонстрация силы и ловкости при помощи стульев. Главным образом Тедди Уинтертон, владелец граммофона и Гарольд. Эти трюки быстро исчерпались, и общество перетекло в центр комнаты. Разговоры, нить которых мистер Примби терял сразу же, фразы, которые он не понимал. Никто не обращал на него ни малейшего внимания.

Волна усталости, безнадежности и уныния накатила на него. Какими непохожими были вечера в былом, проводимые добрыми мудрыми людьми погибшей Атлантиды! Философские диспуты, лютни, флейты. Возвышенные мысли.

Он заметил, что миссис Крам украдкой зевнула. И внезапно сам сокрушительно зевнул. А потом еще раз.

— Йоуу! — сказал он Полу Лэмбоуну, который оказался рядом. — Кауа... вау мыау сидим намоейоууувати.

— Вы здесь живете? — осведомился мистер Лэмбоун.

— Сеоудя переехал. Крстина-Альбеааата все устроила.

— Черт побери! — сказал мистер Лэмбоун и поглядел на нее через студию. И на несколько секунд задумался.

— Удивительная девушка эта ваша дочка, — сказал он затем. — При ней я чувствую себя пережитком. — Он взглянул на свои наручные часы. — Половина второго, — сказал он. — Положу начало Исходу.

###### 7

Мистер Примби услышал отрывки прощания Тедди Уинтертона и Кристины-Альберты.

— Да или нет? — сказал Тедди.

— Нет! — отрезала Кристина-Альберта.

— Да не может быть, — сказал Тедди.

— Я не хочу, — сказала она.

— Но ты же хочешь.

— А, иди к черту!

— Так ведь никакого же риска.

— Не приду. Черт знает что.

— Я все равно буду ждать.

— Жди сколько хочешь.

— Малютка Крисси Нерешительная. Все, что угодно, лишь бы угодить вам.

###### 8

Исход, начатый Полом Лэмбоуном завершился где-то после двух часов.

— Свистать всех стелить постели! — воскликнула Фей. — Так у нас не каждый день, мистер Примби.

— Признаюсь, я устал, — сказал мистер Примби. — Такой длинный день.

Кристина-Альберта посмотрела на него с запоздалым раскаянием.

— Так получилось, — оказала она.

— Я к такому позднему часу не привык, — сказал мистер Примби, сидя на своей наконец разложенной кровати, и зевнул, чуть не вывихнув челюсть.

— Спокойной ночи, — сказала Фей, тоже зевая.

— Пора на боковую, — сказал Гарольд. — Всего, мистер Примби.

Зевота овладела и Гарольдом. Что за физиономия!

— Спокноуа...

— Спокнау...

Дверь за ними закрылась.

Сказать Кристине-Альберте нужно было очень много, но час был слишком поздний, и у мистера Примби не хватало сил сказать все это теперь же. А к тому же он понятия не имел, что ему следует сказать.

— Мне понравился этот человек с седыми волосами, — сказал он, неожиданно для самого себя.

— Да? — рассеяно сказала Кристина-Альберта.

— Он умен. И очень интересуется погибшей Атлантидой.

— Он глух, как пень, — сказала Кристина-Альберта, — и стыдится этого, бедняжка.

— О! — сказал мистер Примби.

— Тут слишком шумно для тебя, папочка, — сказала она, переходя к тому, что было у нее на уме.

— Да, суеты многовато, — сказал мистер Примби.

— Нам следует поскорее уехать в Танбридж-Уэллс и оглядеться там.

— Завтра, — сказал мистер Примби.

— Завтра — нет.

— Почему?

— Послезавтра, — сказала Кристина-Альберта. — А завтра — не знаю. Я вроде обещала пойти... Ну, да не важно.

— Мне бы хотелось поехать в Танбридж-Уэллс завтра, — сказал мистер Примби.

— Почему бы и нет? — сказала Кристина-Альберта, словно бы себе самой в некоторой нерешительности. Она пошла было к двери, но вернулась. — Спокойной ночи, папуленька.

— Так мы едем? Завтра?

— Нет... Да... Не знаю. У меня на завтра были планы. По-своему важные... Едем завтра, папочка.

Она отошла от него, уперев руки в боки, и уставилась на эти странные рисунки. И вдруг повернулась на каблуках.

— Завтра я поехать не могу, — сказала она.

— Нет, поеду, — опровергла она себя.

— О черт! — воскликнула она совершенно непонятным и неблаговоспитанным образом. — Я не знаю, что мне делать!

Мистер Примби посмотрел на нее усталыми удрученными глазами.

Это была какая-то новая Кристина-Альберта. Ей не следовало бы чертыхаться. Никак не следовало. Заразилась от этих людей. Просто не понимает, что это за слова. Он должен поговорить с ней... завтра. Об этом и еще кое о чем. Но, Боже мой, как он устал.

— Ты... — Он зевнул. — Ты должна поберечься, Кристина-Альберта, — сказал он.

— Обязательно, папочка. Поверь мне.

Она подошла и села возле него на узкой полуимпровизированной кровати.

— Сейчас мы ничего решить не можем, папочка. Мы слишком устали. Решим завтра. Надо посмотреть, какая будет погода. Нельзя же бродить по Танбриджу в дождь. Обсудим все завтра, когда у нас в голове прояснится. Ой, папулечка! Уже половина третьего.

Она обняла его за плечи, чмокнула в макушку, а потом в ушную мочку. Он любил, чтобы она прикасалась к нему, целовала его. Он даже понятия не имел, как он любит, чтобы она его целовала.

— Милый усталый-преусталый папуленька, — сказала она самым нежным своим голосом. — Ты всегда так со мной добр. Спокойной ночи.

И она ушла.

Некоторое время мистер Примби сидел, не шевелясь, и мысли у него в голове будто застыли в неподвижности.

Пол в студии был замусорен обгорелыми спичками, окурками, воздух пахнул табачным перегаром и пивом. На выкрашенном голубой краской столе стояла пивная бутылка — пустая, и два-три стакана с остатками пива и сигаретного пепла.

Все это было совсем другим, чем Вудфорд-Уэллс.

Совершенно другим.

Но это было Приобретение Опыта.

Мистер Примби подвиг себя раздеться.

Эту ночную фланелевую рубашку все еще предстояло распаковать.

###### 9

Утром Кристина-Альберта все так же не находила себе места и не могла решить, ехать ли в Танбридж-Уэллс, хотя погода была прекрасной. Около половины двенадцатого она исчезла, и мистеру Примби после легкого завтрака с Фей (Гарольд тоже ушел) стало ясно, что поездка в Танбридж-Уэллс откладывается. А потому он отправился в Южный Кенсингтон посетить тамошние музеи. Собственно, заходить в них он не стал, а просто осмотрел их снаружи — и колледжи, и вообще всякие здания. Предварительная рекогносцировка.

Смотреть музеи было чистое удовольствие. Побольше, пообширнее Британского музея. Уж конечно, в них хранятся... всякие вещи.

Кристина-Альберта появилась в студии примерно в половине седьмого, словно бы веселая, просветленная. И чудилось в ней некое торжество.

Объяснять свое исчезновение она не стала, и занимала ее только завтрашняя поездка в Танбридж-Уэллс. Надо успеть на поезд в самом начале десятого, и провести там долгий-долгий день. С папочкой она была необычно нежной.

Гарольд ушел на весь вечер, Фей надо было заняться рецензиями, и они провели тихий семейный вечер вдвоем. Мистер Примби с несколько блуждающим вниманием читал хорошую, глубокую, не слишком понятную книгу, которую обнаружил в комнате наверху. «Фантазии подсознательного» — про погибшую Атлантиду и тому подобное.

### Глава IV

### Пансион «Петунья»

###### 1

В подавляющем большинстве все города и селенья на земле имеют подобия и параллели, но Танбридж-Уэллс — это Танбридж-Уэллс, и на нашей планете нет ничего, хоть отдаленно на него похожего. При том он вовсе не странный и не фантастичный — все дело в веселом и тончайшем достоинстве. Чистенький, распахнутый и чуть-чуть приятно нелепый. По птичьему полету он отстоит от Лондона на какие-то тридцать миль, однако еще в шести милях от него Норт-Даунсы безмятежным, благостным жестом стирают в памяти малейшие воспоминания о Лондоне. Расположен он на боковой ветке железной дороги, а потому неудобен для владельцев сезонных билетов; нет к нему и прямого пути для спешащего автомобилиста благодаря тем же спасительным Даунсам: в Дувр и Кентон обычно проезжает восточнее, а в Брайтон — западнее, если ему удастся уцелеть в холмах Уэстерема и Севеноукса. Поместья богатых людей окружают его доступными парками. Эридж, Бейхем, Пенсхерст-парк, Ноул и прочие спасают его от чрезмерного размножения маленьких вилл. И стоит он между ними на редкостном участке каменистой земли, всегда сухой, купаясь в свежайшем воздухе, с приветливой площадью — былым выгоном — посередине, с мерзейшими целительными водами, которыми поправляли здоровье принцессы дома Стюартов, с курзалом и бюветом, такими же как в дни доктора Джонсона. Маунт-Сион и Маунт-Ефраим и нечто евангелическое в воздухе напоминают легкомысленному приезжему, что в прошлом Лондон был пуританским городом. Много недужных печеней обрели помилование в Танбридж-Уэллсе. Много пошаливающих печеней нашли там новые силы. И вот туда-то прибыли мистер Примби и Кристина-Альберта в поисках пансиона — и выбрать более благоприятного места для подобных поисков они не могли бы. Поиски эти они повели методично, как и подобало паре, один член которой получил частичную подготовку для социальных исследований в Лондонской экономической школе и частичную подготовку к деловой деятельности в школе Томлинсона. Мистер Примби предполагал начать с общего обзора — не торопясь погулять, посмотреть как и что, но Кристина-Альберта по порядку проконсультировалась со всеми агентами, купила карту и путеводитель по городу, а затем села на скамью на Выгоне и составила план действий, которые легко и незамедлительно привели их в пансион «Петунья».

В путеводителе мистер Примби с одобрением прочел весьма многообещающие слова.

— Послушай, моя дорогая, — сказал он. — Кха-кха. «Общая характеристика. С полным правом следует подчеркнуть лестную репутацию Танбридж-Уэллса, как магнита, притягивающего постоянных обитателей и гостей, принадлежащих к высшим классам. Город никогда не наводняют экскурсанты, и улицы его никогда не оскверняет присутствие вульгарных зевак. Обитатели его состоят главным образом из состоятельных людей, которые, естественно, создают атмосферу, надушенную культурой и утонченностью».

— «Надушенная», по-моему, отличное для этого слово, — сказала Кристина-Альберта.

— Думается, мой инстинкт привел меня, куда следовало, — сказал мистер Примби.

Пансион «Петунья» выходит на Выгон под углом там, где Петунья-роуд воссоединяется со старомодной приятнейшей Главной улицей. Он не обладает внушительным великолепием «Веллингтона», «Королевской Маунт-Ефраим», «Мальборо» и всех прочих, что смело обращены фасадами к солнцу на гребне холма над Выгоном, но дышит солидным комфортом. Ступени, портик, обширный холл, название золотыми буквами по черному фону заставили мистера Примби несколько раз произнести «кха-кха». С избытком пухлая горничная в очень-очень тугом черном платье, в чепчике и фартучке вышла к мистеру и мисс Примби, оглядела их ошарашенно и уклончиво, нечленораздельно ответила на некоторые предварительные вопросы и сказала, что позовет мисс Эмили Рустер, а то мисс Маргарет нет дома. Тотчас мисс Эмили Рустер, бдительно ожидавшая позади занавеса из бус, отдернула его и вкрадчиво вышла на первый план, оказавшись маленькой краснолицей старушкой, проникнутой благовоспитаннейшим savoir faire. Кружевной чепчик дополняли кружева повсюду и несколько оборок, а таких откровенно выкрашенных в каштановый цвет волос Кристине-Альберте еще никогда видеть не приходилось.

— Мистер Примби желал бы приехать на неделю или... это будет что-то более постоянное, быть может?

Последовали взаимные объяснения. Мистер Примби намеревался быть «более постоянным»; Кристина-Альберта — перемежающейся, что создавало трудности. О существовании штаб-квартиры в Челси было вскользь упомянуто, но без упоминания, что находится она в подворье.

Мисс Эмили Рустер полагала, что Кристину-Альберту устроить можно, если только она не будет настаивать, чтобы при каждом ее приезде ей предоставляли туже комнату или равноценную.

— Нам приходится балансировать, — сказала мисс Эмили Рустер.

— Лишь бы окна открывались, — сказала Кристина-Альберта.

Предъявленные комнаты оказались вполне удовлетворительными (кха-кха), вполне удовлетворительными. Дверь в ванную приоткрылась и закрылась.

— Вы предупреждаете, когда хотите принять ванну, — сказала мисс Эмили Рустер.

Имелась также столовая с отдельными столиками, и на каждом столике были цветы, очень утонченно и мило; имелась и просторная гостиная с роялем, большим количеством кресел и диванов в оборках, совсем как оборки мисс Эмили Рустер, и салфеточками на подголовниках — ну, прямо кружевные чепчики, как у нее, и всем им было настолько присуще ее выражение гостеприимной услужливости, что они начинали казаться ее родственницами и деловыми партнершами. Рояль щеголял чем-то вроде кружевного покрывала на кровати, а еще там стояли полированные столики с аспидистрой в майоликовых кашпо на салфеточках и чуть менее важные столики для употребления. Имелся и низкий книжный шкаф с книгами внутри и кипой иллюстрированных журналов сверху. Коридор в глубине расширялся в довольно-таки современный салон, где две дамы пили чай. Наличествовала и курительная, где, как довольно кокетливо сообщила мисс Эмили Рустер Кристине-Альберте, «курят джентльмены».

— В этот сезон мы были переполнены, — сказала мисс Эмили Рустер, — просто переполнены. За обед садилось почти тридцать человек. Но, конечно, сезон на исходе. Сейчас завтракают девятеро, а обедают семеро; два джентльмена имеют здесь дела. Но люди приезжают, люди уезжают. Сегодня утром я получила по почте два запроса. Больная дама и ее сестра. Они думают попить лечебную воду. Ну, и еще перелетные птицы, кроме постоянно проживающих. На ночь-две. Семьи, путешествующие в автомобиле. Они заезжают к нам en route[[4]](#footnote-4). От нас ведь все магазины близко.

Она просияла на мистера Примби дружески-интимной улыбкой.

— Часто моя сестра или я в последнюю минуту выбегаем, чтобы внести что-нибудь. Если все остальные заняты. Если мы можем помочь, это не затруднение.

— Систему отдельных столиков, — продолжала мисс Эмили Рустер, — мы ввели после войны. Гораздо приятнее. Вы можете уединиться или же общаться. В гостиной и в курительной часто завязываются беседы. И люди здороваются друг с другом. Иногда люди общаются совсем по-дружески. Играют в разные игры. Отправляются вместе на экскурсии. Так мило.

Кристина-Альберта задала напрашивающийся вопрос.

— Очень-очень милые люди, — сказала мисс Эмили. — Очень милые люди. Джентльмен на покое с супругой и ее падчерицей, и две незамужние дамы на покое, и джентльмен с супругой, жившие в лесах Бирмы, ну и так далее.

Кристина-Альберта удержалась от ехидного вопроса, что, собственно, означает «джентльмен на покое» или «незамужняя дама на покое».

— Меня всегда привлекал Танбридж-Уэллс, — сказал мистер Примби.

— *Королевский* Танбридж-Уэллс, с вашего позволения, — сказала мисс Эмили, засияв. — «Королевский» был прибавлен в девятьсот девятом по милостивому повелению его величества.

— Я не знал, — сказал мистер Примби с глубоким почтением, и примерился: — *Королевский* Танбридж-Уэллс.

— Сразу такой кусок не прожуешь, — сказала Кристина-Альберта.

— Для нас очень приятный кусок, могу вас заверить, — верноподданнически сказала мисс Эмили.

Пансион «Петунья» показался мистеру Примби настолько удовлетворительным во всех отношениях, что тут же было договорено, что он вернется через день с кое-какой одеждой и другим багажом, а Кристина-Альберта приедет и поживет с ним несколько дней — наверху для нее есть комнатка, а затем она вернется в Лондон к своим занятиям, и приедет снова, когда для нее найдется комната.

###### 2

В поезде на обратом пути в Лондон мистер Примби обдумывал эти решения и строил планы.

— Я приеду сюда послезавтра, когда приведу в порядок свои коллекции в подворье. Наилучшие экспонаты я разложу в шкафу за стеклом, чтобы их было хорошо видно, но, пожалуй, запру их. С собой я привезу несколько самых необходимых книг, а когда устроюсь, то отправлюсь хорошенько осмотреть эти знаменитые Скалы.

— Мы могли бы приехать утром, — сказала Кристина-Альберта, — а днем пойти осмотреть их.

— Но не в тот же день, — сказал мистер Примби. — Нет, я хочу увидеть Скалы, когда мозг у меня будет свеж и восприимчив. Думается, лучше всего будет отправиться совсем рано, хорошенько выспавшись. Когда там еще никого не будет. И мне думается, Кристина-Альберта, мне думается, что в первый раз мне следует пойти к ним совсем одному. Без тебя. Иногда, Кристина-Альберта, ты говоришь вещи — конечно, не нарочно — но они меня сбивают...

Кристина-Альберта прикинула.

— А что ты надеешься найти в этих Скалах, папочка?

Мистер Примби медленно покачал усами и остальным лицом из стороны в сторону.

— Я пойду к ним без предвзятости, — сказал он. — Быть может, Атлантида погибла не вся. Какие-то ее части, быть может, сохраняются скрыто. Философ Платон сохранил легенды. Частично зашифрованные. Как знать. Возможно, здесь. Возможно, в Африке. План. Знак. Скала-Жаба должна быть совсем особой. В Британском музее есть камень-жаба из Центральной Америки...

И некоторое время он предавался приятным размышлениям вслух.

— Возьму блокнот и цветные карандаши, — сказал он и продолжал размышлять.

Молчание он прервал только через три-четыре минуты, и его слова застали Кристину-Альберту врасплох.

— Надеюсь, моя дорогая, — сказал мистер Примби, — среди этих художников и прочих ты не разболтаешься.

— Мне было бы горько думать, что ты разболталась, — сказал мистер Примби.

— Но, папочка, с чего ты взял, что я могу... э... разболтаться? — спросила Кристина-Альберта.

— Парочка мелочей, которые я заметил в подворье, — сказал мистер Примби. — Просто парочка мелочей. Ты должна быть поосторожнее, Кристина-Альберта. Девушке нужно соблюдать осторожность. А твои друзья... они совсем разболтанные. Извини, что я так о них говорю, Кристина-Альберта, но вовремя предупредить...

Ответила Кристина-Альберта после паузы и без обычной убедительности:

— Не беспокойся за меня, папочка, — сказала она. — У меня все хорошо.

Мистер Примби словно бы хотел переменить тему и сказал:

— Мне не нравится этот тип, Тедди Уинтертон. Слишком уж фамильярен.

— Мне он тоже не нравится, — сказала Кристина-Альберта. — Он действительно слишком фамильярен.

— Вот и хорошо, — сказал мистер Примби. — А то я подумал, что ты не замечаешь. — И он погрузился в размышления.

Однако это нежданное вмешательство в ее дела ввергло Кристину-Альберту в задумчивость до самого Лондона. Она то и дело исподтишка поглядывала на своего папочку.

Он, казалось, забыл о ее существовании.

Но это было тягостной правдой: Тедди Уинтертон действительно стал слишком фамильярным. Если не сказать больше.

###### 3

Во все века компетентные наблюдатели указывали на непредсказуемую капризность судьбы, и теперь Кристина-Альберта могла внести свою маленькую лепту в этот непрерывно пополняющийся свод свидетельств. Ей казалось, отправляя своего папочку в здоровую безмятежность Королевского Танбридж-Уэллса, она обеспечивает ему наиболее оптимальные условия для счастливой и безопасной жизни. Действительно, после смерти ее матери в маленьком толстячке произошла разительная перемена — высвобождение воли, новая свобода в выражении своих мыслей, склонность обсуждать окружающее и даже выносить ему приговоры. Она сама сравнивала это с прорастанием семени, оказавшегося после подавляющей сухости среди влаги и света. Однако она не развила это сравнение дальше и не спросила себя, к какому расцвету может привести это запоздалое освобождение его инициативы. И что именно тут, а не где-нибудь еще, он найдет стимул, необходимый для невероятнейшего развертывания его воображаемого существования, что для него Танбридж-Уэллс окажется выходом из нашего будничного мира в то, что для него станет несравненно более чудесной и плодотворной жизнью — нет, такого ей в голову не приходило.

Три дня, пока беспокойная потребность в действиях не увлекла ее снова в Лондон, она прожила в пансионе «Петунья», и на протяжении этих трех дней ничто не указывало на надвигающуюся радикальную перемену в его мироощущении. В целом все эти три дня он казался необычно вялым и тихим. Танбридж-Уэллс ему очень нравится, сказал он, но вот Высокие Скалы и Скала-Жаба, когда он их осмотрел, весьма его разочаровали. Он даже склонялся к мысли, что они могут быть просто «творениями природы». Это было страшной уступкой. Он тщился поверить, что Скала-Жаба была совсем такой, как большое майянское изваяние жабы, слепок которого он видел в Британском музее, но выяснилось, что никаким усилием воли он не мог осуществить подобный акт веры. Все завершающие детали, все надписи бесследно стерлись, заявил он, но тут же пышные светлые усы ощетинились платяной щеткой.

— Никаких деталей, никаких надписей никогда и не было. Никогда!

Кристине-Альберте стало ясно, что он таил великое ожидание, раз был настолько удручен. Она вдруг обнаружила, что очень заинтригована загадкой того, что зрело у него в мозгу. Ей почудилось, что Танбридж-Уэллс мнился ему подобием почтамта, где его ожидает письмо «до востребования» неизмеримой важности. А письма не оказалось.

— Но чего ты ждал, папуленька? — спросила Кристина-Альберта, когда под вечер первого дня он привел ее к Скале-Жабе, чтобы она сама убедилась, насколько обычной и ничего не значащей была эта глыба. — Ты думал найти какую-нибудь замечательную резьбу по камню?

— Я ждал... чего-то для меня. Чего-то значимого.

— Для тебя?

— Да, для меня. И для каждого. О Жизни и Таинствах. У меня было чувство, что здесь что-то будет. А теперь... Я не знаю, куда обратиться.

— Но какое... но чего значимого ты ожидал?

— Разве Жизнь не Великая Загадка, Кристина-Альберта? Разве ты этого не замечала? Или ты думаешь, что она — всего лишь студии, и танцы, и экскурсии, и шарабаны, и еда, и урожаи? — сказал он. — Совершенно очевидно, что она нечто большее. Очевидно. Это все лишь Покрывало. Внешние Проявления. Кха-кха. А что под ним, я не знаю, и я просто жилец... жилец в пансионе... а моя жизнь проходит. Так трудно. Кха-кха. Почти невозможно. Это меня чрезвычайно волнует. Где-то должен быть ключ.

— Но мы все ощущаем подобное, папочка! — воскликнула Кристина-Альберта.

— Вещи не могут быть тем, чем кажутся, — сказал мистер Примби, широким жестом обводя и презрительно отвергая деревню Расхолл, трактир, фонарные столбы, полицейского, собаку, фургон бакалейщика и три проносящихся мимо автомобиля. — Это, во всяком случае, очевидно. Иначе было бы слишком уж нелепо. Безграничное пространство, звезды и так далее. Просто, чтобы суетиться... от еды к еде...

Ну, кто бы мог вообразить, думала Кристина-Альберта, что у него такие мысли? Кто бы мог подумать?

— Либо я Новое Воплощение, — сказал мистер Примби. — Либо нет. А если нет, то я хочу знать, для чего вообще существует мир. Нет, символом, Кристина-Альберта, он должен быть. Только вот чего? Все эти годы в прачечной я знал, что эта жизнь нереальна. Период отдыха и подготовки. Твоя дорогая мама считала по-другому... мы этого никогда не обсуждали, кха-кха, но было именно так.

Кристина-Альберта не нашлась, что ответить, и некоторое время они шли молча. А когда заговорили, то о том, не завернуть ли им в отель «Высокие Скалы», чтобы выпить чаю.

###### 4

Мистер Примби пребывал в явном угнетении и был глубоко огорчен, однако беспросветное уныние меланхоликов было ему чуждо. Одновременно его живо интересовал и пансион, и его обитатели, с которыми он не замедлил познакомиться. Жизнь в пансионе обладала для него всей прелестью новизны. В браке они с миссис Примби неизменно отдыхали, снимая квартиру на приморском курорте, чтобы она могла сама заботиться о провизии, выявляя и обличая ошибки и вымогательства, а затем все приводить в порядок. Они либо совершали поездки по окрестностям в дни этого отдыха, либо располагались на пляже, где мистер Примби и Кристина-Альберта строили замки из песка или бродили между скал, пока миссис Примби сидела на складном стульчике и тосковала по прачечной. В плохую погода они оставались в квартире, где мистер Примби и Кристина-Альберта могли читать книжки, а миссис Примби тосковать по прачечной не хуже, чем на пляже. Но в глубине сердца мистер Примби всегда томился по коллективной, полной общения жизни, какую предлагают пансионы.

Они познакомились со второй мисс Рустер, мисс Маргарет Рустер, когда приехали с багажом. Она была более высоким, более суетливым и менее обшитом кружевами вариантом своей сестры. У них обеих, как обнаружил мистер Примби, была странная привычка находиться поблизости. Они, казалось, непрерывно укрывались за занавесами из бус или в коридорах, перегибались через перила на лестничных площадках или тихонько заглядывали в дверные щелки. Бедняжки! Они ужасно боялись стеснить своих жильцов, но не менее боялись, что вдруг что-нибудь окажется не так.

Во время трапез они манипулировали жарким и тарелками за ширмой, а пухлая горничная разносила тарелки и овощи. И когда бы мистер Примби ни взглядывал на ширму, либо мисс Маргарет Рустер поглядывала на него через верх, либо мисс Эмили Рустер поглядывала на него из-за створки. И у него возникали затруднения с вилками и ложками. Уронив салфетку, он уповал, что это останется незамеченным, но мисс Эмили тотчас заметила и отрядила пухлую горничную поднять салфетку и подать ему.

Мистер Примби и Кристина-Альберта спустились в столовую, едва мисс Маргарет вторично ударила в обеденный гонг, а потому их усадили первыми, и они могли с выгодной позиции обозреть свои сотрапезников. Кристина-Альберта наблюдала молча, но мистер Примби говорил «кха-кха» всякий раз, когда в дверь входил кто-то новый. Первыми после них появились две Перелетные Птицы — молодой человек в широчайших брюках-гольф и дама, предположительно его жена, в ярко-желтом джемпере — они путешествовали в автомобиле по Кенту, но попытались захватить столик в эркере, закрепленный за постоянными обитателями «Петуньи», однако мисс Эмили усмирила их — с большим трудом и еще большим достоинством. Затем они начали во всеуслышанье совещаться, какое взять вино, причем молодой человек именовал даму «Старухой» и «Башкой» — обращения для мистера Примби совсем новые и интересные, а она называла его «Барсук». Пухлая горничная подала им карту вин, за которыми можно было послать. Молодой человек громко читал названия и цены, а потом приступил к выбору, словно младший священник, служащий в очень большом соборе. Его жена, если продолжить сравнение, отвечала, точно церковный хор.

— Здешнее шабли, наверное, слишком сладкое, — возгласил он.

— Слишком сладкое?

— Как насчет поммара, Башка?

— Почему бы и не поммар, Барсук.

— Бон на шиллинг дешевле и может оказаться таким же приличным... или скверным.

— Да, таким же.

Пухлая горничная выскочила из столовой с картой в руке, прижимая палец к марке, которую он выбрал.

Тем временем под этот гвалт к столику у окна просочились две дамы, которых мистер Примби видел в салоне пьющими чай во время своего первого визита в «Петунью». Они, очевидно, были сестрами — обе довольно худощавые и высокие, с круглыми и яркими личиками на шеях-стебельках. У них были острые носики, и одна носила очки в черепаховой оправе. Следующим появился джентльмен с седыми усами, пышнее и благороднее, чем даже у мистера Примби, и в сопровождении миниатюрной быстроглазой жены. Возможно, тот джентльмен, который жил в лесах Бирмы. Миниатюрная быстроглазая жена поклонилась худощавым дамам, которые заволновались, точно камыш под ветром. Джентльмен их не заметил, крякнул, садясь, достал очки и прочел меню.

— Суп с помидорами... опять! — сказал он.

— Так он ведь очень вкусный, — сказала его жена.

— Но не трижды подряд! — сказал он. — И вызывает кислотность. Я *не* люблю суп с помидорами.

Столик в эркере заняла троица, явившаяся туда раздельно. Первой пришла маленькая худенькая брюнетка в сером, с сумочкой из бус, затем маленький лысый брюнет с широкими бакенбардами, которого она назвала отцом, и в заключение пухленькая, пышущая, здоровьем жена, излучавшая благожелательность, которая вплыла в столовую, находя для каждого приветливое слово.

— Вы сегодня погуляли, майор Боун? — сказала она джентльмену из бирманских лесов.

— Только до Расхолл-Коммон и назад, — невнятно ответил майор Боун сквозь усы и ложку супа. — Только до Расхолл-Коммон.

— А вы в шарабане в Крохемхерст, мисс Солбё?

Две сестры ответили в один голос:

— Ах, мы так приятно прокатились!

— Удивительно живописно, — сказала та, что в очках.

— Такой очаровательный простор, — сказала та, что без очков.

— А море вы увидели?

— Ах, так ясно! — сказала та, что в очках.

— И так далеко! — сказала та, что без очков.

— Просто будто у неба стальной край, — сказала та, что в очках.

— Совсем как серебряная каемочка, — сказала та, что без очков.

— Кха-кха, — сказал мистер Примби.

За супом с помидорами последовали небольшие порции рыбы и были поглощены в относительном безмолвии. Только маленькая вспышка разговора за столиком в эркере.

— Но это та же рыба, которую мы ели вчера? — спросила жена.

— Похожая, — сказал джентльмен с бакенбардами.

— В меню просто указана «рыба», — сказала падчерица.

— Кха-кха, — сказал мистер Примби.

— По-моему, задние шины у нас сегодня были перекачаны, Башка, — сказал молодой человек в брюках-гольф очень громким ясным голосом. — Я жутко чувствовал дорогу.

— Я жутко чувствовала дорогу, — сказала дама в желтом джемпере.

— Утром надо будет выпустить немного воздуха.

— Так будет лучше.

— Завтра утром и займусь. Сегодня возиться не стану.

— Конечно, завтра утром, Барсук. Ты ведь очень утомился от этой тряски. И ты запачкаешь руки.

Молчание. Ножи и вилки активно работают.

— Поррек так и не написал, — сказал майор из лесов.

— Наверное, он очень занят, — сказала его жена.

— Кха-кха, — сказал мистер Примби.

Кристина-Альберта мысленно искала, что бы такое сказать, дав повод отцу удачно ответить, но все, приходившее ей в голову, было слишком обескураживающим и слишком опасным. Их взгляды встретились. У него был вид человека, который вот-вот не выдержит напряжения.

Рыбу сменил ягненок.

— По-моему, дорога из Ситтингбурна просто ужасная, — сказал автомобилист.

— Да, она была ужасная, — ответила его жена.

Кристина-Альберта заметила, что лицо ее отца подергивается. Он намеревался что-то сказать.

— Кха-кха. Завтра, если погода будет хорошей, я думаю, мы пойдем утром погулять.

Ножи и вилки перестали звякать. Все прислушивались.

— Я буду очень рада погулять завтра, папочка, — сказала Кристина-Альберта. — Конечно, тут есть чудесные места для прогулок.

— Вот именно, — сказал мистер Примби. — Весьма вероятно. Этот путеводитель очень многообещающ. Кха-кха.

Лицо его выражало гордое достоинство человека, исполнившего трудный долг.

Ножи и вилки вновь активно заработали.

— Без мятного соуса этого ягненка от баранины не отличить, — сказал майор Боун.

— Никакой горошек не бывает таким вкусным, как горошек из собственного огорода, — сказала жена джентльмена с бакенбардами своей падчерице.

— Для горошка время уже позднее, — сказала падчерица.

Две мисс Солбе и автомобилист заговорили одновременно. Миссис Боун высказала мысль, что теперь хорошего ягненка найти очень трудно. Почерпнув мужество из этого внезапного вихря разговоров, мистер Примби осмелел и сообщил Кристине-Альберте, что Танбридж-Уэллс всегда его манил. Воздух такой крепкий. Пробуждает у него аппетит.

— Смотри не растолстей, — сказала Кристина-Альберта.

Вспышка обмена мыслями угасла. Печеные яблоки с заварным кремом были съедены в относительной тишине. Подошла пухлая горничная и спросила, где мистер Примби будет пить кофе — в салоне или в курительной?

— В салоне, пожалуй, — сказал мистер Примби. — Кха-кха. В салоне.

Мисс Солбе, держа стаканы с сахаром и лимонным соком, ускользнули из столовой. Компания в эркере последовала за ними. Вкушение обеда завершилось. В салоне они оказались в одиночестве. Остальные в большинстве предпочли гостиную. Джентльмен из лесов Бирмы направился в курительную, держа большую сигару, которая словно бы тоже явилась из лесов Бирмы. Она не походила на сигару из свернутых табачных листьев или набитую, она походила на сигару из старого корявого сука, который спилили с ветвистого дерева. Из ее конца торчала соломина...

Кристина-Альберта встала, созерцая пустую бездну времени — два часа не меньше, прежде чем ей можно будет пойти спать.

— О, вот это Жизнь, — сказала она.

— Весьма удобно, — сказал мистер Примби под громкий скрип, опускаясь в плетеное кресло.

Кристина-Альберта присела на столик со стеклянной крышкой и закурила сигарету. Она все видела эти два простирающиеся перед ней часа, и ей хотелось завизжать.

Пухлая горничная принесла кофе и как будто мягко удивилась сигарете Кристины-Альберты. Шепот за кулисами. Затем за занавесом из бус в конце коридора смутно вырисовалась мисс Эмили. Потом исчезала, и Кристина-Альберта докурила свою сигарету с миром. Мистер Примби выпил свой кофе. Пауза. Кристина-Альберта ритмично болтала ногами.

— Папочка, — сказал она, — давай пойдем в гостиную, посмотрим, может быть там что-то происходит.

###### 5

В пансионах былых времен общий стол служил тем центром общения, где умы вступали в соприкосновение с другими умами и взаимно полировались. Но дух отчуждения, система отдельных столиков изменили все это, и ныне рудименты светского общения — атаки, отходы, кокетство, обмен мнениями, игры и шутки следует искать в курительной или в гостиной. Однако обитатели пансиона «Петунья» не сплотились в единое общество, и сближение ограничивалось разговорами. Жена джентльмена из бирманских лесов, завладев креслом сбоку от камина, тихим шепотом повествовала о множестве слуг в своем бирманском доме бодрой жене и младшей мисс Солбе, которая вязала. Мисс Солбе в очках окопалась за столиком по другую сторону камина и педантично раскладывала на нем очень сложный пасьянс. Джентльмен с бакенбардами сидел, выпрямившись, на одном из диванов, отгородившись «Таймс», а его дочь за столиком поблизости тоже занималась пасьянсом. Перелетные Птицы, наведя справки о кинотеатрах и мюзик-холлах, отправились на поиски развлечений.

Никто не обратил ни малейшего внимания на мистера Примби и Кристину-Альберту. Несколько секунд они простояли на середине комнаты, и тут мистера Примби охватила паника. Постыдная паника, и он бросил свою дочь на съедение безмолвным неподвижным волкам.

— Кха-кха, — сказал он. — Пожалуй, моя дорогая, я пойду в курительную. Пожалуй, я пойду покурить. Вон там, на книжном шкафу, есть иллюстрированные журналы, если тебе хочется их посмотреть.

Кристина-Альберта направилась к книжному шкафу, а мистер Примби, кха-кхакая, удалился.

Она стояла, притворяясь, будто ее интересуют карикатуры, а также портреты актрис и сливок света в «Скетче» и «Тэтлере», уголком глаза она оглядывала тех, кто делил с ней кров «Петуньи», и небрежным слухом улавливала суть излияний миссис Боун о проблеме слуг в Бирме.

— Стараются навязать тебе всю свою семью — даже дядьев с их потомством. Оглянуться не успеешь... Конечно, там белая женщина просто королева... Но с тамошней кухней просто беда, она расстраивала пищеварение мистера Боуна. Желудок у него капризнее, чем у женщины.

— Он выглядит таким здоровым и крепким, — сказала мисс Солбе.

— Так и есть, если не считать этого. Во всем остальном. Но их перечные соусы...

Она еще понизила голос, и головы младшей мисс Солбе и обходительной дамы склонились к ней в чаянии пикантных подробностей.

Что за ископаемые, размышляла Кристина-Альберта. И ведь они — живые существа. Кристину-Альберту поражало именно то, что они были живыми. А значит, послужили, предположительно, причиной многих хлопот, страданий, всяких чувств и надежд для разных людей, прежде чем обрели жизнь. И вот теперь они самым решительным образом избегали всего, что с самыми большими натяжками можно было бы назвать жизнью. Их часы, их дни; быть может, еще несколько тысяч дней для каждой, несколько сотен тысяч часов. А затем возможность жить исчезнет навсегда. И вместо того чтобы заполнить этот скудный запас часов и дней всеми возможными впечатлениями, всеми возможными усилиями и свершениями, они сидят здесь, словно заключенные в магической камере с атмосферой, в которой ничего делать не дано. Ничего и никому...

Кристина-Альберта почувствовала себя бабочкой под стеклом. Ну, на день-два у нее есть ссылка — папуленьку устроить. Но потом? Что-то делать здесь невозможно. Ни радости, ни горя, ни греха, ни творческих устремлений: ведь даже мисс Солбе вязала, следуя указаниям грязной газетной вырезки. Все, чем они занимались, было бегством. Все. Даже нашептываемые деликатные намеки на мочегонное, пищеварительное, выводящее из себя и невероятно любострастное воздействие бирманских соусов на майора Боуна, когда он был моложе, которыми его супруга одалживала своих внимательных слушательниц, были лишь полученной из вторых рук подменой реальности.

А этот пасьянс! Неужели она, спросила себя Кристина-Альберта, неужели она когда-нибудь дойдет до того, чтобы раскладывать пасьянсы в пансионах? Можно ли поверить, что когда-нибудь и она будет добровольно существовать в подобной атмосфере?

— Уж лучше продавать спички в трущобах, — прошептала Кристина-Альберта.

Что за поразительное создание Человек! Какой изобретательностью он наделен! Какими талантами и способностями! Он изобретает бумагу и совершенствует книгопечатание. Создает самые прекрасные методы цветной печати. Он создает картон, подобный шелку и слоновой кости, из тряпок и древесной пульпы. И все это словно бы для того, чтобы люди, на краткий срок пребывающие в жизни между ничем до рождения и ничем после смерти, могли коротать долгие часы в бестолковых схватках с комбинациями двойного набора четырех разного цвета чертовых дюжин! Карты! Чудо карт! По всему миру миллионы людей, непрерывно приближающихся к смерти и к ничему за ней, занимались манипуляциями с четырьмя чертовыми дюжинами: бридж, вист, наполеон, скат — сотни разных названий с одной сутью. Едва выбравшись из сырости и тьмы, они садились играть, садились за карты, глянцевито поблескивающие под неподвижным огнем ламп, чтобы бесконечно радоваться, негодовать и впадать в уныние от перманентных неожиданностей, которые всякий, кто потрудился бы заняться этим, мог бы рассчитать за неделю.

— Сходится, дорогая? — сказала младшая мисс Солбе.

— Пики сегодня просто невозможны! — сказала мисс Солбе в очках.

— А мой должен сойтись, — сказала дочь джентльмена с бакенбардами.

— Ваша дочь раскладывает «мисс Миллиген?» — спросила младшая из сестер Солбе.

— «Восемьдесят восемь», — сказала благодушная женщина. — «Мисс Миллиген» для нее сложноват.

— Ну, в нем же полно ловушек! — сказала падчерица.

— И никогда не знаешь, как все обернется.

— Пасьянс есть терпение, если перевести это слово с французского, — сказала старшая мисс Солбе. — Теперь он у меня часто сходится. Но не когда пики ложатся, как сегодня, обе двойки в верхнем ряду, и ни единого туза до предпоследней сдачи.

Кристина-Альберта решила, что пора сменить «Скетч» на «Тэтлер». Она попыталась проделать это с беззаботной небрежностью и уронила на пол с десяток экземпляров.

— О черт! — воскликнула Кристина-Альберта в гробовой тишине. Она начала подбирать и складывать.

Некоторое время все, казалось, не спускали с нее глаз. Затем миссис Боун возобновила свое повествование.

— А их упрямство просто невообразимо, — сказала она. — Они цепляются за свое невежество. Им показываешь, а они не делают, и все. Однажды я взялась за своего боя, за повара. Я называю его «боем», но он был вовсе не мальчишкой, а человеком в годах. Я сказала ему: «Дай я тебе покажу простые английские блюда, вареную курицу под вкусным белым соусом с десятком простых вареных картофелин и овощами, приготовленными просто, чтобы сохранился естественный вкус — такую еду, которая создает доблестных молодых англичан, которых ты видишь». Конечно, сама я готовлю не очень хорошо, но об английских блюдах я в любом случае знала больше него. Но дальше простой вареной курицы мы так и не продвинулись. Он выразил самое яростное негодование, по-настоящему яростное, а когда я взяла все необходимое и начала готовить, он повел себя совсем уж невероятно. Старался не следовать за тем, что делала я. Всячески старался. Сказал, что он, если приготовит курицу по-моему, потеряет касту, потеряет свое положение в местной гильдии поваров, будет запятнан навеки, станет изгоем. А почему — не объяснял! Я попробовала настаивать, тогда он заметался, дергая себя за черные волосы, — ополоумевший чернокожий. А уж глазами вращал! Я так и не поняла, что в просто сваренной курице могло вызвать такое возбуждение. «Это моя кухня, — твердил он. — Это моя кухня». А я стою и тихонько варю мою курицу, пока он бесился. Он прямо наскакивал на меня. И говорил, говорил — к счастью, на своем родном языке. Я даже поймала его на том, что он у меня за спиной делал вид, будто его тошнит. Потом принялся умолять, чтобы я перестала — со слезами в карих глазищах. Пытался что-то объяснять по-английски. Майор утверждает, что он просто ругался, но я верю, что бедняга правда верил, будто стоит ему сварить курицу самым простым и здоровым способом, каким в Англии пользуются все приличные люди, и его подвесят в воздухе, а большие бирманские сойки слетятся клевать...

Она кашлянула и покосилась на Кристину-Альберту, словно бы поглощенную иллюстрациями, и понизила голос.

— Клевать его внутренности, ну, его нутро, вы донимаете, тысячу тысяч лет.

Всеобщее изумление.

— Никогда не угадать, что может взбрести в голову восточным людям, — сказала младшая мисс Солбе. — Запад есть Запад, Восток есть Восток.

Но тут внимание Кристины-Альберты отвлекла другая цепь явлений. Она обнаружила, что худой лысый джентльмен с бакенбардами, окостеневший позади своей «Таймс», на самом деле вовсе не читает этот интересный обломок английской конституции. Взгляд его был устремлен не на газету, а за нее. Из этой засады, из-за боковой стороны своих очков он странно беспощадно, без страсти или восхищения вперялся в верхнюю часть обтянутых черными чулками ног Кристины-Альберты, когда они кинули последний вызов осуждению, прежде чем исчезнуть под ее коротковатой, но зато чрезвычайно удобной юбкой. И еще она осознала, что пасьянсу его дочери сильно мешает то, как та исподтишка, но жадно изучает ее короткую стрижку, и что это же препятствует старшей мисс Солбе надлежащим образом раскладывать второй и совсем другой пасьянс. И внезапно, к величайшей своей досаде, Кристина-Альберта почувствовала, что ее щеки заливает краска негодования, а по позвоночнику ее прямой фигуры пробегает воинственная дрожь. «Почему, черт дери, — спросила себя мисс Примби, — почему девушке нельзя стричься коротко, чтобы избавиться от лишних хлопот, и носить одежду, в которой удобно ходить? И в любом случае гривка чисто вымытых волос вдесятеро лучше этих жалких бесцельных косичек, и челок, и прочих ухищрений. А что до выставления напоказ своих ног и фигуры, так почему нельзя выставлять напоказ ноги и фигуру? Все то же увертывание от жизни заставляет этих людей прятать почти все части своего тела, завязывать их в какой-то бесформенный узел. Осмеливаются ли они сами смотреть на себя? Эти Солбе — ведь когда-то были же они веселыми девочками и с улыбкой любовались своими стройными ножками, до того как сказали „ш-ш-ш“ и упрятали их».

Тут верх на время взяла склонность Кристины-Альберты к абстрактным размышлениям. Что происходите ногами, когда их прячут и никогда на них не смотрят, не подбодряют? Они хиреют, становятся странными, землисто белыми, кривыми и боятся света? А тогда ты по-настоящему погребешь свое тело и забудешь о нем, и от тебя останется только торчащая наружу голова, болтающиеся кисти рук да ступни со спрятанными, изуродованными пальцами; и ты будешь гулять от еды до еды, кататься в шарабане, чтобы увидеть то, что видят все, и почувствовать то, что чувствуют все; и будешь играть по правилам и следуя примерам, подходящим для твоего возраста и энергии, и все больше и больше раскладывать пасьянсы, пока не приготовишься к тому, чтобы в последний раз укрыть себя и умереть. Увертывание! А сколько хлопот они причинили, родившись! Хлопоты, мораль, браки и все, что требовалось, прежде чем эти пустые жизни будут забыты.

Одни увертки, и жизнь, запечатленная в этих «Тэтлерах» и «Скетчах», состояла из точно таких же уверток. Точно таких же. Все эти фотографии выставляющих себя напоказ красоток — продающихся актрис и дочерей, которых предстоит продать, — смотрят на тебя с твоим же вопросом в глаза: «И это — Жизнь?» Бесчисленные фотографии леди Дианы Такой-то и леди Марджори Такой-то, и мистера Имярека, друга герцога Йоркского или герцогини Шонтс на собачьей выставке, на лошадиной выставке, на скачках, на открытии чего-то августейшими особами и на прочем неизбежно намекали на неотвязные сомнения, на потребность в вечных разуверениях. Фотографии играющих в теннис и другие подвижные игры были поживее, но и они, если вглядеться, не были свободны от уверток. Увертки.

Увертки. Кристина-Альберта листала старые номера «Скетча», не глядя на мелькающие перед ее глазами иллюстрации.

Чем была та Жизнь, от которой и она, и эти люди, и все-все увертывались с помощью игр, шуток, собраний, церемоний, тщательного игнорирования и скрытности? Чем было то великое снаружи, то нечто вроде огромного, ужасного, манящего и властного черного чудовища вне огней, вне движений и внешностей, что звало ее и бросало ей вызов: приди!

Этого зова, пожалуй, можно избежать, раскладывая пасьянсы, играя в игры. Его можно избежать, живя по правилам и обычаям. Во всяком случае, людям это, кажется, удается. Возможно, настанет время, когда этот призыв к Кристине-Альберте быть Кристиной-Альбертой до самого дна и выполнить свой таинственный долг перед этим колоссальным Некто за огнями перестанет портить ей жизнь. Прежде она думала, что ценой определенной бесшабашности и насилия над собой она сумеет проложить себе путь на этот зов. Теперь она уже занималась любовью. Во всяком случае, от этого она не стала увертываться. Но имеет ли это такое значение, которое прежде она ему придавала? Она и ее приятели и приятельницы затевали отчаянные игры с сырьем любви в мире, где двойной звездой сияли доктор Мари Стоупс и Д. Г. Лоренс, а это было чем-то, через что ты проходила... и оставалась совсем такой же, какой была прежде. Пожалуй, чуть более беспокойной, но и только. И ты осталась, как была прежде, лицом к лицу с неразрешимым мраком и тем таинственным, угнетающим, необоримым зовом вырваться из всего этого, чтобы жить и умереть по-настоящему.

Она занималась любовью... Странно это было...

Эти увертливые люди следят, следят за ней, может быть, читают ее мысли, проникают в нее...

Кристина-Альберта закрыла свой номер «Скетча» почти с хлопком и вышла из гостиной с безмятежным лицом. Она затворила за собой дверь и спустилась в курительную посмотреть, что сталось с ее отцом.

«Я ушла перед самой интересной частью разговора», — подумала Кристина-Альберта.

###### 6

Выяснилась, что ее отец и джентльмен из лесов Бирмы после длительного и блистательного состязания в «кха-кха» вступили в разговор. Но к несчастью, разговор этот не подходил для ее ушей.

— В Сиаме, Камбодже, Тонкине полно таких храмов. Вас ведут туда и показывают.

— Замечательно, — сказал мистер Примби. — Замечательно. А вы не думаете, что изваяния, о которых вы говорите?.. Какой-нибудь высший символизм?

Оба джентльмена вдруг заметили Кристину-Альберту, внимательно пребывающую на заднем плане.

— Символизм, — сказал лесной джентльмен. — Символизм. — И тут у него начались какие-то неприятности с гортанью. — Языческие непристойности... Трудно объяснить... В присутствии барышни... Кха-кха.

— Кха-кха, — сказал мистер Примби. — Ты пришла пожелать спокойной ночи, дорогая? У нас довольно... довольно специальный разговор.

— Я так и поняла, папочка, — сказал Кристина-Альберта, подошла и присела на ручку кресла.

— Спокойной ночи, папуленька, — сказала она.

Задумчивая, пауза.

— По-моему, этот Танбридж мне подходит, — сказал мистер Примби.

— Надеюсь, что так и будет, папуленька. Спокойной ночи.

###### 7

Довольно подробно первый вечер Кристины-Альберты в пансионе «Петунье» был описан потому, что это был образчик всех тихих, не отмеченных никакими событиями вечеров, которые, казалось, предстояли там мистеру Примби. Он запечатлелся в ее памяти как неизмеримая огромность бессобытийности, в которой с ним не может произойти ничего вредного или смущающего. Последняя отдаленная возможность смущения его фантазии словно бы исчезла на следующий день, когда миссис Боун сообщила супруге джентльмена с бакенбардами, что они с мужем на следующий день отбывают в Бат — видимо, им улыбнулась удача. Они сняли именно те комнаты на зиму, именно в том пансионе, который облюбовали давным-давно.

— Танбридж кажется таким унылым, — сказала она. — После Бирмы.

Обед походил на предыдущий. Перелетные Птицы улетели, а мистер Примби поразил себя, Кристину-Альберту, и пухлую горничную, и собравшееся общество, осведомившись, нельзя ли послать (кха-кха) за бутылкой или фляжкой кьянти.

— Это итальянское вино, — сообщил мистер Примби пухлой горничной, чтобы посодействовать ей в розысках. Но в карте доставляемых вин кьянти не значилось, и после беседы, заметно напоминавшей ту, которую накануне вели Перелетные Птицы, столик мистера Примби украсило бургундское из Австралии, а также (по просьбе Кристины-Альберты) бутылка минеральной воды.

После этого проявления инициативы, самоутверждения и безудержной светской смелости мистер Примби до конца обеда ограничивался практически только кха-кхаканьем.

Последующая жизнь в гостиной тоже пустотой уподобилась предыдущему вечеру. Кристина-Альберта выкурила свою, возможно, нелегальную сигарету в салоне, вернее, выкурила она их две, и мисс Маргарет Рустер смотрела на нее сквозь занавес из бус возле комнаты для расчетов, а мисс Эмили втянула воздух носом на верхней площадке лестницы, но сказано ничего не было. А затем мистер Примби последовал за майором Боуном в курительную, чтобы получить всю возможную информацию об изваяния в храмах и религиозных обычаях народов к востоку от Индии. Он был склонен думать, что евангелические предрассудки делали майора Боуна пристрастным. Однако майор Боун в этот вечер не вознегодовал на восточные религии. Он хотел поговорить о Бате, и он говорил о Бате. Он, не скупясь на подробности, поведал мистеру Примби о замечательном случае, имевшем место в Бате. Там он познакомился с джентльменом по фамилии Боун, джентльменом примерно его возраста и несколько на него похожим — с неким капитаном Боуном, который также одно время жил в Бирме. Он изложил почти дословно разные крайне драматичные разговоры между ним и другим Боуном, иногда повторяя то или иное, чтобы уточнить или исправить ошибку. Они тщательнейшим образом сверили свои родословные, но не обнаружили никакой возможности даже самого отдаленного родства между собой.

— Самое странное совпадение, с каким мне довелось столкнуться, — сказал майор Боун. — В Бате. В девятьсот четвертом.

В гостиной господствовали пасьянсы, а миссис Боун разговаривала о Бате. Бодрая жена джентльмена с бакенбардами внезапно повернулась к Кристи не-Альберте и сказала «добчер».

— А? О! Добрый вечер, — сказала Кристина-Альберта.

— Вы сегодня погуляли?

— Осматривали Скалу-Жабу, и Высокие Скалы, и Эридж-парк.

— Прекрасная прогулка, — сказала бодрая дама и вновь сосредоточилась на миссис Боун. Ее, сообразила Кристина-Альберта, будут замечать, но не обласкивать.

Оставалось только снова пролистать «Скетчи» и «Тэтлеры». Фотографии, правда, исчерпались, но оставались рецензии и книжные новинки и один-два рассказа.

Когда она пошла пожелать папочке «спокойной ночи», решение уже было принято.

— Папочка, — сказала она, — в четверг, то есть послезавтра, я должна вернуться в Лондон. Начинаются лекции.

Мистер Примби возражал не очень рьяно.

Третий вечер повторял два предыдущих с той лишь разницей, что Боуны отбыли, а Кристина-Альберта поддерживала себя мыслью, что на следующий день она сменит отдых в Танбридже на запутанные загадки Лондона. Оказалась там и одна Перелетная Птица — неряшливого вида молодой человек студенческого типа с могучей шевелюрой, которую не слишком укрощала помада — его мотоциклет сломался у самого въезда в Танбридж-Уэллс.

Был он откуда-то с севера, как будто из Нортумберленда. В Танбридже ему предстояло пробыть дня два-три, пока из Ковентри не пришлют какую-то деталь к его мотоциклету. Вот ему и пришлось искать приюта в пансионе «Петунья»; не повезло ему чертовски. Поездки в Лондон его бюджет не выдержит, так что ему остается только сидеть в Кембридже и ждать. Он кембриджский студент, геолог, и на машине у него полная сумка образцов. Эти факты он сообщал через всю комнату мистеру Примби в ходе довольно одностороннего разговора.

С самого начала Кристине-Альберте этот молодой джентльмен из Кембриджа сильно не понравился. Он был словно более юный и неотесанный Тедди Уинтертон с нахально скверными манерами вместо нахально хороших и без физической ловкости и изящества, а также красоты. И разговаривая с мистером Примби, он поглядывал на нее. Но она ни с какой стороны не предвидела роли, которую ему предстояло сыграть в жизни ее папочки и в ее собственной жизни.

Когда они с папочкой направились в салон ради кофе и сигареты, молодой человек последовал за ними, сел за столик рядом и завязал новый разговор. В Танбридж-Уэллсе есть чем развлечься? Может ли он рассчитывать на партию в теннис или партию в гольф?

— Тут много восхитительных мест для прогулок, — сказал мистер Примби.

— В одиночку неинтересно, — сказал молодой человек.

— Наблюдать — весьма увлекательно, — сказал мистер Примби.

— Эти края совсем выработаны, — сказал юный муж науки. — А музей тут имеется?

Мистер Примби этого не знал.

— В каждом городе должен быть музей.

Вскоре кофе был допит, сигарета докурена. В этот вечер мистер Примби высказался в пользу гостиной — с отбытием майора Боуна курительная утратила притягательность, а мистер Примби успел обменяться парой дружеских слов с джентльменом с бакенбардами и надеялся на дальнейшее приятное продолжение. При виде старых «Скетчей» и «Таймс» Кристина-Альберта, пошедшая с ним, вспомнила, что днем она купила на Главной улице книгу — потрепанный экземпляр «Исповеди» Руссо, и вернулась за ней. Молодой джентльмен из Кембриджа все еще сидел в салоне и курил сигарету за сигаретой.

— А тут мрачновато, — сказал он.

— Ну, не знаю, — сказала Кристина-Альберта великодушно и остановилась перед ним.

— И никаких развлечений, а?

— Да, не карнавал.

— Я застрял тут.

— Придется потерпеть.

— А вы бы не согласились выйти и поискать чего-нибудь такого? — спросил молодой человек из Кембриджа, собравшись с духом.

— Извините, — отрезала Кристина-Альберта и повернулась продолжить путь.

— Вы не обиделись? — сказал молодой человек из Кембриджа.

— Очень мило, что вы подумали обо мне, — сказала Кристина-Альберта, которая предпочла бы, чтобы ее сочли совсем бесстыжей, лишь бы не жеманной. — Доброй охоты.

И молодой человек из Кембриджа понял, что его отвергли.

Кристина-Альберта вернулась в гостиную для нового погружения в безмерную пустоту. Ну, да у нее есть Руссо, чтобы почитать, а завтра она будет в Лондоне.

Да, Руссо... ей всегда хотелось узнать свою позицию по отношению к Руссо. Он помог ей продержаться до десяти часов. Но Руссо особого впечатления на нее не произвел. Ему бы познакомиться кое с кем из девочек в клубе «Новая Надежда». Они бы ему показали.

###### 8

Три недели Кристина-Альберта не возвращалась в Танбридж-Уэллс, а когда вернулась, то столкнулась со многими вещами, которые окажут воздействие на ход этого повествования. Повествование это посвящено мистеру Примби, а мы не принадлежим к поклонникам тех современных романов, которые ни на минуту не оставляют девушку в покое, а обязательно суют нос в самые личные, самые интимные ее дела. Кристина-Альберта испытывала растерянность, тревогу и не стерпела бы такого прожекторного луча. Достаточно сказать, что события теснили друг друга и были дни, когда она практически не вспоминала своего папуленьку, возможно изнывающего от одиночества в Танбридж-Уэллсе. Затем пришло письмо, заставившее ее сразу помчаться туда.

Мне кажется, следует сообщить тебе, что мне были посланы Очень Важные Откровения *Величайшей Важности,* и я должен бы сообщить тебе о них. Они вроде бы изменят все наши жизни. Я знаю, ты вся в занятиях, но эти Откровения так Важны, что я хочу поскорее поговорить с тобой о них. Я бы приехал в студию сообщить тебе обо всем этом, но очень вероятно, что там будет мистер Крам, и я очень предпочел бы сообщить тебе здесь на Выгоне в более соответствующем окружении. Часть ты найдешь такой невероятной, что поверить трудно.

— Откровения? — сказала Кристина-Альберта, перечитывая письмо. — Откровения?

Она отправилась в Танбридж-Уэллс в тот же день.

### Глава V

### Пелена спадает с глаз мистера Примби

###### 1

— Пелена, — сказал мистер Примби, — спала с моих глаз.

Он выбрал скамью на Выгоне, с которой открывалась широкая панорама города — города, увенчанного зелеными куполами оперного театра и раскинувшегося так, словно дома ссыпали с тележки и они раскатились по уходящему вниз склону. А дальше виднелись широкие дали Кента, голубоватые далекие холмы.

Кристина-Альберта ждала, что последует дальше.

— Это, — сказал мистер Примби, иногда вставляя в свою речь отдельные «кха-кха», — все это... трудно передать. Естественно, я думаю, что ты склонна к скептичности, унаследовав ее от своей дорогой мамы. Она была очень скептична. И особенно в отношении спиритуальных феноменов. Она говорила, что это Вздор. А когда твоя дорогая мама называла что-то Вздором, значит, оно было Вздором. И доказывать, что это не обязательно так, только еще больше все испортило бы. Что до меня — я всегда воздерживался от категорических выводов. Никакой догматичности, так или эдак. Я просто воздерживался.

— Но, папочка, ты столкнулся со спиритическими явлениями? Как ты мог столкнуться со спиритическими явлениями здесь?

— Позволь, я расскажу тебе все по порядку. Я хочу, чтобы ты все видела, как видел я — по порядку.

— Как это началось?

Мистер Примби поднял ладонь.

— Будь так добра! Я изложу по-своему.

Кристина-Альберта закусила губу и уставилась на его профиль, дышащий спокойной решимостью. Поторопить его не удалось бы. Он был намерен не отступать от заранее приготовленного рассказа.

— Не думаю, — сказал мистер Примби, — что склад ума у меня доверчивый. Правда, я не склонен к спорам. Говорю я не много. Но я мыслю и наблюдаю. Я мыслю и наблюдаю, и у меня, бесспорно, есть дар верно судить о людях. Не думаю, что меня легко обмануть. И следует заметить, что начало всему положил я. Все началось с моего предложения. Не знаю, каким образом эта мысль возникла у меня в голове, но знаю, что именно я дал толчок всему. Знаешь, после твоего отъезда наше маленькое общество в пансионе «Петунья» сократилось до шести человек, если не считать молодого человека из Кембриджа, который был, по выражению мисс Рустер, Перелетной Птицей. Естественно, мы, шестеро, почувствовали, что это сближает нас. Две мисс Солбе, обе очень умные барышни, а также мистер Хоклби, миссис Хоклби и мисс Хоклби, ну и я. Мы сблизились за вторым завтраком после твоего отъезда — погода выдалась дождливая, в гостиной затопили камин, и мисс Солбе, та, которая в очках, захотела показать мне один из своих пасьянсов. У нас возникла довольно интересная дискуссия о том, возможно ли силой воли определить, какая карта откроется. Я всегда склонялся к точке зрения, что для некоторых людей, людей, наделенных необходимым даром, это возможно, но мистер Хоклби проявил в этом вопросе крайний скептицизм. Он сказал, вот наверху колоды лежит карта, которую надо перевернуть, и если напрячь волю, чтобы открылась другая карта, это значило бы, что человек только силой воли должен был бы заново изготовить две карты в колоде, превратить их одну в другую, то есть стереть все знаки на них, а затем напечатать другие. Но я попытался втолковать ему, что это философски неверно из-за предопределения. Если тебе предопределено напрячь волю, чтобы такая-то карта оказалась верхней в колоде, то и этой карте предопределено быть там. Он доказывал...

— Папочка, разве необходимо рассказывать мне все это, прежде чем мы доберемся до твоих спиритических явлений?

— Это просто иллюстрирует факт, что мистер Хоклби был крайне скептичен.

— А при этих дискуссиях присутствовал молодой человек из Кембриджа?

— Не-ет. Нет. Не присутствовал. Возможно, он ушел в гараж узнать, прислали ли запасную деталь. Он то и дело ходил в гараж узнавать о запасной детали.

###### 2

Мистер Примби кха-кхакнул и перешел к следующей части своего повествования.

— Все началось вечером после обеда, — сказал он. — Я направился в курительную — покурить, а затем я направился в гостиную, а когда я направился в гостиную, никаких оккультных феноменов у меня и в мыслях не было, Кристина-Альберта. Но когда я вошел в гостиную, то увидел, что мисс Солбе смотрит на пасьянсные карты, которые только что разложила, и то, как ее руки лежали на столе, напомнило мне про то, что я читал о том, как люди вместе кладут руки на стол, проводя опыты со столоверчением. И даже как-то не подумав, я сказал: «А знаете, мисс Солбе, вы положили руки совсем так, как их кладут, собираясь приступить к столоверчению».

Мистер Хоклби тогда читал газету — думается, «Таймс», хотя это могла быть «Морнинг пост», — но он положил ее, когда услышал мои слова, и посмотрел на меня поверх очков, и сказал: «Но вы же не верите в подобные вещи, мистер Примби?»

Его жена сидела спиной ко мне, но по тому, как она говорила, думается, она жевала конфету или сосала леденец. «А я верю, — сказала она. — Дома, до того как я вышла замуж, мы этим тысячу раз занимались».

И я не знаю, Кристина-Альберта, как это пришло мне в голову — будто нечто делало это помимо меня, или, возможно антагонизм, который у меня всегда вызывал этот Хоклби, но как бы то ни было, я сказал: «Мне бы хотелось испробовать это вот столоверчение». Тут младшая мисс Солбе, а она просто очаровательна, когда узнаешь ее поближе, так оказывается, она последнее время как раз читала литературу по оккультизму...

— Сколько ей лет, папочка? — спросила Кристина-Альберта, глядя на него с новыми подозрениями.

— Не думаю, что больше тридцати двух — тридцати трех. От силы тридцать четыре. И весьма начитана. Весьма. Ну, во всяком случае, она сказала, что хотела бы попробовать. А мисс Хоклби — отец явно воспитал ее в скептицизме, — ей тоже стало любопытно. Возражал только мистер Хоклби, но миссис Хоклби настояла. Только она одна среди нас сама видела, как это делается, и потому она все устроила и объяснила нам, что мы должны делать. Мы выбрали самый крепкий столик, тот, на котором обычно стоит большая аспидистра, и пока мы гасили свет...

— Но зачем, папочка?

— Так всегда делают, — сказал мистер Примби. — Создает благоприятствующую атмосферу. Мы зажгли свечу, которую дала нам мисс Маргарет Рустер, и погасили все электрические лампы. А пока мы этим занимались, вдруг вошел молодой мистер Чарлз Фентон и сказал... Что же он сказал? Такое странное выражение... А, да. «Елки-палки, — сказал он. — Что тут происходит?»

— Это тот молодой человек с мотоциклетом?

— Да, молодой человек из Кембриджа. Мы объяснили, что мы делаем, и пригласили его присоединиться к нам. Он объяснил нам, что ничего не знает о спиритуальных феноменах, никогда ничем подобным не занимался, и, казалось, ему вовсе не хотелось участвовать в нашем опыте. «Я не верю, что в этом что-то есть, — сказал он. — Только время зря потеряем». Более того, я сейчас припомнил, что уходил-то он, намереваясь посетить мюзик-холл, но потом вернулся и сказал, что льет дождь. Очень важно заметить, что ему вовсе не хотелось присоединяться к нам и что он совсем не был осведомлен в оккультных вещах, потому что, видишь ли, как я расскажу тебе, мы вскоре обнаружили в нем спиритуальную одаренность, куда большую, чем у кого-нибудь еще среди нас.

Ну, мы расположились вокруг столика принятым порядком, соприкасаясь большими пальцами и мизинцами, и некоторое время словно бы ничего не происходило. Мы обнаружили, что мисс Эмили Рустер заглядывает в чуть приоткрытую дверь, так, возможно, это оказывало неблагоприятное воздействие. Полагаю, она гадала, чем мы занимаемся и почему попросили свечу у ее сестры. Затем мистер Фентон начал проявлять нетерпение, ворчать себе под нос, и сказал, что глупее способа скоротать вечер он не знает. Лишь с трудом удалось его убедить, чтобы он хранил молчание и продолжал. «Ну, ладно, — сказал он словно бы с досадой. — Будь по-вашему». И тут внезапно раздались два оглушительных стука, точно из пистолета выстрелили, и не прямо под столом, но словно бы в воздухе, примерно в футе под ним. И тут стол задвигался. Сначала медленно заскользил по полу, а потом начал сильно дергаться под нашими руками, будто толкая их вверх. Жутко так и впечатляюще, Кристина-Альберта, очень жутко и впечатляюще. Очень. Стол поднялся фута на два, я думаю, и тут мистер Хоклби разорвал круг, стол рухнул вниз и ножкой больно ударил его по голени. Он охнул, нагнулся, чтобы потереть ногу и в тусклом свете ударился головой о край столешницы. Ну, просто кара за его скептицизм, подумал я. Мы зажгли пару ламп, чтобы помочь ему. «Не нравится мне это, — сказал мистер Фентон. — Немножко множко, на мой взгляд».

Я попросил его попробовать еще разок.

«Не нравится мне, что стол так скачет, — сказал он. — Вредный пример для стульев. Что, если они примутся играть в бильбоке с нами вместо шариков! Стул, когда заартачится, может вас сильно расшибить. И к тому же я не люблю качки, а тут словно через Ла-Манш плывешь». По-моему, нас всех очень взволновало случившееся, и остальные, даже мистер Хоклби, были за то, чтобы продолжать. «В следующий раз я буду нажимать на него», — сказал он. Думается, он заподозрил, что его жена или я причастны к произошедшему. Несомненно, спиритуализм давно был причиной споров между ним и его женой. Его жена сказала, что она и раньше видела, как столы двигаются, но чтобы так сильно — никогда.

Мы снова сели. И даже минуты не прождали, как стол начал раскачиваться самым странным образом, а затем буквально взлетел вверх — и с такой силой, что старшую мисс Солбе опрокинуло на оттоманку, которая там стоит, а меня ударило под подбородок. И все время раздавались прямо-таки залпы щелчков, будто кто-то щелкал палками, только куда громче. Было большим облегчением зажечь свет и увидеть, как мистер Хоклби изо всех сил жмет на стол, чтобы удержать его на месте. «Чтоб тебя черт побрал, — сказал он... и совсем громко: — Чтобы тебя черт побрал! Стой смирно!» Мисс Хоклби и ее отец подняли мисс Солбе: она лежала на полу вроде бы в припадке истерического смеха и болтала ногами в воздухе.

«Не нравится мне это, — сказал мистер Фентон. — Насквозь пронизывает, прямо как удар электрического тока».

Он сказал это совсем просто.

Единственная из нас только миссис Хоклби была знакома с оккультными феноменами, но она с тех пор, как вышла за мистера Хоклби, ничем таким не занималась из-за его скептицизма, а замужем она была пять-шесть лет. Теперь она сказала, что, совершенно очевидно, какой-то очень сильный и решительный дух пытается вступить с нами в общение, и она объяснила простой и безопасный метод, как вступить в общение с ним. Надо было снова сесть вокруг стола и произносить буквы по алфавиту, и как дойдем до буквы, нужной духу, раздастся стук, и так мы сможем получить что-то определенное. Оказывается существует своего рода код, как будто хорошо известный в мире духов, согласно которому «нет» передается одним ударом, а «да» — двумя, и так далее.

— Мы взялись за дело, — продолжал мистер Примби. — Спросили духа, хочет ли он сообщить что-нибудь, по буквам, и он ответил двумя очень громкими ударами, и тогда мистер Хоклби начал читать алфавит — «а», «б» и так далее. Когда он дошел до «с», дух стукнул так громко, что я подпрыгнул.

— И какое слово вы составили, папочка?

— Имя, мне тогда совершенно неизвестное — САРГОН. А затем — ЦАРЬ ЦАРЕЙ. Мы спросили, зовут ли духа, общающегося с нами, Саргоном. Ответ был «нет». Саргон присутствует здесь? «Да». Так кто же общается с нами? УИДЖЬЯ[[5]](#footnote-5). Кто такой Уиджья? МУДРЕЦ. Это очень медленный процесс — составлять слова таким способом, и к этому моменту мы все очень устали. Особенно устал мистер Фентон. Он зевал и выглядел совсем измученным, и наконец сказал, что переутомился, ничего не соображает и просто должен лечь спать. На самом-то деле, вполне естественно, потому что, хотя тогда никто из нас этого не понял, медиумом под контролем Уиджьи был он. Ну, он ушел, а мы попробовали без него, но магия исчезла, и мы даже ни единого стука не получили. А потому просто сидели некоторое время и беседовали. Особенно ошарашен был мистер Хоклби. А потом и мы пошли спать.

— Совершенно очевидно, что стучал мистер Фентон, — сказала Кристина-Альберта.

— Совершенно очевидно, что его присутствие было необходимо для стуков, — поправил мистер Примби. — Сам того не сознавая, он был Медьюмом.

Наступила пауза.

— Ну, так рассказывай дальше, — сказала Кристина-Альберта.

###### 3

— На следующий вечер опять лило, а так как его запасная деталь еще не прибыла, мистер Фентон мог снова к нам присоединиться. Он сначала возражал, потому что, сказал он, родители у него ревностные баптисты, а это смахивает на некромантию, которую Библия запрещает. Но я его разубедил. И на этот раз буквы составили примечательнейшую весть. А именно: «ПРОБУДИСЬ, САРГОН! ВОССТАНЬ, ИЛИ ВОВЕКИ ОСТАНЬСЯ ПАДШИМ!»

С самого начала у меня было чувство, что эти вести про Саргона имеют какое-то отношение ко мне. А тут во мне возникло глубокое убеждение. Я спросил: «Саргон здесь присутствует?» — «Да». Я знал, что ответ будет таким. «Это кто-то в кругу?» — «Да». «Вот этот джентльмен?» — я указал на мистера Хоклби. Очень громкое «Нет». «Это я?» — «Да».

Мистер Хоклби, я заметил, выглядел раздосадованным — словно думал, что это он должен быть Саргоном.

Тут молодой мистер Фентон внезапно вскочил на ноги. «О, я больше не могу этого выносить, — сказал он. — Я ничего не соображаю. Я уверен, что это вредно». Он прошел через комнату и внезапно опустился в кресло, и его руки свесились с подлокотников — одно из тех больших кресел, обтянутых кретоном. Мы все встревожились, но что до меня, я был как в тумане — подумать только, что этот Саргон — я, и что меня так открыто призывают начать действовать. Я еще полностью не понял все, что это означало для меня, но осознал, что означать это должно очень многое.

— Но что, по-твоему, это означало? — спросила Кристина-Альберта резко, и ее недоуменный взгляд обшарил его профиль. Его синие глаза были устремлены в неизмеримую даль за холмами, созерцая неведомые вещи, необыкновенные вещи, сказочные империи, потаенные города, мистические обряды, и он сдвинул брови, стараясь не потерять нить своего рассказа.

— Все в свое время, — сказал мистер Примби. — Позволь мне излагать по-своему. По-моему, я рассказывал тебе, как молодой мистер Фентон сказал, что чувствует себя как-то странно, будто на него что-то давит. К счастью, миссис Хоклби знала, что надо делать в подобной ситуации. Она и прежде сталкивалась с подобным. «Не противьтесь, — сказала она. — Расслабьтесь. Откиньтесь на спинку. Если хотите спокойно полежать, лежите. Если хотите что-то сказать, скажите. Дайте влиянию действовать». Она обернулась ко мне и прошептала «транс!».

«Что такое транс? — сказал мистер Фентон. Так прямо и спросил: — Что такое транс?»

Она начала двигать ладоням и перед его лицом. По-моему, это называется «делать пассы». Он закрыл глаза с каким-то вздохом, его голова склонилась ему на плечо. Мы все в ожидании сидели вокруг, и вскоре он начал бормотать. Сперва чистый вздор, «Уиджья, Вуиджья, Буиджья» — слова вроде этих. А потом более четко: «Уиджья, Мудрец, слуга Саргона. Уиджья приходит служить Саргону. Пробудить его». А потом понес чистый вздор. «Почему мышь, раз она кружится», — прошептал он собственным голосом. А затем: «Эта чертова запасная деталь!»

Миссис Хоклби сказала, что это очень типично для таких трансов, и тогда мистер Хоклби взял блокнот и карандаш, чтобы записывать, что будет сказано дальше.

И вскоре мистер Фентон опять заговорил, но только не своим голосом, а хриплым таким шепотом, совсем другим, чем его обычный голос. Голос был этого Уиджьи, это говорил Уиджья — Уиджья им управлял. С легким акцентом. Шумерийским, думается мне.

Ну, а говорил он поразительные вещи. Полагаю, этот Уиджья хотел обеспечить себе мое внимание, убедив меня, что ему известны вещи, сугубо интимные вещи, которых никто, кроме меня, знать не может. И в то же время он не хотел, чтобы остальные понимали, о чем он говорит. Как именно? Что я помню? Мистер Хоклби много записывал, но у меня пока не было времени снять копию. «Дитя моря и пустыни, — сказал он. — Синие воды и песок пустынь». Такая ли уж натяжка уловить тут указание на Шерингем? «Каскады и множество вод. И нечто подобное колесу на голубом щите». Это позагадочнее. Но «каскады и множество вод» привели мне на память наши большие стиральные машины. А помнишь свастику на наших голубых фургонах, Кристина-Альберта? Разве она странно не перекликается с колесом на голубом щите? Викинги называли свастику огненным колесом. «Войска с колышущимися под ветром белыми одеяниями, длинными протянутыми линиями — войска, доставляющие победу». Опять-таки странно. Приводит на память войска, но и — не сочти меня смешным — сушильню и фургоны для доставки.

— Ты уверен, что фразы были именно такие?

— Мистер Хоклби записал их. Если я запомнил не совсем точно, ты сможешь проверить по его записям.

— Свастика могла быть совпадением, — сказала Кристина-Альберта. — Или ты нарисовал ее на полях газеты. Ты ведь часто ее рисуешь. А он подсмотрел.

— Голубого фона это не объясняет. А он особенно подчеркнул голубой фон. И другие вещи, известные только мне и твоей дорогой маме. Рассказать тебе о них я не могу, не рассказав всего. И всякие мелочи, известные только мне. Фамилию моего покойного деда в Диссе. Суббот была его фамилия. Иногда бывает трудно доказывать, хотя сам ты совершенно уверен. И все это вперемешку с отрывочными фразами о великом городе, и двух дочерях Западного Владыки, и о Мудреце. И еще он называл меня Валтасаром. Валтасар словно то исчезал из его мыслей, то снова появлялся. «Явись вновь в мир, впавший в хаос». Примечательные слова. И еще: «Берегись женщин, они забирают скипетр из рук царя. Но знают ли они, как править? Спроси Тутанхамона. Спроси развалины в пустыне».

— Ха! — сказала Кристина-Альберта. — Как будто женщинам когда-нибудь давали шанс!

— Ну, во всяком случае, мистер Хоклби это записал... И по-моему, это тоже применимо ко мне: ведь из-за моей великой привязанности к твоей матери я позволил бесплодно ускользнуть стольким годам моей жизни... Он еще много что сказал, Кристина-Альберта, исполненного такого же скрытого смысла. Но я рассказал достаточно, чтобы ты получила представление, что произошло. В конце концов мистер Фентон пришел в себя совершенно неожиданно — гораздо внезапнее, чем это обычно бывает, сказала миссис Хоклби. Он выпрямился в кресле, зевнул и протер глаза. «О Господи! — сказал он, — какая же это чепуха! Ну, я пошел спать».

Мы спросили, не чувствует ли он себе измученным. Он сказал, что да, чувствует. «По горло сыт», — так он выразился. Мы спросили его, относится ли и это к вести. «Какой вести?» — сказал он. Ну, просто ничего не помнил о сообщении. «Я что-то говорил? — спросил он. — Это не годится. И что же я говорил? Надеюсь, ничего лишнего. А если да, то приношу свои извинения. Нет, больше я ничем таким не занимаюсь».

Миссис Хоклби сказала ему, что еще никогда никого не встречала с таким спиритуалистическим даром. А он сказал, что ему жаль это слышать. Она сказала, что его долг перед самим собой развивать столь редкий и необычный дар, но он сказал, что это не понравится его родителям. Дождь прекратился, и он сказал, что пойдет перед сном прогуляться. С начала и до конца он вел себя очень просто и естественно. И словно бы против желания. И вид у него правда был очень усталый.

— И он ни разу не засмеялся? — спросила Кристина-Альберта.

— С какой стати? Он словно побаивался того, что передавал. А на следующий день прислали запасную деталь. Миссис Хоклби всячески пыталась уговорить его задержаться еще на день и продолжить свое Общение, но он не пожелал. А только расспрашивал про паром в Тилбери и о часах прилива. И даже не сообщил нам ни своего имени, ни адреса. А когда я заговорил о том, чтобы отослать записи мистера Хоклби в «Оккультревью», он вдруг прямо-таки перепугался. Сказал, что, если его фамилия будет упомянута в связи с ними, это серьезно поссорит его с родителями. Он даже не разрешил нам поставить «мистер Ф. из Кембриджа». «Поставьте какую-нибудь непохожую фамилию, — сказал он, — совсем непохожую. Поставьте какую хотите, только чтобы она не указывала на меня. Ну, например, мистер Путтник из Лондона. Или любую в том же роде».

Конечно, нам оставалось только согласиться.

###### 4

— И это вся твоя весть, папочка?

— Только самое начало. Потому что я начал вспоминать. Я начал вспоминать все больше и больше.

— Вспоминать?

— Всякое из моих других жизней. Этот молодой мистер Фентон был, так сказать, лишь первой прорехой в завесе забвения, отделявшей эту жизнь от всех моих предыдущих существований. А теперь она порвана и рассечена, так что я способен заглядывать за нее в десятке точек. Теперь я начинаю понимать, чем я был на самом деле и чем я могу быть на самом деле... Знаешь, Кристина-Альберта, я никогда по-настоящему не верил, что я — это действительно я, даже школьником. И вот, что интересно: теперь я знаю и ясно понимаю, что я кто-то другой. И всегда был кем-то другим.

— Но кто ты, по-твоему, папочка?

— Насколько я разобрался пока, сперва я был вождем по имени Порг в городе, называвшемся Клеб, на самой заре мира, и я вывел моих людей из дикости и многому их научил. Ну, а потом я был этим Саргоном — Саргоном, Царем Царей. О нем есть крайне мало сведений в здешней городской библиотеке, в «Британской энциклопедии». А Саргон, про которого они рассказывают, — наглый выскочка, который взял его имя — мое имя! — три тысячи лет спустя; ассириец, вот кто Саргон, про которого они рассказывают; он связался с евреями, и он осаждал Самарию, но я-то был подлинным Саргоном задолго до того, как появились евреи и все такое, задолго до Авраама, и Исаака, и Иакова. А потом я был Валтасаром, последним наследником Вавилона, но это не очень ясно. Это остается темным. Только одна часть хроники освещена ярко — пока. Вполне возможно, что я был еще многими другими людьми. Но фигура, которая сейчас рисуется в моей памяти, это Саргон. Это его воспоминания возвращаются ко мне. Это он, кто вернулся во мне.

— Но, папочка, ты же по-настоящему этому не веришь?

— Верю? Я *знаю*. Задолго до того, как эта Весть меня достигла, у меня были эти прозрения, эта уверенность, что я кто-то другой. Ну, а теперь я все вижу ясно. Теперь я помню дни в Аккаде так же ясно, как дни в Вудфорд-Уэллсе. Я даже почти сомневаюсь, а жил ли я в Вудфорд-Уэллсе, это отодвинулось так далеко. Воспоминания начали возвращаться, когда я лег спать в тот день, когда мистер Фентон уехал. Я лежал в кровати — и внезапно я уже лежал не на кровати, я раскинулся на ложе под балдахином — балдахином из чистейшей белой шерсти, сотканной очень тонко и расшитой эмблемами, символами и всем таким прочим золотыми нитями, и я плыл в моей парадной барке по Евфрату. Две царские дочери, сестры, с изящными шеями, несколько похожие на обеих мисс Солбе, но только красивее и бесспорно моложе — намного моложе! — сидели и обмахивали меня веерами из орлиных перьев, выкрашенных в царский пурпур. А у моих ног сидел мой советник Прюм, как ни странно, поразительно похожий на мистера Хоклби — те же седые баки и те же пучочки волос над ушами. На нем был невероятно высокий колпак из какого-то черного шерстяного материала, и он вел записи деревянным стилом на глиняной влажной табличке. Ну, словно писать на пирожке, который ребенок слепил из мокрого песка. А позади него находились офицеры барки на подобии мостика — на них были кожаные шлемы, усаженные медными бляхами. А внизу виднелись гребцы, прикованные к своим веслам, а по обоим бортам простиралась широкая бурая река, подернутая чуть заметной рябью от ветра. Лодки торопливо отплывали в сторону, давая нам дорогу. На них были грубые квадратные паруса, и они опустили их и повернули — все одинаковым движением и точно в один момент. Это было очень красиво. По берегам были разбросаны деревушки с домами из кирпича-сырца и купы или ряды пальм. И повсюду разные примитивные приспособления — огромные наклонные деревянные шесты, похожие на колоссальные удочки, чтобы черпать воду из реки для орошения полей. А люди все толпились у воды, окуная в нее руки и лбы, и кричали: «Саргон Завоеватель! Саргон, Царь Царей!»

— Но, папочка, это же был сон?

— Ну, как мне могло присниться то, чего я никогда прежде не видел, о чем даже не слышал?

— Так бывает.

— Нет, так *не* бывает! — ответил он с тихим несгибаемым упрямством. — Я помню, что возвращался с юга, где подарил мир множеству воевавшим между собой племен — еламитянам, и ферезеям, и иевусеям, и всяким прочим. Я возвращался в свою столицу. Я четко помню разные подробности кампании и знаю, что, сделав усилие, вспомню больше и по порядку. В снах происходят всякие нелепости; сны, когда вспоминаешь их потом, оказываются полной мешаниной, а тут все логично и упорядоченно. Можно подумать, Кристина-Альберта, что мне никогда не снились сны и что все эти воспоминания о прежнем существовании, которые нахлынули на меня теперь, были обманом воображения! Но я могу вернуться в это прошлое, будто оно было вчера, и я куда более уверен, что я Саргон, чем что я Альберт-Эдвард Примби, твой отец. Первый — мое истинное «я», а второй — всего лишь простенькая ни на что не претендующая обертка, в которую по причине, пока мне не известной, меня упрятали от глаз мира.

Он взмахнул рукой с непривычной смелостью. Глаза его были широко открыты, созерцая невидимое.

Дочь несколько секунд смотрела на него молча. Она пыталась полностью осознать следствия этой удивительной исповеди.

— Так это и есть твоя Весть? — сказала она наконец.

— Ты должна была узнать, — сказал он. — Ты должна служить и помогать мне.

(Помогать ему! Как она сможет помочь ему или себе? Как далеко это зашло? Что ей делать?)

— Ты кому-нибудь еще рассказывал про это, папочка? — спросила она резко. — Ты рассказал кому-нибудь еще?

Он повернул к ней маленькое, глубоко серьезное лицо.

— А! Тут, — сказал он, — мы должны быть сугубо сдержанными и осторожными — очень-очень осторожными. Здесь и сейчас — не время и не место объявлять, что Саргон, Царь Царей, возвратился в цивилизацию, для создания которой сделал так много. Надо быть осторожными, Кристина-Альберта. Дух оппозиции силен. Например, кое-что о своем первом видении (если хочешь, называй его сном) я рассказал мистеру Хоклби. Я описал сходство между ним и Прюмом. Он отнюдь не обрадовался. У него коварная бунтовщическая натура. А кроме того, потом я вспомнил, что случилось (по совету Уиджьи) с Прюмом. И еще я с тех пор понял, что, убедившись сам, ты вовсе не обязательно убедишь других людей. Да, правда, мисс Хоклби и обе мисс Солбе просили меня рассказать поподробнее о моих снах — они тоже называют это снами. Но в их тоне было больше любопытства, чем почтительности, и я был с ними крайне, крайне сдержан.

— Вот это — мой мудрый папочка, — сказала Кристина-Альберта. — Ты должен думать о своем достоинстве.

— Да, конечно, я должен думать о своем достоинстве. И тем не менее... — Его руки вскинулись в новом широком жесте. — Я здесь, и это мой мир. Мой мир! Он был взлелеян мной в его младенчестве. Я научил его закону и подчинению. Вот я — самый древний из монархов. Рамсес и Навуходоносор, Греция и Рим, царства и империи, го, что было вчера, пока я спал. И совершенно очевидно, что я именно спал. И столь же очевидно, что меня не могли вернуть в мир, не поручив мне какую-то миссию. Теперь это огромный и перенаселенный мир, Кристина-Альберта, и он находится в большом хаосе. Даже газеты пишут про это. Люди теперь несчастливы. Они не счастливы, как были под моей властью в Шумере тысячи лет тому назад. В солнечном свете и изобилии Шумера.

— Но что ты можешь сделать, папочка?

— Милая царевна, дитя мое, это я и должен обдумать. Никакой спешки, никакой опрометчивости.

— Конечно, — сказала Кристина-Альберта.

Наступила пауза.

— Есть только один человек, который как будто верит мне. Младшая мисс Солбе... Ты что-то сказала, дорогая?

— Нет. Продолжай.

— Я спросил, не видит ли и она сны, нет ли и у нее смутных воспоминаний о прошлой жизни. Как будто какие-то неясные подтверждения у нее есть. Крайне смутные намеки. Она робко рассказывает о них, когда рядом нет сестры. Но она впала в заблуждение, полагая, будто ее отношения со мной были истинно близкими и особыми. Моей царицей она не была. Тут она ошибается, Пожалуй, естественно, что она так полагает, но я-то помню совершенно ясно, как это было. Она занимала место среди Двадцати старших наложниц, носящих веера из орлиных перьев.

— И ты ей это сказал?

— Пока нет, — ответил мистер Примби. — Тут требуется такт.

Новая пауза. Кристина-Альберта взглянула на свои часики.

— Ох ты! — воскликнула она. — Мы опоздаем ко второму завтраку!

Пока они шли назад в пансион «Петунья», она заметила, что в его осанке и манере держаться произошла какая-то тонкая перемена. Он словно бы стал выше, шире в плечах, его лицо дышало большей безмятежностью, и он держал голову выше. И ни разу не кха-кхакнул. Казалось, он не сомневался, что все и вся расступятся перед ним, а дорожка казалась ковром, которой расстилали перед ним. Будь у нее возможность увидеть себя со стороны, она бы заметила такую же перемену и в себе. Танцевальная легкость исчезла из ее походки. Она шла, словно горбясь под бременем ответственности, налагаемой жизнью, и груз этот в любую минуту мог оказаться непосильным.

Они опоздали, и все общество уже сидело за столиками, приступая к трапезе. Все обернулись и посмотрели на лицо мистера Примби, а затем переглянулись между собой.

— А, так вы вернулись к нам, — сказала миссис Хоклби, глядя в глаза Кристине-Альберте.

— Вернуться так приятно, — сказала Кристина-Альберта.

### Глава VI

### Кристина-Альберта советуется с мудрецом

###### 1

Кристина-Альберта и Пол Лэмбоун были большими друзьями более года. Она ему нравилась, он восхищался ею и в соответствии с избранной им областью литературы изучал ее. Что до нее, он ей нравился, она доверяла ему и старалась при нем выставлять себя в наиболее выгодном свете.

Пол Лэмбоун писал романы, рассказы, книги добрых советов, и был особенно знаменит проникновенной мудростью своих романов и превосходностью советов. Именно проникновенная мудрость вывела его из обычной писательской нищеты и обеспечила ему относительную состоятельность. Не то, чтобы он особенно мудро вел свои дела, но мудрость его обладала свойствами, благодаря которым расходилась нарасхват. Некоторые писатели преуспевают по причине какой-либо особой страсти, другие — по причине своей взыскательной правдивости, третьи — благодаря своей изобретательности, а четвертые — просто потому, что пишут хорошо, а вот Пол Лэмбоун преуспевал из-за своей доброты и мудрости. Читая его рассказы, вы неизменно чувствовали, что он искренне сочувствует несчастиям и проступкам своих персонажей и старается по мере сил помочь им. А когда они спотыкались или грешили, он частенько сообщал вам, как должны были бы они поступить, чтобы выбрать лучший путь. Его книги советов, а особенно «Книга житейской мудрости» и «Как поступить в сто и одном случае» расходились в большом числе экземпляров и постоянно.

Но подобно тому Иакову, королю Англии, которому посвятили Библию, Пол Лэмбоун был куда мудрее в своих мыслях и рекомендациях, чем в поступках. В житейских делах и большую часть времени его действия бывали глупыми, или эгоистичными, или нерешительными, или же глупыми, эгоистичными и нерешительными одновременно. Его мудрость не опускалась ниже глаз: так что лицо, туловище, руки и ноги служили самым злосчастным устремлениям, которые сдерживались не властью над собой, а глубокой ленью. И состоятельным он оставался главным образом потому, что был ленив: он требовал высочайшие возможные гонорары за все, что писал, потому что это было не труднее, чем потребовать наиболее низкие, и всегда оставался шанс, что сделка сорвется и он избавится от необходимости держать корректуру. Деньги у него накапливались, так как он был слишком пассивен, чтобы что-то покупать или обзаводиться стеснительной собственностью, а потому предоставлял банку вкладывать их. Его литературная репутация была высока, потому что литературная репутация в Англии и Америке почти полностью зависит от видимого нежелания выдавать продукцию. Жесткая красота его стиля опиралась на упрямое нежелание написать два слова там, где можно было обойтись одним. И утопая в комфорте и досуге, которыми был обязан своей лени, он посиживал, беседовал, добродушно сыпал перлами мудрости и толстел куда больше, чем следовало. Он пытался есть меньше, предпочитая это зло физическим упражнениям, но в присутствии питья и еды его лень сникала и изменяла ему. Он редко проводил вечер дома и был падок на всяческие новинки, потому что они спасали его от скуки, этой злобной и коварной родительницы столькой необязательной деятельности. У него был дорогой коттеджик под Раем в Кенте, куда он мог отправиться без всяких хлопот на автомобиле, когда Лондон ему приедался, а чуть ему приедался коттеджик, он мог вернуться в Лондон. И он часто гостил у разных людей, потому что отказываться от приглашений было слишком хлопотно.

Следует признать, что для мудрости Пола Лэмбоуна существовали пределы. Часто бывает труднее разглядеть то, что рядом с нами, чем то, что далеко: столько дородных субъектов взыскательным взглядом обозревают небеса, а пальцев на своих ногах не видят, игнорируя при этом скрывающую их помеху. И что-то в подсознании Пола Лэмбоуна отказывалось признавать ущербную природу многих его личных поступков. Он знал, что ленив, но отказывался признать, что лень эта лежала в основе его характера и была истинным пороком. Он верил в существование Пола Лэмбоуна с огромным запасом энергии. Ему нравилось считать себя человеком стремительных и точных решений, способным на демонический взрыв энергии, явись только повод. Много часов он проводил в креслах, на садовых скамьях и на трибунах скачек, обдумывая план своих действий в различных условиях, диктуемых войной, бизнесом, преступными покушениями или внутренними беспорядками. Любимыми его героями в жизни были Наполеон, Юлий Цезарь, лорд Китченер, лорд Нортклифф, мистер Форд и прочие такие же героические муравьи.

Кристина-Альберта нравилась ему своей кипучестью. Она всегда что-то затевала, предпочитала стоять, а не сидеть, и, разговаривая с вами, раскачивала ногой. Он идеализировал ее кипучесть; он приписывал ей куда больше кипучести, чем она обладала в действительности. Он втайне не сомневалась, что ее кровь должна быть подобно птичьей на градус-другой горячее нормальной. Он чувствовал, что в воображении она обладает большим сходством с ним. Он называл ее Последним Криком, Авангардом, Новейшим Воплощением Современной Девушки и Жизненной Силой. Он открыто жалел того мужчину, который без всякой помощи в одиночку должен будет по законам нашего общества жениться на ней, шагать с ней в ногу и пытаться ее обуздывать.

Раза два она пила с ним чай. Она улавливала его восхищение и подозревала теплую нежность, а восхищением и теплой нежностью она упивалась. Ей нравились его книги, и она видела его почти таким, каким видел себя он. И рассказывала ему про себя всякие вещи, лишь бы его бровь поползла вверх.

А он был мудр с ней с ее головы до ее ног, вокруг нее, по ее поводу — колоссально мудр.

###### 2

Было крайне интересно, что Кристина-Альберта позвонила ему и спросила, нельзя ли ей прийти попить чаю и попросить совета.

— Так приходите сейчас, — сказал он. — Я к чаю никого не жду.

А положив трубку, он сказал:

— Но что затеяла эта девушка? И чего она хочет от меня?

Он вернулся в гостиную, растянулся на своем очень недурном персидском ковре и уставился на хорошенький серебряный чайник, который был подвешен над спиртовкой.

— Нет, это не деньги, — решил он. — Она не из тех, кто клянчит деньги.

— Ушибла обо что-то коленку.

— Нынешние девушки слишком уж самостоятельны — даже чересчур... Надеюсь ничего серьезного. Она ведь еще ребенок.

Затем появилась Кристина-Альберта. Как всегда с поднятой головой, хотя виду нее был немного пришибленный.

— Дядя, — сказала она (такими вот представлялись ей их отношения), — у меня беда. Вы должны дать мне много советов.

— Снимите эту разбойничью накидку, — сказал он, — садитесь вот тут и заварите мне чаю. Уголком глаза я следил за вашим романом и не удивлен.

Кристина-Альберта замерла с накидкой в руке и уставилась на него.

— Это чушь, — сказала она. — С этим пустяком я справлюсь сама. Каков уж он ни есть. За меня в этом отношении можете не тревожиться. Не придумывайте лишнего. Это... это что-то совсем другое.

Она бросила накидку на спинку стула и подошла к подносу с чайными принадлежностями.

— Вы знаете моего папочку, — сказал она, уперев руки в боки.

— Никогда в жизни не видел столь непохожего родителя.

— Ну-у... — Она прикинула, как лучше изложить ситуацию. — Он странно себя ведет. Настолько, что люди могут подумать — люди, которые его не знают, — будто он теряет рассудок.

Мистер Лэмбоун поразмыслил.

— А это был такой рассудок, что есть что потерять?

— Ах, не шутите. Его рассудка хватало вполне, чтобы избегать неприятностей, а теперь произошло нечто, и все изменилось. Люди решат — а кое-кто уже и решил, — что он сумасшедший. Его могут запереть. А кроме меня, у него никого нет. Это очень серьезно, дядя. И я не знаю, как мне поступить. Я слишком мало знаю, чтобы это знать. Я боюсь. У меня нет друзей, с кем я могла бы поговорить об этом. Возможно, вы думаете, что у меня есть подруги, так у меня их нет. С женщинами постарше я не лажу. Они хотят мной командовать. Или мне так кажется. И я раздражаю их. Они знают, они чувствуют... высокопорядочные из них... что я... а!.. что я не уважаю их моральные нормы. А прочие меня просто ненавидят. Потому что я молода. Знакомые девушки... не подходят для того, что мне нужно сейчас.

— Но ведь, кажется, есть мужчина, — сказал Лэмбоун, — который вам кое-чем обязан.

— Полагаю, вы знаете, кто это?

— Видно невооруженным глазом, — сказал он откровенно.

— Если вы его знаете... — Она оставила фразу неоконченной.

— Этого молодого человека — лишь очень шапочно, — сказал он.

— Я пойду к Тедди, — сказала Кристина-Альберта прямо. — То есть я ходила к нему, прежде чем позвонила вам. Он меня практически не слушал. Ему неинтересно. — Она вздрогнула, и внезапно ей на глаза навернулись слезы. — Он меня поцеловал, попытался возбудить. И практически не слушал того, что я ему говорила... Полагаю, от любовника другого ждать нечего.

— Так вот до чего дошло. — Пол Лэмбоун на секунду умолк, вдруг расстроившись, а потом сказал с опозданием: — Не от всякого любовника.

— Но от моего — да.

— И вы ушли!

— Ха! А как вы думаете?

— Хм, — сказал Лэмбоун. — Вы-таки ушибли коленки, Кристина-Альберта. Сильнее, чем я полагал.

— А, провались Тедди к черту! — сказала Кристина-Альберта, чуть перегибая палку и громким тоном помогая себе. — Какое это теперь имеет значение? Хватит с меня Тедди. Я была дурой. Ну, да ладно. Важен мой папочка. Что мне делать с моим папочкой?

— Ну, сперва вы должны мне рассказать все подробно, — сказал Лэмбоун. — Ведь пока я, знаете ли, так толком и не разобрал, что случилось. Но прежде сядьте-ка в это уютное кресло, а я заварю чай. Нет-нет, не вы. У вас нервы перенапряжены, и вы что-нибудь да опрокинете. Вы получили свою первую дозу взрослых проблем. Садитесь, садитесь и минуту молчите. Я рад, что вы пришли ко мне. Очень рад... Мне понравился этот ваш папочка. Такой человечек с невинными глазами. Синими глазами. И он говорил... какую чепуху он болтал? О погибшей Атлантиде. Но это была такая милая чепуха... Нет, не перебивайте. Разрешите мне припомнить мое впечатление от него, пока вы будете пить чай.

###### 3

Когда чай был заварен и Кристина-Альберта выпила чашку и как будто стала спокойнее, Лэмбоун, ощущая, что отлично все устроил, разрешил ей начать.

— У него мутится рассудок, но вы знаете, что он его на самом деле не лишается, — сказал он. — Не так ли?

— Именно так, — сказала Кристина-Альберта. — Видите ли... — Она умолкла.

Лэмбоун опустился во второе кресло и принялся лениво прихлебывать чай.

— Довольно трудно, — сказал он.

— Видите ли, — сказала Кристина-Альберта, хмурясь на огонь, — у него особенное воображение. И он всегда был таким. Всегда. Он всегда жил в полусне. Мы очень много времени проводили вместе чуть ли не со дня, когда я родилась, и я с самого раннего детства помню его рассказы, довольно бессвязные рассказы о погибшей Атлантиде, и о тайнах пирамид, и йогах, и тибетских ламах. И об астрологии. Все такое чудесное, невозможное, далекое. Да что там! Он и меня чуть было не втянул в свои грезы. Я была принцессой далекой Атлантиды, заблудившейся в нашем мире. Я играла в это, и порой игра почти переходила в веру. Я, бывало, принцессила по целым дням. Ну, как грезят наяву дети.

— Вот и я тоже, — сказал Лэмбоун. — Много дней подряд я был великим индейским вождем, которого снова и снова приговаривали к смерти — переодетого приготовишкой. Нелогичность гроша ломанного не стоила. Некоторое время все рассказывают себе такие сказки.

— Но он продолжал заниматься этим всю жизнь. А теперь, как никогда прежде. Он окончательно забыл, что это грезы. А в Танбридж-Уэллсе его еще и разыграли. Понятия не имея, как это могло на него подействовать. Оказывается, по вечерам, пока я была в Лондоне, они забавлялись спиритизмом, верчением столов, ну и так далее, и какой-то тип не придумал ничего лучше, как разыграть транс. И сказал папочке, что он — Саргон Первый, Саргон, Царь Царей, как он его назвал, который правил Аккадом и Шумером, ну, вы знаете, в незапамятные времена, когда Вавилона еще и в помине не было. Ну, этот тип не мог бы и специально сочинить ничего хуже и вреднее для папочки. Видите ли, он был полностью готов для чего-нибудь подобного. Уехав из Вудфорд-Уэллса, где прожил половину жизни по накатанной колее, он еще сильнее обычного утратил связь с реальностью. Он уже был вырван с корнями из привычной обстановки до того, как эта идея им завладела. А теперь он полностью в ее власти. Она устраивает его как нельзя лучше. Она... зафиксировалась. Прежде всегда было можно вернуть его к реальности — заговорить о моей матери, о прачечных фургонах, о чем-то привычном в этом роде. А теперь у меня ничего не получилось. Ничего. Он Саргон инкогнито, явившийся вновь, как Владыка Мира, и верит в это так же твердо, как я верю, что я его дочь, Кристина-Альберта Примби, и сейчас разговариваю с вами. Это уже не сны наяву. Он обрел доказательства и уверовал.

— И что он намерен теперь делать?

— Да всякое. Он хочет объявить себя Владыкой Мира, говорит, что все обстоит очень скверно, и намерен исправить положение вещей.

— Все действительно обстоит очень скверно, — сказал Лэмбоун. — Люди понятия не имеют, насколько скверно. Тем не менее... мне кажется, что заблуждаться на свой счет это еще не безумие. Он хочет что-то предпринять?

— Боюсь, что да.

— И скоро?

— Это-то меня и тревожит. Видите ли, — продолжала она, — я боюсь, что большинство людей будет смотреть на него, как на помешанного. Он сейчас в Лонсдейлском подворье. Нам пришлось вчера вернуться из Танбридж-Уэллса. С места в карьер — просьба съехать. Это-то меня и напугало. Дня два все шло хорошо. Практически нас выгнали из пансиона. Там живет жутко неприятный человек, некий мистер Хоклби, и, видимо, он проникся враждебностью к папочке. Вы же знаете, как люди проникаются ничем не оправданными антипатиями?

— Весьма неприятная сторона человеческой натуры. Я это хорошо знаю. Люди даже проникались антипатией ко мне!.. Но продолжайте.

— Странности папочки пришлись против шерсти ему и его дочке. Они напугали мисс Рустер, хозяек пансиона, двух сестер. Они заявили, что он может начать буйствовать в любую минуту, и, если он останется, съедут они. Шептались на лестнице, говорили, что надо послать за полицией и выдворить его. Что я могла сделать? Нам пришлось уехать. Видите ли, папочка убежден, что когда он был Саргоном, мистер Хоклби тоже был жив, и его посадили на кол за изменнические происки; и вместо того чтобы забыть о прошлом, он что-то сказал об этом мистеру Хоклби, а тот расценил это как угрозу. Все так сложно, вы понимаете.

— Но он не попытался снова посадить его на кол?

— Да нет же! Сам он ничего такого не делает. Бушует только его воображение, а не он сам.

— И теперь он снова в Лондоне?

— Ему представляется, что он как бы поставлен над королем, и он намерен отправиться в Букингемский дворец и сообщить об этом королю. Он говорит, что король — на редкость хороший человек, и чуть услышит о положении дел, как признает папу своим сюзереном и уступит ему трон. Естественно, если он попробует что-либо в таком роде, его упрячут в сумасшедший дом. И он написал письма премьер-министру, и лорду-канцлеру, и президенту Соединенных Штатов, и Ленину, и так далее, приказывая им явиться к нему и получить его распоряжения. Но я убедила его не отсылать их, пока у него нет царской печати.

— Что-то вроде посланий Магомета земным владыкам, — сказал Лэмбоун.

— Еще он подумывает о знамени или о чем-либо в том же роде, но все это крайне смутно. Просто к нему привязалась фраза: «Я подниму мое знамя». Мне кажется, это пока пустяки, но вот план с Букингемским дворцом... он может привести к чему-то.

— Как интересно! — Лэмбоун прошелся по комнате, а потом присел на ручку кресла, глубоко засунув руки в карманы. — Скажите, вид у него ненормальный?

— Нисколько.

— Одет неряшливо?

— Тщательно, как всегда.

— Я помню, какой у него был аккуратный вид, когда мы познакомились. А он... хоть сколько-нибудь бессвязен? Или все это обстоятельно?

— Абсолютно. Он совершенно логичен и последователен. Мне кажется, говорит он лучше и яснее, чем обычно.

— Только одна простая иллюзия? Он не считает, что очень физически силен, или красив, или еще что-нибудь в том же роде?

— Нет. Он вовсе не помешан. Просто подчинился власти одной великой и нереальной идеи.

— Не начал сорить деньгами? Ничего такого?

— Ничуть. Он всегда был... бережлив во всем, что касается денег.

— И теперь тоже?

— Да.

— Ну, будем надеяться, что так будет и дальше. Не вижу, почему человек безумен, если верит, что он царь или император — раз ему кто-то так сказал. В конце-то концов, у Георга Пятого есть не больше оснований воображать себя королем. Единственная разница, что ему об этом сказало большее число людей. Фантазировать, будто ты король, не значит быть сумасшедшим, и вести себя в соответствии с этой мыслью — тоже не сумасшествие. Когда-нибудь оно может придти, но не сейчас.

— Но я боюсь, люди поверят, что это именно оно... Видите ли, только в последние дни мне стало ясно, как я люблю моего отца и как ужасно будет для меня, если его у меня отнимут. Я боюсь сумасшедших домов. Насильственное ограничение свободы тех, кто меньше других способен понять смысл ограничений. А уж ему и недели хватит, чтобы сойти с ума — по-настоящему сойти с ума, если он окажется там. Этот мистер Хоклби напугал меня, он меня напугал. Таким он был беспощадным. Он чернил папочку с такой ядовитой злобой. Отвратительный человек.

— Да, я знаю, — сказал Лэмбоун. — Ненависть.

— Да, — сказала она. — Ненависть.

Кристина-Альберта вскочила на ноги и завладела каминным ковриком. Ее коротко подстриженные волосы, короткая юбка, мужская поза и серьезное лицо образовывали очень нелепый и очень привлекательный сплав свежей юности и зрелой ответственности.

— Понимаете, я не знаю, что с ним могут сделать — могут ли его забрать у меня. Никогда прежде я не боялась того, что может произойти, а теперь боюсь. Я не знаю, как со всем этим справиться. Я думала — жизнь веселая штука, и люди глупы, раз боятся что-то делать. Но теперь я увидела, что жизнь *опасна*. Я никогда особенно не боялась того, что могло произойти со мной. Но это совсем другое. Он живет в радужных мечтах, а над ним нависает абсолютная беда. Только подумайте! Его хватают! Возможно, бьют! Сумасшедший дом!

— О том, какие тут действуют законы, я практические ничего не знаю, — задумчиво произнес Лэмбоун. — Но не думаю, что они могут что-то с ним сделать без вашего согласия. Но в отношении сумасшедших домов я совершенно согласен. По самому своему назначению они должны быть жуткими местами, призрачно тоскливыми. Служители в большинстве... очерствели. Даже если начинали альтруистами. Каждый день подобного... никто не выдержит... Я не знаю, как становятся сумасшедшими, я хочу сказать: как людей признают сумасшедшими по закону и кто имеет на это право. Кто-то... мне кажется, два врача должны признать его невменяемым, или еще что-то. Но в любом случае я не думаю, что ваш отец — сумасшедший.

— И я не думаю. Но этого мало, чтобы его спасти.

— Ну, так что-нибудь другое. Он, как вы сказали, человек с воображением, со сверхвоображением, которым овладела фантастическая идея. Возможно, тут поможет психоанализ?

— Не исключено. Психоаналитик, который вернет его разговорами к тому, каким он был прежде.

— Да, если бы, например, Уилфрид Дивайзис мог с ним поговорить.

— Я почти ничего о них не знаю. Конечно, я читала Фрейда... и немножко Юнга.

— Я как-то познакомился с Дивайзисом. Мы беседовали на званом завтраке. И мне понравилась его жена. И если бы вам удалось поселить вашего отца в каком-нибудь деревенском коттедже. Да, кстати... у вас есть деньги?

— Чековая книжка у него, но он выплачивает мне содержание. До сих пор никаких денежных неприятностей не было. Он нормально подписывает чеки.

— Но вскоре это, возможно, изменится.

— О! Конечно, в любой момент он может начать вместо подписи рисовать свастику или ставить царский знак, и тогда все рухнет. И я не знаю, к кому мне тогда обратиться.

— Да, — сказал Лэмбоун.

И несколько секунд (Кристине-Альберте это время показалось очень долгим) он молчал. Сидел, примостившись на ручке кресла, и смотрел в огонь. Она выговорилась и теперь ждала, что скажет он. Его мудрость внушала ему, что в этом деле необходимо принять меры незамедлительно; его натура подталкивала его остаться в уютной комнате и изрекать советы. Тем временем Кристина-Альберта оглядывала комнату, начиная понимать, как удобно умеет устраиваться мудрец. Комнаты, столь хорошо обставленной, ей еще не приходилось видеть. Те еще стулья, в шкафу тома, переплетенные в кожу, а на шкафу стоит восхитительная китайская лошадь, чайный прибор из серебра, чайная посуда из тончайшего фарфора; большой письменный стол с серебряными подсвечниками; выходящие на Хаф-Мун-стрит окна затеняют шторы из превосходной ниспадающей мягкими складками материи, которая ласкает взгляд. Ее глаза снова обратились на его крупное толстое лицо, брюзгливый рот и прекрасные задумчивые глаза.

— Что-то сделать необходимо. И безотлагательно, — сказал он со вздохом. — Нельзя сидеть сложа руки. Он может сделать что-нибудь неразумное и попасть в беду.

— Этого я и боюсь.

— Вот именно. Вы его оставили... в надежном месте?

— Он там не один.

— И в случае необходимости ему помешают?

— Да.

— Это хорошо.

— Но что мне делать?

— Что делать вам? — повторил он и умолк на несколько секунд.

— Ну так как же? — сказала она.

— Вопрос, собственно, в том, что делать нам. Мне следует повидать его. Несомненно. Да, мне следует повидать его.

— Ну так повидайте его. Прямо сейчас.

Он кивнул, словно совершая над собой невероятное усилие.

— Почему бы и нет? — сказал он.

— Так как же?

— А затем... затем мы могли бы обговорить визит к Уилфриду Дивайзису. Договориться в принципе. И последующие наши действия будут продиктованы тем, что скажет Уилфред Дивайзис. Чем раньше он увидится с Дизайзисом, тем лучше. Вопрос в том, не лучше ли будет вам или нам обоим поговорить с Дивайзисом предварительно. Нет. Сначала ваш отец. Затем, когда картина станет мне ясной, как сказал бы адвокат, Дивайзис.

На него снизошло безмятежное спокойствие.

Она не сумела удержаться от нетерпеливого восклицания.

Он вскинул голову, словно пробуждаясь от глубочайших размышлений.

— Я сейчас же отправляюсь, — сказал он. — Лонсдейлское подворье, поговорю с вашим отцом, а тогда постараюсь связаться с Дивайзисом и устроить встречу между ними. Да, вот, что мне следует сделать. Я иду с вами — немедленно.

— Ладно, — сказала Кристина-Альберта. — Так идем же.

Она набросила на плечи накидку, нахлобучила шляпу (все за десяток секунд) и повернулась к нему.

— Я готова, — сказала она.

— Вот только надену пиджак, — сказал Лэмбоун и заставил ее прождать полных десять минут.

###### 4

Такси доставило их ко входу в подворье.

— Полагаю, то, что мы войдем вдвоем, значения не имеет? — сказал Лэмбоун. — Он не подумает, что мы о чем-то сговорились?

— Он не страдает подозрительностью.

Но в студии их ожидал небольшой сюрприз, дверь им открыла Фей Крам, и глаза у нее были светлее обычного, а шея казалась длиннее и лицо рассеяннее.

— Я так рада, что ты наконец вернулась, — сказала она глухим расстроенным голосом. — Видишь ли... он ушел.

— Ушел!

— Исчез. Еще в три часа. Ушел один.

— Но, Фей, ты же обещала!

— Знаю. Я видела, что он был как на иголках, и все время ему повторяла, что ты скоро вернешься. Удерживать его было нелегко. Он расхаживал взад-вперед и говорил, говорил. «Я должен выйти к моему народу, — сказал он. — Я чувствую, мои люди нуждаются во мне. Я должен заняться тем, для чего предназначен». Я не знала, что делать. И спрятала его шляпу. Мне в голову не пришло, что он уйдет без шляпы — с его-то понятиями о приличии. Я просто поднялась наверх за чем-то, не помню за чем, но этого там не было, и я искала — от силы минут пять, а он тем временем и ускользнул. Дверь оставил открытой, так что я ничего не услышала. Чуть я сообразила, что он ушел, то выбежала из подворья на Лонсдейл-стрит, и стояла там, смотрела... Он исчез. Ну, я надеялась, что он с минуты на минуту вернется. Раньше тебя. Но! Он так и не пришел.

Было совершенно ясно, что она не верит в его возвращение.

— Я бы все сделала... — начала она.

Кристина-Альберта и Пол Лэмбоун переглянулись.

— Это все меняет, — сказала Кристина-Альберта. — Что будем делать?

###### 5

Лэмбоун последовал за Кристиной-Альбертой в студию и тотчас опустился на простенький диван, который на ночь превращался в кровать мистера Примби. Диван заскрипел и покорился. Лэмбоун уставился в пол, размышляя.

— Этот вечер у меня не занят, — сказал он. — Ничем.

— Сидеть здесь и ждать его бессмысленно, — сказала Кристина-Альберта.

— Я всеми фибрами чувствую, что пройдут часы и часы, прежде чем он хотя бы подумает о возвращении.

— А тем временем может натворить что угодно! — сказала Кристина-Альберта.

— Выкинуть любую штуку, — сказал Лэмбоун.

— Да, любую, — сказала Кристина-Альберта.

— Три, — сказал Лэмбоун и взглянул на свои часы. — Теперь почти пять. Вам не известно какое-либо место, Кристина-Альберта, где мы в первую очередь могли бы его поискать? Где, собственно, нам следует его искать?

— Но вы отправитесь его искать?

— Я к вашим услугам.

— В уговоре этого не было.

— Но я хочу! Конечно, если вы не будете идти слишком быстро. Я чувствую, что мне следует это сделать.

Кристина-Альберта встала перед ним, уперев руки в боки.

— Держу пари, пять против одного, — сказала она медленно, — что он пошел в Букингемский дворец и потребовал аудиенции... Нет, не так. Он предложит дать аудиенцию королю, своему вассалу. Он все утро только об этом и говорил. А тогда... наверное, его посадят под замок и проверят, не душевно ли он больной.

— Хм, — сказал Лэмбоун и смирился перед неизбежным. — Так пошли к Букингемскому дворцу. Немедленно, — сказал он и побрел в сторону двери. — Возьмем такси.

Они поймали такси на Кингз-роуд. Кристина-Альберта не принадлежала к классу разъезжающих на такси, и на нее произвела впечатление мысль, что все-все тысячи разъезжающих по улицам такси готовы выполнять распоряжения Лэмбоуна. Согласно этому распоряжению, такси высадило их у подножья памятника королевы Виктории, который жестикулирует перед Букингемским дворцом, и они встали рядом, оглядывая дворец.

— У него вполне обычный вид, — сказал Лэмбоун.

— Но вы же не думали, что он его покорежит? — сказала Кристина-Альберта.

— Если он что-то устроил, его убрали бесследно. Этот флаг, по-моему, означает, что его величество сейчас дома... так что нам делать, хотел бы я знать.

Он растерялся. Эмоциональная атмосфера этой широкой площади слишком уж отличалась от эмоциональной атмосферы его квартиры или Лонсдейлского подворья. В квартире и в подворье от него требовалось действовать, а здесь от него требовалось не бросаться в глаза. Он инстинктивно всегда соблюдал корректность. Мимо проехал автомобиль — красивый, большой, сверкающий «непьер», и ему почудилось, что пассажиры поглядели на него, словно узнав. Он ведь был теперь известен множеству людей, и его вполне могли узнать. У себя в квартире, в студии Лонгсдейлского подворья он мог без опаски общаться с Кристиной-Альбертой, но теперь в этом заметном месте, в чрезвычайно заметном месте, он вдруг осознал, что он и она не совсем гармонируют — он, закончено светский человек, корпулентный, величественный, зрелый мужчина, светский до кончиков ногтей, и она, такая юная на вид, в чересчур короткой юбочке и в шляпе, точно шляпка черного гриба, нахлобученной на короткие волосы. Люди могли счесть их странной парой. Люди могли спросить себя, что свело их вместе и какие он имеет на нее виды.

— Полагаю, мы должны спросить кого-нибудь.

— Кого?

— О... одного из часовых.

— Но можно ли обращаться к часовым у ворот? Откровенно говоря, я побаиваюсь этих молодцов в меховых киверах. Я даже предпочту конных гвардейцев в Уайтхолле. Он, наверное, просто поглядит поверх наших голов и ничего не скажет. А мы будет извиваться перед ним. Нет, я этого не вынесу.

— Но что нам делать?

— Только не спешить.

— Но мы же должны кого-нибудь спросить.

— Вон там левее Виктории как будто обычный вход. И два полицейских. Полицейских я не боюсь. Нет. И конечно, тот человек на углу — переодетый полицейский агент.

— Так давайте спросим его!

Лэмбоун продолжал стоять.

— А если он сюда не приходил?

— Я знаю, он намеревался придти.

— Полагаю, если он не приходил, нам следует подождать где-нибудь тут на случай, если он все-таки придет. — В то же мгновение он испытал жгучее желание сбежать. — Тут должны быть скамейки.

— Идемте, — продолжал он, вновь вдруг обретая мужественную решимость, — спросим полицейских у тех ворот.

###### 6

Полицейский у ворот, к которому они обратились, внимательно их выслушал, но ответил не сразу. Он принадлежал к тому большинству англичан, которые сочиняют вариации на частицу «да». Его вариация была растянутой и мурлыкающей.

— Да-а-ар-р, — сказал он, в конце концов разразившись речью. — Да-а-ар-р. Был тут маленький джентльмен без шляпы на голове. Да-а-ар-р. Глаза синие. И усы? Да-а-ар-р, помнится, вроде бы и усы. Внушительные такие. Ну, он сказал, что хочет поговорить с королем Георгом по довольно срочному делу. У них всегда дела довольно срочные. Нет чтобы «очень срочные». Мы отвечаем как положено, что ему надо написать просьбу, чтоб его приняли. «Может, — говорит, — вы не знаете, кто я?» Это они все говорят. «Наверное, важная особа, — говорю. — Уж не сам ли Всемогущий?» — говорю. Но тот-то уже побывал тут на прошлой неделе и не пожелал уйти, так что его на такси увезли. Знаете, сэр, вот приходил сюда один, не то в прошлый четверг, не то в пятницу, уж не помню: длинная седая борода и волосы длиннющие, по спине рассыпаны. Ну, прямо вы-вылитый он. Ну, вашего джентльмена это вроде бы охладило. Имя он себе под нос промямлил.

— Не Саргон? — спросила Кристина-Альберта.

— Может, и так. «Исключений, — говорю, — не делают. Даже будь вы кровным родственником. А решать не нам. Мы ж просто машины». Ну, он постоял немножко, будто его оглоушило. А потом сказал, тихим таким, серьезным голосом: «Все это надо изменить. Первейшая обязанность каждого монарха давать аудиенции всем и каждый день». Я говорю: «Конечно, может, оно и так, сэр. Только мы, полицейские то есть, тут ни при чем, а уж изменить и подавно не можем». Он, значит, пошел себе, а я мигнул агенту на углу, и он проследил, как он шел вдоль фасада, а потом перешел площадь к памятнику и постоял, посмотрел на окна. А потом пожал плечами и ушел. Больше я его не видел.

Лэмбоун задал бессмысленный вопрос.

— Может, в сторону Пиккадилли, — сказал полицейский, — может, к Трафальгарской площади. Дело в том, сэр, что я внимания не обратил.

Было ясно, что беседа приблизилась к завершению.

###### 7

— Вот так, — сказал Лэмбоун. — Пока неплохо. Он все еще на свободе.

И поблагодарил полицейского.

— А теперь, — сказал он с видом человека, предлагающего решение крайне сложной задачи, — нам остается только отыскать его.

— Да, но где?

— В этом суть проблемы.

Он направился назад к памятнику и встал рядом с Кристиной-Альбертой под сенью этого идеального символа Британской империи, статуи королевы Виктории. Оба повернулись к Мэллу, глядя на маячащую вдали арку Адмиралтейства. Оба хранили молчание. Октябрьский день был теплым и тихим, за деревьями справа еле проглядывали купола Уайтхолла, две башни Вестминстера и бурые громады домов, обретших красоту в предвечернем свете. Над деревьями вздымались две колонны — герцога Йоркского и Нельсона — и здания слева. Как раз наступило затишье в уличном движении перед часом обеда и начала театральных спектаклей, и лишь несколько такси да один-два автомобиля подчеркивали ширину улицы, предназначенной для королевских процессий. Несколько окон Адмиралтейства уже горели оранжевым огнем в лучах заходящего солнца.

— Полагаю, — сказал Лэмбоун, — он пошел туда.

Кристина-Альберта стояла, уперев руки в боки и чуть расставив ноги.

— Наверное, так.

Широкая улица уходила по прямой к далекой арке Адмиралтейства. А за этим узким просветом лежали Трафальгарская площадь, и Чаринг-Кросс, и лабиринт магистралей и улиц, расходящихся веером, все шире и шире, все дальше и дальше в голубоватые сумерки.

— Что он будет делать теперь?

— Только Богу известно. А я банкрот. Ни единой идеи.

Опять они помолчали.

— Он ушел, — сказала она, — просто взял и ушел. — И эта простая гнетущая мысль вытеснила все остальные.

Но мысли Пола Лэмбоуна были более сложными и прихотливыми. Он уловил, что оказался втянутым в серьезное приключение и призван поднапрячь силы. Его нежданно отозвали от чая и горячих лепешек вести поиски по всему Лондону слегка помешавшегося и почти незнакомого субъекта. Он хотел их вести, и вести надлежащим образом, и так, чтобы это произвело впечатление на Кристину-Альберту. И его интеллект подсказал ему, что лучше всего последовать по возможному следу это субъекта и настичь его прежде, чем он чего-нибудь натворит. Или, когда он уже начал что-то творить, чтобы вмешаться и увести его. И все это время более низменная деятельная сторона его натуры настаивала, чтобы он предоставил погоню Кристине-Альберте, а сам вернулся елико возможно прямым путем к своему глубокому креслу, чтобы погрузиться в него и все продумать. А потом отправиться обедать в лучший из своих клубов. И таким образом тихо и ловко выпутаться из этой неожиданной и неприятной передряги.

Тут он посмотрел на Кристину-Альберту и понял, что ничего этого сделать не может. Не может ее бросить. Он посмотрел на ее профиль, профиль серьезной маленькой девочки, и в нем заговорило почти материнское чувство. Она с тревожной растерянностью смотрела на голубой безграничный город, который поглотил ее папочку. Все вокруг еще купалось в золотых теплых отблесках заката, но по восточному краю небосвода уже сгущались сизые сумерки. Там и сям светящиеся желтые пятнышки указывали, что Лондон начинает освещать себя сам. Идти по этому пути одна она не может. Нелепым, абсурдным образом они оказались связаны. Желание выпутаться было рождено эгоистичной осторожностью, которая стремительно изгоняла из его жизни всякое счастье, подсовывая взамен безопасность и всяческий комфорт. И вот призыв к этому, погрузившемуся в спячку Полу Лэмбоуну восстать и действовать. Ну, пусть даже она простая чудаковатая девчонка, которую его воображение превратило в родственную душу и героиню, разве это причина, почему он не должен помочь ей в обрушившейся на нее беде?

Он принял решение.

— Назад он еще долго не вернется, — размышлял он вслух. — В такой вечер? Нет.

— Да, — согласилась она. — Но не вижу, какое это имеет отношение к тому, что мне следует делать теперь.

— Мы может остаться вместе и пойти к Трафальгарской площади. Можем поискать на набережной. Когда устанем, то пообедаем где-нибудь. Полагаю, более или менее сносно можно пообедать почти везде. А поесть нам будет надо... Быть может, это уж не такое безнадежное предприятие, как показалось вначале. Сложное, но небезнадежное. Возможности того, что он может сделать ограничены. Я хочу сказать — ограничены его же устремлениями. Не думаю, что он выберет непримечательные улицы. Его потребность... в эффектном. Гораздо более вероятно, что он будет держаться площадей и вблизи примечательных зданий. А это исключает множество улиц. И в восточном направлении он не пойдет. Еще через час Сити начнет гасить огни, запираться, расходиться по домам. И он повернет на запад.

— И у вас найдется время?

— Сегодня вечер у меня совершенно свободный. Я собирался сделать его «выходным». А эти поиски меня привлекают. Интересно выяснить, насколько верно мы можем угадать, а то и установить, как он поступит. Своеобразная тренировка для ума... Вы знаете, по-моему, мы его найдем.

Несколько секунд она стояла совершенно неподвижно.

— Вы жутко добры, что пошли со мной.

— Я пошел с одним условием: что вы не будете идти слишком быстро. Мы никогда практически вместе никуда не ходили, Кристина-Альберта, но я достаточно вас знаю и не сомневаюсь, что ходите вы чертовски быстро.

###### 8

Кто не знает кафе «Нептун» вблизи Пиккадилли-Серкус и разнообразную публику, которая там собирается. Там вы созерцаете художников и мазилок, которые недотягивают до художников, поэтов и всего лишь писателей, натурщиц и наркоманов; студентов, изучающих искусства и медицину не лучше, чем им положено; издателей и адвокатов подшофе, большевиков и белоэмигрантов; заезжих американцев, которые заходят посмеяться и попадаются на удочку; парочку-другую студентов с Дальнего Востока, и евреев, и евреев, и евреев... и евреек. И вот туда-то примерно в половине десятого в этот вечер вошел дородный, массивный, устало величественный мужчина в сопровождении привлекательной девушки в короткой юбке, с подстриженными волосами, которая высоко и строго держала крупный, красивой формы нос. И они прошли, лавируя между столиками, в облаках табачного дыма в поисках удобного места. Из шумного смутного тумана воздвигся молодой человек с копной рыжих волос, выставил взыбленное лицо и спросил театральным шепотом:

— *Вы его нашли* ?

— Ни единого следа, — сказал Пол Лэмбоун.

Из сигаретного дыма над столиком проглянуло лицо Фей Крам.

— И мы. Мы тоже искали.

— И здесь, и где угодно еще, разницы нет, — сказал дородный. — Где вы искали?

— Тут, — сказал Гарольд, — и около. Места встреч.

— А мы рыскали повсюду, — сказал Лэмбоун. — Мы прошагали мили... бесконечные мили. И Кристина-Альберта отказывалась подкрепить силы — мои, а не только свои собственные. Наконец я сказал: либо я сяду и поем, либо упаду и умру. Можно, мы займем эти стулья? Этот вам, Кристина-Альберта. Официант! Случай полного истощения. Нет, не мюнхенское и не пльзенское. Мне необходимо шампанское. Боллинжер четырнадцатого года сойдет, но заморозьте его, даже перезаморозьте, а к нему бутерброды — и побольше — с лососиной. Да, дюжину. А-ах!

Он уронил руки на столик.

— Когда я выпью глоток-другой, я буду разговаривать, — просипел он и умолк.

— А когда вы ушли из студии? — спросила Кристина-Альберта у Фей.

— В половине девятого... Он не пришел.

— А вы далеко побывали? — Гарольд спросил у Лэмбоуна.

— Далеко?!! — сказал Лэмбоун и на некоторое время онемел. Затем заговорил голосом, который словно терялся в огромных пространствах. — Спрашивали у полицейских про маленького человека без шляпы. Вдоль и поперек Лондона. Вперед и вперед — от одного полицейского к другому. Она такая решительная девица. Да смилуется Бог над мужчиной, который завоюет ее любовь! Ни единая живая душа его не видела. Но я еще не в силах говорить...

Гарольд нежно почесал подбородок длинными артистичными пальцами.

— Не исключено, — сказа он медленно, — что он зашел куда-нибудь и купил себе шляпу.

— Ну, конечно, он должен был приобрести шляпу, — сказала Фей.

— Ни ей, ни мне не пришло в голову, что он мог поступить так разумно.

— И мы не догадались заходить в шляпные магазины, — сказала Кристина-Альберта.

— Счастье, что нет, — сказал Лэмбоун, обернувшись, чтобы приветствовать бутерброды. — Это было бы последней соломинкой.

— Долгое время мы шли по следу другого мужчины без шляпы, — сказала Кристина-Альберта. — Нагнали его на Эссекс-роуд, после того как пропетляли за ним по всей Пентонвиль-роуд. Но он оказался просто вегетарианцем в сандалиях и с бородой. И еще нам сказали про мужчину без шляпы возле «Британии», но снова пустышка. Оказалось, он просто вышел из дома купить жареной рыбы с тележки на Камден-Таун-Хай-стрит.

— Поразительно, как мгновенно собирается толпа, — сказал Лэмбоун, пережевывая бутерброд. — И как она навязывает свою помощь. Нас буквально погнали вверх по лестнице за этим любителем жареной рыбы, который показался мне крайне драчливым и склонным к подозрительности типом. Толпа настаивала, что нам нужен именно он, а ему как будто совершенно не нужным было быть нужным. Не снизойди на меня озарение, могло бы случиться что-нибудь крайне скверное. Но я сказал просто: «Нет, это не тот джентльмен, а другой с той же фамилией».

— Но что он сказал?

— «Поберегись-ка», — сказал он. — Но как бы то ни было, толпу это ублаготворило, и мы легко убрались оттуда в автобусе, который довез нас до станции на Портленд-роуд.

Прибыло шампанское в ведерке со льдом.

— Почти не остыло, сэр, — сказал официант, трогая бутылку.

— Сейчас не время для разборчивости, — сказал Лэмбоун, беря третий бутерброд. — Вы ничего не едите, Кристина-Альберта. Но я настаиваю, чтобы вы выпили по крайней мере один бокал.

Кристина-Альберта отпила глоток и машинально надкусила бутерброд.

— Интересно, увидим ли мы его еще когда-нибудь, — сказал Гарольд. — Лондон такой обширный. Такой обширный! Впрочем, я всегда испытываю это чувство, когда кто-то куда-то отправляется. Для того, чтобы куда-то отправиться, необходимо невероятное мужество. Лондон наверняка набит заблудившимися прохожими. Я отчаянно боялся Лондона, пока не обнаружил метро. Меня преследовало ощущение, что боковые улочки засосут меня неведомо куда. И я вечно буду сворачивать за угол на одну улицу длиннее другой. Мне даже снилась последняя из этих улиц — *бесконечная*. А теперь я чуть занервничаю — и сразу спрашиваю, как пройти к ближайшей станции метро. И все тип-топ.

— Все-таки он мог уже вернуться в студию, — сказала Фей.

Пол Лэмбоун с редкой скоростью добрался до своего четвертого бутерброда и третьего бокала шампанского, после чего продолжал насыщаться уже не так торопливо.

— Я разочарован, — сказал он, — что не подумал, что он может купить шляпу. Это подрывает все мои умозаключения. Видите ли, я сосредоточился на происходящем внутри его головы и совершенно забыл об изменениях, которые она может претерпеть снаружи. А ведь человек с его аккуратностью и уважением к приличиям — приобретенным за долгие годы размеренной и упорядоченной жизни — купил бы себе шляпу практически машинально... И, значит, мы могли пройти совсем рядом и не заметить его.

— Я бы его узнала, — сказала Кристина-Альберта.

— Но до тех пор, пока этот пентонвильский субъект не увлек нас по ложному следу, я был убежден, что мы его нагоняем. Видите ли, Кристина-Альберта настояла, чтобы я наводил справки у каждого полицейского, которого мы увидим, — даже у задерганных, раздраженных, резких вплоть до грубости полицейских, которые дирижируют уличным движением, — но маршрут выбрал я, построил маршрут на моих выводах. Видите, ли, мой дорогой Ватсон, — он чуть улыбнулся с утомленным самоодобрением в сторону Крама, — главное в подобном случае — это поставить себя на место вашего человека, думать его мыслями, а не собственными. Вот, что я пытался — насколько позволяла одышка — внушить Кристине-Альберте. Все ведь достаточно просто. Перед вами человек, убежденный — так красиво, так завидно убежденный, — что он властелин мира, пока еще неведомый, неузнанный, но накануне полного своего признания. Пойдет ли такой человек по улице, точно обычный прохожий? Нет и нет! Он будет взволнован, радостно возбужден, устремлен ввысь. Отлично. Он пойдет вверх по холму, а не вниз. Он будет выбирать широкие, а не узкие улицы и идти ближе к середине.

— Его не сбил автомобиль! — горячо воскликнула Кристина-Альберта.

— Нет-нет. Уличного движения он будет избегать. Ведь тогда ему пришлось бы суетиться в ущерб своему достоинству. Его должны привлекать открытые пространства. Высокие здания, яркие огни, любые людские скопления будут мощно его притягивать. Следовательно, он наверняка от арки Адмиралтейства пересек по диагонали Трафальгарскую площадь в направлении манящей величавости «Колизея»... Вам ясен мой метод?

Но он не стал дожидаться, чтобы Крам ответил.

— И чем больше я думаю о нашем пропавшем друге, тем больше восхищения и зависти он мне внушает. Какие мы ползучие твари! Вполне удовлетворяемся положением подданных, ячеек, единиц, пешек, капель воды и песчинок в запутаннейшем, бессмысленном нагромождении человеческих дел. Он воспаряет надо всем этим. И парит над всем этим сейчас. Одним великолепным жестом он отвергает свою заурядность и неполноценность. Мир — его! Какое в этом величие! Где бы он сейчас ни был, какая бы судьба его ни постигла, он счастливец. А мы сидим здесь, мы сидим здесь и пьем... я заказываю еще бутылку, Гарольд, и требую, чтобы вы с миссис Крам отодвинули это теплое, липкое пиво, и присоединились ко мне... Официант! Да, еще одну, пожалуйста... так мы сидим здесь среди этого теснящегося дымящего сборища (вы только поглядите на них!), а он строит планы спасения мира, которому мы дали дегенерировать, и возносит свою царственную волю к Богу. Божественнейшая экзальтация! Предположим, мы все могли бы ощутить...

— Я думаю, — перебила Кристина-Альберта, — нам следует обзвонить больницы. Я как-то не подумала, что он мог попасть под автомобиль. Он всегда был на перекрестках чуть неосторожен.

Пол Лэмбоун поднял ладонь с некоторым осуждением, стараясь найти какой-нибудь предлог посидеть здесь еще.

— Попозже, — сказал он после легкой паузы, — тогда больничные служащие будут посвободнее. Сейчас у них час пик — с десяти до одиннадцати. Да, Час Пик...

###### 9

В лабиринте столиков и стульев появился Тедди Уинтертон. Его глаза были устремлены на Кристину-Альберту.

— Привет! — сказал Лэмбоун не очень сердечным тоном, посмотрел на Кристину-Альберту и вновь перевел взгляд на новоприбывшего.

Тедди покусился на свободный стул, на который какая-то дама бросила котиковое манто, завладел им, рассыпаясь в извинениях перед владелицей манто, и втиснулся с ним между Гарольдом и Фей, которая отсекла его от Кристины-Альберты.

— Сжальтесь над одиноким человеком, — сказал он весело, стараясь перехватить взгляд Кристины-Альберты.

— Получаете один бокал шампанского, — сказал Лэмбоун с несколько насильственным радушием в голосе.

— Как делишки, Кристина-Альберта? — сказал Тедди, вынуждая ее обратить на него внимания.

Кристина-Альберта повернулась к Фей.

— Ты не пойдешь со мной сейчас? — сказал она ей. — В подворье? Я должна начать обзванивать больницы, не то будет поздно.

Фей посмотрела на нее с любопытством.

«Это серьезно», — сказали глаза Кристины-Альберты. Фей встала и начала вдевать руки в рукава пальто. Тедди вскочил, чтобы помочь ей. Кристина-Альберта накидку не снимала и была готова уйти.

— Послушай, Кристина-Альберта, — сказал Тедди. — Мне надо с тобой поговорить.

— Пошли, Фей, — сказала Кристина-Альберта, слегка подтолкнув подругу и делая вид, что не расслышала его слов.

Тедди вышел вслед за ними на тротуар Пиккадилли.

— Одно словечко, — сказал он.

Фей сделала движение, чтобы отойти в сторону, но Кристина-Альберта ей не позволила.

— Я обойдусь и без одного, — сказала она.

— Но я мог бы тебе помочь.

— Да, мог бы. А теперь поздно. Я больше вообще не хочу тебя видеть.

— Ну дай человеку шанс!

— Шанс у тебя был, и ты думал им злоупотребить, — сказала Кристина-Альберта.

— Ты могла бы хоть декорум соблюсти, — сказала Тедди.

— К черту декорум! — сказала Кристина-Альберта. — Идем же, Фей!

Она вцепилась в локоть подруги.

Тедди постоял в нерешительности, а потом вернулся в кафе к Краму и Лэмбоуну.

Некоторое время подруги шли молча.

— Что-то не так? — рискнула Фей.

— Все не так, — сказала Кристина-Альберта. — Есть ли хоть малейший шанс, что мы найдем папочку в студии?

Они дошли до Челси, больше не нарушая молчания. Никогда еще Фей не видела Кристину-Альберту усталой.

Когда Фей открыла дверь, Кристина-Альберта ворвалась внутрь, опередив ее.

— Папочка! — крикнула она в темноту коридора. — Папочка!

Фей зажгла свет.

— Нет, — сказала Кристина-Альберта. — Конечно, его здесь нет. Он ушел навсегда. Фей! Ну, что мне делать?

Бледно-голубые глаза Фей округлились. Кристина-Альберта, храбрая, современная, была в слезах.

— Звонить в больницы, — сказал Фей, изо всех сил стараясь говорить с бодрой энергией.

## Книга II

## Мир отвергает Саргона, Царя Царей

### Глава I

### Инкогнито

###### 1

Мистер Примби исчез из мира Кристины-Альберты. На время он должен также почти исчезнуть со страниц этого повествования. Мистер Примби испаряется. Взяв его внешнее подобие, мы должны теперь повести рассказ о другой, куда более важной персоне — о Саргоне Первом, Великолепном, Царе Царей, Наследнике Всея Земли.

Как, без сомнения, чудесно, как удивительно открыть, что ты вовсе не маленький вдовец владелицы прачечной, бесцельно коротающий жизнь, но Владыка Всего Мира, однако для добросовестного человека, стремящегося поступать как должно, открытие это чревато грызущей тревогой и гнетущим волнением. И вначале только естественно, что такая знаменательная, ослепительная идея несколько оглушит и смутит. Эта мысль также несла с собой освобождение и возвеличивание. Для целей, пока неясных, он был заключен, будто лев в клетке, в этой стесненной и неинтересной жизни Примби. Его воображение бунтовало против финальности такого существования; некий глубинный инстинкт подсказывал ему, что эта его жизнь — лишь иллюзия; в мгновения грез и порой в миг между сном и пробуждением вдруг проглядывали свет и цель за пределами видимой реальности. И вот внезапно будто распахнулись врата, будто откинули занавес, этот свет хлынул на него ослепительным потоком. Нет, его жизнь не единственная, начинающаяся, кончающаяся и забытая, как пустая песенка! Его существование уподоблялось золотой нити, которая сверкала, исчезала и вновь появлялась в бесконечной ткани бытия и была воткана в нее с целью. В прошлом он был Поргом в городе Клеб, и он был Саргоном и Валтасаром. Многими другими был он, но память о них все еще спала под темными водами забвения. Но память о Саргоне сияла ярко. Это его саргоновское «я» вернулось, а не какое-то другое из прочих его «я».

По некой причине, пока остающейся тайной, Сила, управлявшая его жизнью, призвала его вновь стать Саргоном в нынешнем, огромном, раздираемом враждой мире. Саргон начал жизнь смиренно, брошенным младенцем, и поднялся к вершине, восстановив и расширив подвластную ему империю, самую могучую из всех, какие до этого знал древний мир. Некие способности (кха-кха) были явлены Саргоном, вот из-за них-то Сила и призвала его вновь.

Вереницы воспоминаний развертывались в его мозгу. С поразительной уверенностью он воссоздавал свою юность, те далекие дни в Шумере, где Сила вознесла его так высоко. Они были такими яркими и приятными, что уже оттесняли воспоминания о Шерингеме и Вудфорд-Уэллсе, превращая его существование как Примби в тающий мираж. Эти переживания никогда не были ему дороги, он никогда не перебирал их в уме с удовольствием. Но возвращенные ему воспоминания стоили того, чтобы вновь и вновь обращаться к ним. Картины первых лет его жизни, когда он был найденышем, таинственным найденышем при дворе своего предшественника. (Имя этого предшественника он все еще никак не мог вспомнить). Юный Саргон был светловолосым и синеглазым — редкость в смуглом Шумере, а нашли его плывущим по великой реке в камышовой колыбели, скрепленной битумом, и его взял к себе и усыновил правитель края. И еще мальчиком все дивились ему, его удивительной мудрости, способности совершать то, что не дано другим людям, всему тому, что указывало в нем на владыку над людьми. И не то чтобы он обладал большой смекалкой, или сноровкой, или особой физической силой. В этих второстепенных качествах многие вокруг превосходили его — смекалкой и въедливостью памяти, в частности, он уступал Прюму, сыну великого визиря — но он обладал истинной царственной мудростью, недоступной никому из них.

— Истинной царственной мудростью, — произнес мистер Примби-Саргон вслух и больно столкнулся с высоким смуглым джентльменом, поспешавшим от Сент-Джеймсского парка к Сент-Джеймсскому дворцу. — Извините! — воскликнул мистер Примби-Саргон.

— Моя вина, — сказал высокий смуглый джентльмен. — Опаздываю на встречу. — И поспешил дальше.

Странно! Где мистер Примби — или Саргон — уже видел это лицо? Нет ли... какой-нибудь связи с Шерингемом и сверкающим на солнце песком? Но тут все заслонил Шумер, и высокий смуглый джентльмен стал вождем племени, кочующего по пустыни. Кочующего среди песков.

Взволновавшаяся поверхность вновь стала зеркальной, отражая годы отрочества в Шумере. На чем мы остановились? Даже в те дни люди замечали в мальчике серьезность не по его годам. Он избегал детских игр. Не увлекался крикетом даже в Шерингеме. Скромно, но твердо отрок поднимал голос в зале совета, и все признавали мудрость его слов. Старцы, сидевшие вокруг, дивились. «Речет красно», — говорили они в своей древней шумерской манере. Красноречивей. И еще его называли Находящим Пути.

Саргону еще не исполнилось пятнадцати, а старый бездетный правитель, которому у границ грозили враги и заговоры внутри страны, уже выделил его. «Этот мальчик может спасти царство». Затем, едва ему сравнялось восемнадцать, ему поручили возглавить поход для замирения горцев на севере, поручили убедить их не вступать в союз с Северным Врагом. Он совершил больше, чем ему было велено. Он прошел через горы на лежащие за ними равнины и дал сражение Северному Врагу, и победил его, и сурово покарал. После этого все люди поняли, что ему быть новым Владыкой и Господином Шумера, преемником своего престарелого покровителя. И все искренне это одобряли, кроме Прюма, Хитреца (уже щеголявшего отрастающими баками). Да, и он одобрял, но с завистью в глазах. А затем наступили дни Венчания на Царство и Вступления во Власть над Гаремом. Чудные дни. А потом — рождение Наследной Царевны, его единственного ребенка, и великий поход в пустыни юга. И еще походы, и творение законов — мудрых законов и еще более мудрых, и толпы рукоплещущих благодарных людей, и счастливые деревни. Жизнь стала счастливой повсеместно. Прюм плел заговоры, поднял бунт и получил по заслугам согласно незатейливому обычаю тех времен. Это было прискорбной необходимостью, на которой нет нужды останавливаться. Расширялись границы, а с ними и великий мир — Россия и Турция в Европе, Персия, Индия, Древний Египет, Сомали и так далее, и так далее были покорены и сделаны счастливыми. Были открыты Америка, Австралия и остатки еще не совсем утонувшей Атлантиды. Потом о них забыли, но в первый раз их открыли именно тогда — и они платили дань. Была учреждена Лига Наций.

Весь мир говорил о благости Саргона и переживал золотые дни. Ибо Саргон правил согласно свету справедливости в сердце своем. Он умерил жертвоприношения в храмах и ввел в верования и богослужения своего рода протестантство. Люди слагали о нем хвалебные песни. Прохожие — мужчины и женщины — бросались целовать ему руку. И он не лишал своих подданных доступа к себе. Это доверие его и погубило. Блеснул, увы, нож убийцы, черного убийцы, безумца, чужеземца...

Поразительно! Он помнил, как подданные оплакивали его смерть.

Белая перчатка полицейского уперлась в грудь мистера Примби-Саргона и помешала ему шагнуть под автобус. Он ловко увернулся. Трафальгарская площадь, великое место встреч, слияние магистралей. Толпа здесь в теплом октябрьском свете превосходила даже шумерийские толпы. Тут он за ними и понаблюдает. Темные толпы, кишение озабоченных лиц. Его возвращение должно быть связано с ними. Была великая война, много опустошений, мир получил тяжелую рану и не мог оправиться. Бедные правители политики этого века не обладают мудростью, лишены инстинкта, который подсказал бы самый верный путь. Вновь нужен вождь и спаситель, обладатель подлинной мудрости.

И под носами нельсоновских львов прошел Саргон, и он миновал конную статую Георга IV, направляясь к господствующей над площадью балюстраде, и занял там позицию для наблюдений. Он посмотрел через Уайтхолл на величественную башню парламента, и Уайтхолл был полон золотистой дымкой, пронизанной блеском моторных экипажей. Поток автобусов, автомобилей и фургонов катился к площади, где сливался с потоками Нортумберленд-авеню и Стрэнда, а затем они вновь разделялись слева от него и справа — к Пэлл-Мэллу по ту сторону площади. Уличные фонари еще не зажглись, но в закругленных обрывах зданий слева несколько окон уже теплились светом. Внизу через площадь текла тонкая струйка пешеходов, точно вереницы муравьев, от одного пункта до другого, а приземистая станция метро непрерывно глотала пятнышки и кучки индивидов. У подножия Нельсоновской колонны происходил митинг, маленький людской полумесяц, в котором не чувствовалось ни малейшего энтузиазма. Люди с бело-красными плакатами, призывающими покончить с безработицей, раздавали белые листовки и встряхивали ящиками для сбора пожертвований. А прямо под ним несколько бедно одетых детей бегали, играли, дрались...

Всего лишь маленький кусочек одного из его городов. Ведь, понимаете, протекшие столетия и развитие его древней империи сделали его законным владыкой и правителем как этого города, так и всех городов мира.

И он вернулся исцелить недуги этого кишащего людьми мира и вновь восстановить в нем нерушимый мир древнего Шумера.

###### 2

Но как приступить к выполнению этой задачи?

В том-то и заключалась трудность. Нельзя допустить Полуявления. Он понимал, что взять все в свои руки надо быстро и решительно, но с балюстрады перед Национальной Галереей мир, который ему предстояло взять в свои руки, выглядел таким большим, разбросанным и разъединенным! Он может и не даться в руки. Если начать сейчас, если начать возглашаться отсюда, скорее всего никто на него и внимания не обратит. Он должен бдительно выжидать удобного случая и не допустить ни единой *ошибки*. Не подобает Владыке и Восстановителю Всея Земли делать ошибки.

Вот, например, Букингемский дворец чуть было не стал ошибкой. Все кончилось благополучно, но могло бы и иметь серьезные последствия. Народ еще не знает своего Господина, понятия о нем не имеет.

— Они могли бы, — сказал Саргон, впадая в примбийскую прозаичность, — забрать меня. И каким бы я тогда выглядел дураком!

Допускать подобные действия больше никак нельзя.

Да. Ему приличнее дожидаться руководства свыше.

Та Сила, которая вернула его в мир и открыла ему, кто он такой и какая на него возложена миссия, несомненно, вскоре пришлет ему просвещенного помощника, или даже не одного, который его узнает. Ибо, разумеется, он должен походить на монарха, которым был — узнал же он в Хоклби Прюма! Пока он взвешивал эту идею, его пальцы коснулись усов и начали задумчиво их крутить. Собственно говоря, они своего рода маска. А пока? А пока он должен увидеть, как можно больше, определить настроение народа, узнать его потребности, его несчастья. Он будет ходить между людьми неузнанным — как Гарун аль-Рашид, но ради более мудрой цели.

— Гарун аль-Рашид, — прошептал Саргон, посмотрел вверх на лорда Нельсона и дружески ему кивнул. — Гарун аль-Рашид. Жаль, что мои карманы не набиты золотыми монетами! Но это — на завтра. У того человека, как бишь его? — у Примби где-то был банковский счет.

Он пощупал в нагрудном кармане. Чековая книжка была на месте. Чеки подписываются «А.-Э. Примби», нелепо, но так. Этот А.-Э. Примби сыграл роль куколки. Но его сбережения никуда не делись.

###### 3

На Стрэнде его величество обратил внимание на свое отражение в стекле витрины. Волосы у него были слегка растрепаны, а он не любил, чтобы волосы у него были растрепаны. Он вошел в магазин головных уборов, который весьма удачно оказался рядом, и приобрел шляпу.

Расплачиваясь, он достал свой маленький бумажник — и почерпнул дополнительную уверенность. Потому что там лежало семь фунтовых бумажек. Он с удовлетворением пересчитал их. Расплатившись в Танбридж-Уэллсе, он взял кое-что с банковского счета. Не наградить ли щедро продавца? Но он воздержался.

Купил он не еще одну фетровую шляпу с черной лентой, а замечательную фетровую же шляпу с широкими полями, какую мог бы выбрать художник или литератор. Альберт-Эдвард Примби, подавленный, нерешительный, никогда бы ее не купил. Она больше отвечала духу Саргона. Однако не была до конца саргоничной, оставалась частью личины, но более явной личины. Поля нависали над глазами. И в стекле витрин, а порой и в зеркале можно было уловить тень тайны в этих задумчивых синих глазах.

Он направился на восток к Олдуичу и дальше по Кингзуэй, то поглядывая на магазины, то всматриваясь в лица прохожих.

Нынче он Неизвестный. Никто не задерживал на нем взгляда. Но скоро свершится признание, и тогда все эти равнодушные, толкающие друг друга люди будут дружно наэлектризованы при виде него, будут поворачиваться к нему в едином порыве. Они будут кланяться ему, перешептываться, дивиться. И он должен быть готов для них, готов с этих пор направлять их судьбы. Нельзя будет теряться, говорить «э», стоять, собираясь с мыслями и прочищать горло «кха-кха».

Какая страшная ответственность лежит на нем! Но он не дрогнет. С какими словами он обратиться к ним, когда наступит миг открыться им? «Во-первых, да будет вечный мир!» Лучше слов и вообразить невозможно. Он забормотал себе под нос: «Мир, а не война между нациями. Мир, а не война среди индивидов. Мир на улицах... в цехах... на заводах. МИР».

— Любовь и мир. Я, Саргон Великолепный, повелеваю, да будет так. Я, Саргон, вернувшийся через много сотен лет дать Мир Всему Миру.

Его внимание привлекла витрина книжного магазина, в которой на видном месте была выставлена «Карта Европы после Версальского договора. Два шиллинга, шесть пенсов». Он остановился, разглядывая ее. Надо будет снова все это изменить. Малая часть его задачи. Затем он обозрел всю витрину. За картой Европы висела настенная карта мира. Ему понадобится такая карта мира. Нельзя управлять миром без карты этого мира. Не то из твоей памяти выпадут значительные области. Но не лучше ли будет обзавестись глобусом? Нет, карту видишь всю сразу, и они более портативны. К тому же, глобусами этот магазин как будто не торговал, а он не знал, где покупают глобусы. Он вошел, купил карту мира и несколько минут спустя снова вышел ни Кингзуэй со свертком длиной в четыре фута под мышкой. Еще он нес красивую карту звездных полушарий, которая пленила его, пока он стоял у прилавка. Он чувствовал, что она может оказаться полезной в астрологических целях.

Он неопределенно подумал о цели своих блужданий. Куда он идет?

Ищет жилище, да ищет жилище, пригодное для отшельника. Он ускользнул от Наследной Царевны, которая тоже вернулась в современный мир — совершенно напрасно, подумалось ему, — ибо какое-то время ему необходимо побыть совершенно одному. Ему предстоит провести дни, а то и недели в душевных борениях, медитациях, очищении духа, прежде чем осуществится его Явление. Даже ей не дозволено ухаживать за ним в это время. Она предана ему, но связывает его. Очень сильно связывает. Не постигает до конца. Ее слова и вопросы часто обескураживают, а иногда страшно досаждают. Вполне вероятно, что в ее присутствии преображение не свершится. А к тому же в истории великих пророков и чудесных воскрешений, обязательно есть эта начальная фаза удаления в пустыню и общения со своей душой. Будда, Магомет — все они с этого начинали. Возможно, он будет поститься. Возможно, пост обязателен. Быть может, Кто-то снизойдет к нему с Небес.

Жаль, что он так мало знает о том, как положено поститься. Просто перестать есть? Или существуют какие-то церемонии и предосторожности? Но об этом позже. Сначала ему надо найти эту тихую обитель, тайное место для его последних приготовлений.

Вскоре он оказался в серых кварталах Блумсбери, и в каждом доме, мимо которого он проходил, в окне виднелась аристократическая карточка, предлагавшая «комнаты» или «постель и завтрак». Имелись также «Частные отели» и один безыскусный «Пансион». Что же, несомненно, так суждено. Простая комнатка среди его ничего не подозревающих подданных, простая, просто обставленная комнатка.

###### 4

Однако, хотя весь Блумсбери, если судить по темно-зеленым и серебряным карточкам в окнах нижнего этажа, предлагал кров и пищу бездомным и бесприютным, новый Владыка Мира убедился, что снять эту простую необходимую ему комнатку не так-то легко. Более часа он заходил в один серый дом за другим, стучал, стоял на пороге, входил в коридоры с полами, покрытыми с незапамятных времен линолеумом, требовал, чтобы ему показали предлагаемое помещение, осматривал его, осведомлялся о плате и (это становилось все очевиднее и очевиднее) вызывал подозрения. Люди пялились на его свернутую карту, на звездные полушария и, казалось, проникались к ним инстинктивной неприязнью. Он не ожидал таких прямолинейных требований всяческих сведений; от его неясной таинственности отмахивались, а объяснить яснее он затруднялся. Они хотели знать, чем он занимается, и когда намерен въехать. И никто как будто не был готов к тому, чтобы он тут же остался в своей комнате. Они полагали, что он отправится за своими вещами. Отсутствие этих вещей подрывало его уверенность в себе. Он все больше и больше убеждался, что эти люди ждут, чтобы он предъявил свои вещи, а если он этого не сделает, могут повести себя неразумно. Одной только готовности уплатить вперед для них было мало.

Он рассчитывал найти за этими дверями добрых и простых людей, которые примут его с распростертыми объятиями, будут с самого начала глядеть на него снизу вверх, почтительно размышлять о нем и его звездных полушариях, гадать об их назначении и мало-помалу прозревать, какой замечательный гость им ниспослан. Но люди, которых он видел там, не были простыми людьми. В большинстве они были мелочными, корыстными людьми. Они поднимались из полуподвалов, уже готовые отнестись к нему с въедливой скептичностью, — мужчины в подтяжках, почти все угрюмые и все небритые; молодые женщины, крайне умудренные и менее всего девственного вида; отталкивающие женщины постарше — голодно-тощие или нездорово толстые. У одной намечалось что-то вроде зоба. И в их манере держаться обязательно присутствовала оборонительность.

А комнаты, которые он осматривал, были даже еще менее простыми, чем люди. Все больше его охватывало ощущение огромных нравственных перемен, которые претерпел мир с тех пор, как он правил честными шумерийскими ирригаторами в белых одеяниях. Тогда в комнате можно было увидеть стол, пару сидений, полку с несколькими сосудами, статуэтку бога или другой такой же предмет религиозного культа, глиняную табличку, и, может быть, стило, если в ней жил образованный человек. Но эти комнаты были полны противоречий. Окна, чтобы пропускать свет — и черные занавески, чтобы его не впускать. Скрытая, вторая молодость Саргона, проведенная в прачечной, обострила его реакцию на грязь, а тюлевые занавески в этих комнатах чаше всего были грязными на редкость. В «комнатах» электрические лампочки почти не встречались, чаще всего они освещались спускавшимися с потолка газовыми горелками под матовыми стеклянными колпаками. Обязательно посередине довольно большой стол и два далеко не покойных кресла. И аляповатые комоды из блестящего дерева цвета сырой печени, и неудобные диваны, и мерзкие безделушки. Иногда комнаты, а особенно спальни, щеголяли мишурным блеском благодаря гравюрам, на которых дамы в натуральном виде пытались выдать себя за аллегорические фигуры, или же красовались бассейны в перенаселенных гаремах более богатых, нежели утонченных восточных деспотов. Немыслимые каминные полки были уставлены фарфоровыми безделушками, кувшинчиками, ангелочками с позолоченными крыльями, красными чертями или приветливыми дамами в купальных костюмах, слишком для них тесных. Среди украшений особенной популярностью пользовались тарелки, развешенные по стенам, точно крысы, прибитые к стенам амбаров.

Значительное число этих наемных домашних очагов выглядели как опустившиеся бродяги. Один запечатлелся в его памяти — выцветший, пыльный, серый и убогий до невообразимости. Как ни был он поглощен собой, он поразился, что кто-то мог жить и кто-то жил в таких дырах. Что это были за люди? Вся жизнь его прошла среди чистоты и уюта, и ему редко доводилось соприкасаться с тем истомленным и скудным слоем английской городской жизни, где все кое-как подштопывается, но не часто добротно чинится или чистится, а уж о том, чтобы что-то заменить, и речи быть не может. Даже воздух в этих комнатах казался безнадежно застарелым, а стекла на пожелтевших литографиях «Монарха лесов» и «Затравленного оленя» были засижены далекими предками современных мух.

— Хоть кто-нибудь здесь селится? — спросил Саргон у обомшелого вида дамы, и только тогда понял всю жестокость своего вопроса.

— Мой последний джентльмен прожил здесь пятнадцать лет, — ответила обомшелая дама. — Он был переписчиком. Скончался в больнице в июне. Водянка. Он всегда был доволен комнатой. Очень доволен. Ни разу я не слышала от него ни единой жалобы. Он был моим добрым другом.

Саргону нестерпимо захотелось глотнуть свежего воздуха.

— Сколько за эти комнаты? — спросил он. — Мне нужно обдумать. Обдумаю и сообщу вам.

Она назвала цену, обычную цену на этой улице, но, провожая его вниз по лестнице к входной двери, сказала:

— Если это слишком дорого... Если бы вы назвали свою цену, сэр...

Из ее припудренных сажей глаз выглянуло отчаяние.

— Я должен подумать, — сказал Саргон и вновь очутился на улице.

Ну почему люди становятся такими грязными, унылыми, сломленными? Уж конечно, в Шумере никогда не было таких разбитых жизней. Все это надо будет изменить, все это необходимо будет изменить, когда восстановится Царство.

###### 5

Затем, когда сумерки уже совсем сгустились, Саргон отыскал именно такую тихую комнату, которую хотел. Она обнадеживающе возвещала о себе не обычной печатной карточкой, но написанной от руки табличкой «Сдается комната» в окне без тюлевых занавесок, а с небольшими лиловыми, которые более обрамляли, чем скрывали на вид почти пустую белую комнату, приятно озаренную мерцающим огнем. На белой стене висели два-три картины — настоящие картины маслом. Саргон утомленно поднял дверной молоток и вдобавок нажал на кнопку электрического звонка.

Отклика не последовало, и он успел постучать еще раз, прежде чем дверь отворилась. В проеме возник худощавый молодой человек с девчушкой на плече. Она внимательно поглядела на Саргона очень темными серо-синими глазами.

— Все как будто куда-то подевались, — сказал худощавый молодой человек очень приятным голосом. — Чем могу служить?

— У вас сдается комната.

— Да, комната здесь сдается, — сказал худощавый молодой человек, а его благожелательные темные глаза подмечали все особенности фигуры перед ним.

— Не мог бы я ее посмотреть?

— Полагаю, он мог бы посмотреть ее, Сьюзен... — Молодой человек заколебался.

— Конечно, дженмену надо ее посмотреть, — сказала девчушка. — Будь миссис Ричмен тут, она бы ее ему сразу показала, дурачок. — И она дернула худощавого молодого человека за волосы — с любовью, но сильно.

— Видите ли, — объяснил молодой человек, — хозяйки нет дома. Перестань, Сьюзен! И благородной помощницы хозяйки тоже нет. Никого нет, и дом как бы неофициально оставили на нас. Собственно говоря, мне не следовало бы открывать дверь.

— Так я же тебе велела, глупенький! — сказала девчушка.

Молодой человек не шевельнулся, а только задал вопрос:

— Это у вас карта, сэр?

— Карта мира, — сказал Саргон.

— Наверное, очень полезная штука, сэр. И вы отыскали дорогу сюда. Ну-у... комната наверху, если вы не откажетесь подняться по лестнице. Держись крепче, Сьюзен, но смотри, не задуши меня. — И он повел Саргона к лестнице.

Обычная лестница, и коридор с линолеумом, и обои, имитирующие какие-то особенно желчного цвета панели из плохо отесанной древесины. Пока они поднимались, юная барышня подвергала свою жизнь серьезному риску, не желая ни на секунду упускать из вида Саргона и его карту и извернулась на триста шестьдесят градусов, так что на площадке ее носильщику пришлось остановиться и усадить ее как следует.

— Если ты еще хоть раз дернешь меня за волосы, — сказал худощавый молодой человек, — спущу тебе на пол и больше никогда, никогда, никогда не стану тебя носить на плече. Следующая дверь, сэр. Прошу вас.

Комната пленяла отсутствием лишней мебели. Небольшая простенькая кровать, стол у окна, газовый камин, а стены были оклеены коричневым обоями и украшены непритязательными, но радующими глаз цветными японскими литографиями. В нише сбоку от камина виднелись три пустые полки, выкрашенные в тот же темно-синий цвет, что и каминная полка. Молодой человек зажег электрическую лампочку под очень милым абажурам.

— Комнатка, конечно, без претензий, — сказал молодой человек.

— Мне она нравится, — сказал Саргон. — Не люблю излишеств.

— Прежде тут жил я, — сказал молодой человек, — но теперь я делю этаж со столовой с людьми внизу, а от нее отказался. Меня немножко мучит совесть.

— С людьми внизу... с какими людьми внизу? Никаких людей внизу нет. Это он про папу с мамой, — сказала юная барышня.

— Меня мучит совесть, что я убедил миссис Ричмен обставить ее вот так. Не на всякий вкус.

— Могу ли я спросить, — сказал Саргон, — сколько за нее надо платить?

— Тридцать шиллингов, если не ошибаюсь, — сказал молодой человек. — С завтраком.

Саргон положил карту и звездные полушария на стол. Он почувствовал, что должен во что бы то ни стало оставить эту комнату за собой или признать свое полное поражение.

— Я готов, — сказал он, — снять эту комнату. Я уплачу вперед. И поселюсь в ней сейчас же. Но должен предупредить вас, мое положение в мире особое. Я не имею рекомендаций, и у меня нет вещей.

— Кроме, естественно, этих карт, — сказал молодой человек. — И у вас нет, например... зубной щетки?

Саргон задумался.

— Нет. Мне надо купить зубную щетку.

— По-моему, выглядеть так будет лучше.

— Если нужно, — сказал Саргон, — я заплачу за две недели вперед. И куплю себе все необходимое.

Молодой человек посмотрел на него с большой благожелательностью.

— Будь комната моей, я бы сдал ее вам в один момент, — сказал он. — Но ее хозяйка — миссис Ричмен, а она во многих отношениях на меня не похожа. — Вы... прибыли издалека, сэр?

— В пространстве — нет, — сказал Саргон.

— Так, может быть, во времени?

— Во времени — да, но пока мне не хотелось бы ничего объяснять.

Молодому человеку стало еще интереснее и смешнее. Он поставил Сьюзен на пол.

— Можно, я посмотрю вашу карту? — спросил он.

— Пожалуйста, — сказал Саргон, развернул ее на столе и прижал палец к Лондону. — Мы здесь, — сказал он.

— Совершенно верно, — сказал молодой человек, помогая удерживать карту на столе, с которого она норовила соскользнуть.

— Это все еще наиболее удобный центр в мире, — сказал Саргон.

— Почти для любых целей, — сказал молодой человек.

— Для моих — да, — сказал Саргон.

— А эта со звездами, она должна вам очень помогать?

— Вот именно, — сказал Саргон.

— Полагаю, вы будете... работать в этой комнате? Совсем один? К вам не будут ходить люди?

— Никто. Пока я здесь, меня никто знать не будет. Может быть, потом. Но пока нас это не касается. Здесь я останусь инкогнито.

— Инкогнито, — повторил молодой человек, словно взвешивая это слово. — Конечно, разумеется. Кстати, сэр, могу ли я узнать, как вас зовут?.. Если ты меня опять брыкнешь, Сьюзен, я поступлю с тобой жестоко и ужасно... Нам необходимо это знать.

— Ну, пока, пожалуй, мистер... мистер Саргон.

— Ну, разумеется, — сказал молодой человек, — пока. Саргон... кажется, был такой ассирийский царь, или память меня подводит?

— В данном случае не ассирийский Саргон, а шумерийский. Его предшественник.

— Ни слова больше, сэр... Я понял. Несомненно, вы очень устали после вашего долгого путешествия, и мне бы хотелось, мне бы очень хотелось сдать вам комнату. Уюй! Сьюзен, отправляйся вниз. Щипков я не потерплю. Идем. Ты спустишься в свою собственную комнату, и без препирательств. Пошли!

Сьюзен попятилась к стене и приготовилась отразить атаку когтями и зубами.

— Я не хотела тебя шипать, Бобби, — сказала она. — Я нечаянно. Чеспречес! Я только пощупала твои бруки. Не отводи меня вниз, Бобби, пожалуйста. Не отводи! Я буду хорошей! Я буду ужасно хорошей. Я останусь тут смотреть на смешного дженмена. Если ты меня отведешь, Бобби...

— Это истинное исправление, Сьюзен? Обращение на путь истинный, раскаяние? Будешь ты jeune femme rangée[[6]](#footnote-6) и прочее, если я тебя прощу?

— Чем хочешь, Бобби, миленький, только зволь мне остаться.

— Что же. Тогда перестань существовать во всех практических смыслах, и я тебя прощу. Что подумает о тебе этот добрый джентльмен, Сьюзен? А тебе уже больше пяти! Ха! Так мы говорили, мистер Саргон?.. Да, конечно! Я сказал, что вам следует снять эту комнату. Плата вперед будет принята. Но! Остается зубная щетка. И другие мелкие... как бы выразиться?.. реалистические детали. Лично я не возражал бы, но я лишь посредник, так сказать. Собственно, я вроде бы писатель. Собственно, мне следовало бы сейчас писать роман, но, как вы видите, миссис Ричмен оставила на меня дом, а мои друзья внизу оставили на меня эту очаровательную юную барышню... Убери язык на место, Сьюзен. Немедленно! Неблаговоспитанное дитя! Вот такое положение. Но, как я упоминал, мистер Саргон, миссис Ричмен — начальница. У нее свои фантазии касательно жильцов. И оспаривать их бесполезно. Она захочет увидеть вещи. Потребует. Но трудность эта не непреодолима. Мы находимся — вы запомните? — в доме девять по Мидгард-стрит. Если вы выйдите отсюда и повернете налево, а у третьего перекрестка направо и пойдете прямо, то достигните магистрали, полной автобусов, и трамваев, и света, и шума, а на углу найдете лавочку, где торгуют подержанными чемоданами и баулами. Ну, если вы купите старый, потрепанный внушительный чемодан, а затем перейдете через дорогу и купите в аптеке те умывальные принадлежности, в которых нуждаетесь... А, да — и запасной воротничок или два у галантерейщика через дверь... Все это вам обязательно надо приобрести... Вам понятна идея?

Саргон встал перед незажженным газовым камином.

— Так это ведь будет зрительная ложь.

— Но рано или поздно вам понадобится чистый воротничок, — возразил молодой человек.

— Не отрицаю, — сказал Саргон.

— И тогда вы сможете поселиться здесь и рассказать мне про это ваше дело. Иначе ведь вы будете скитаться и скитаться.

— Ваш совет, в сущности, очень полезен, — сказал Саргон, уяснив положение вещей. — Я последую ему.

— А дорогу назад найдете? Не заблудитесь?

— С какой стати?

— Дом девять, Мидгард-стрит.

— Я запомню.

— В странном мире мы живем, — сказал молодой человек. — Верно? А как там поживали старички... в Шумере, когда вы с ними расстались?

— Мой народ был счастлив, — сказал Саргон.

— Вот именно. Я с тех пор там побывал. Совсем недавно. Но погода держалась скверная, меня контузило взрывом снаряда, и мне пришлось туговато как раненному военнопленному. Жара. Теснота. Даже навеса нет. Никаких прохладительных напитков. Но в ваши времена все было иным.

— Очень, — сказал Саргон.

— А теперь... О, черт! А чайник там выкипает и выкипает, Сьюзен. Спустимся в мою комнату, уж какая она ни есть, сэр, и выпейте чашечку чая. А потом пойдете сделаете, что собирались, и, так сказать, окопаетесь до возвращения миссис Ричмен. Да, кстати, это ваш газовый счетчик. Опускаете шиллинг в эту щелку и включаете газ.

— Вы весьма мне помогли, — сказал Саргон. — Когда придет мое время, это не будет забыто.

— Пустяки. Просто вы попались мне в руки, так сказать. Нет, Сьюзен. Вниз ты пойдешь ножками. Щипок прощен, но не забыт. Оставьте свою карту, сэр. И звезды тоже, как знак, что вы заняли комнату. Нет, Сьюзен, ножками!

###### 6

Комната молодого человека была очень книжной, и в ней царил некоторый беспорядок, а Сьюзен недавно занималась убийством игрушек на ковре — главными жертвами были кукла с фарфоровой головой и что-то деревянное, выкрашенное желтой краской. Кукла обильно истекла опилками. Темные занавески были задернуты, и электрическая лампочка под зеленым абажуром погружала комнату во мрак, не считая лишь пола. Газовый камин и газовая горелка, на которой кипящий чайник извергал клубы пара, как возбужденный вулкан; сосновый стол с грудой писем, адресованных «редактору „Уилкнис уикли“ для „тетушки Сюзанны»; а еще письменный стол, большой и тоже заваленный письмами, с которыми, очевидно, уже разделались, а между ними блокнот с тюбиком клея и полупочиненной игрушкой на нем. Клей просочился на верхнюю страницу блокнота со следующими строками, написанными красивым четким почерком.

###### *«Вверх-вниз»*

*Пешеходный роман Роберта Рутинга*

*Глава первая, представляющая героя*

Дальше этого роман как будто не продвинулся.

С ловкостью, рожденной долгим опытом, Бобби заварил чай и извлек на свет хлеб с изюмом и масло. Все это время он бдительно следил за Сьюзен, которая, усевшись у корзинки для бумаг, рвала брошенную туда бумагу в клочья, и одновременно слушал и наблюдал своего необычного гостя.

Саргону уже чрезвычайно понравился этот молодой человек. После долгого часа холодного приема, подозрительности и безобразности, было так успокоительно и ободряюще встретить такую симпатию и понимание. Попить чаю тоже было приятно и освежительно. В этой дружеской атмосфере серая тревожность, боязнь, что его могут остановить, рассеялись и исчезли. Съежившееся инкогнито вновь воспрянуло. Сокрытая в нем тайна вновь обрела великолепие и полноту. Этот молодой человек... он, казалось, был готов поверить чему угодно. Саргон прошелся по комнате, заложив руки за спину, словно в глубоком размышлении. Он бы пробормотал несколько фраз по-шумерски, но по какой-то причине совершенно забыл этот забытый язык.

— Значит, вы пишете книги? — произнес он царственно.

— Не книги, — ответил Бобби через плечо, продолжая поджаривать ломтик хлеба с изюмом. — Пока еще не книги. Но... нелепо, правда?.. Я немножко поэт и все такое прочее, и отчасти журналист. Просто отвечаю на письма читателей. Трудоемкое занятие, но кормит. — Он кивнул на груды писем на сосновом столе. — Ну, а книги... правду сказать, я начал роман. В самые последние дни — вон он на письменном столе. Но так трудно выбрать время, чтобы взяться за него как следует, без помех.

— Вдохновение, — сочувственно сказал Саргон.

— Ну, наверное, надо дать себе волю, особенно вначале. Но обязательно всплывает какое-то дело.

— Вот и со мной так же.

— Ну, конечно.

— Вот почему, — сказал Саргон, — я удаляюсь в это одиночество. Собрать свои ресурсы. В Шумере было принято перед великим предприятием удаляться в пустыню на некое число дней.

— Когда я отправляюсь в пустыню, то по вечерам вою от одиночества, — сказал Бобби. — Ш-ш-ш! Входная дверь!

Он вышел к лестнице и прислушался.

— Миссис Ричмен, — услышал Саргон его голос.

— Я это, — отозвался женский голос.

— Тут хотят комнату снять на втором этаже.

— А я в кино была. Мэри и Дуг, — сказал голос снаружи. — Ну, чудо!

Тяжело дыша, появилась дородная дама в черной шляпке. Она пропыхтела несколько неизбежных вопросов, и Бобби вился у плеча Саргона, чтобы он не допустил ошибки.

— Он заплатит вперед, — сказал Бобби.

— Ну и ладно, — сказала мисс Ричмен. — А когда он въедет?

— Сейчас и отправится за своим багажом, — сказал Бобби.

— Пожалуй, ладно, — сказала миссис Ричмен.

— Я знаю его близких. То есть слышал про них. Бывал в его краях. Можете быть уверены, с ним все ладно, — сказал Бобби.

— Ну, раз вы так говорите... — сказала миссис Ричмен. — Надеюсь, вам будет удобненько, мистер...

— Мистер Саргон.

— Мистер Саргон.

И после нескольких неопределенных упоминаний о погоде миссис Ричмен удалилась к себе.

— А теперь, — сказал Бобби, — я подброшу ей Сьюзен и пойду с вами за чемоданом. Просто удивительно, как люди иногда сбиваются в Лондоне с дороги.

###### 7

— Я сдал комнату на втором этаже помешанному, — сказал Бобби, сообщая эту новость своим друзьям на первом этаже — мистеру и миссис Малмсбери.

— Ах, Бобби! А Сьюзен? — с упреком воскликнула миссис Малмсбери.

— Так он совершенно безобидный, Тесси. И ему же надо где-то жить.

— Помешанный! — сказала миссис Малмсбери.

— Это я сказал для пущего эффекта, — сказал Бобби. — На самом деле он до жути в здравом рассудке. Я его не упустил бы ни за что на свете. Когда-нибудь, когда я начну всерьез работать над романом, я его туда вставлю. Мне необходим материал, Тесси. А он изумителен.

Он занимался приготовлением ужина для Малмсбери и для себя — поджаривал колбаски и картофель на газовой горелке. Перед этим Бобби практически в одиночку уложил Сьюзен спать и, как было заведено, сидел, рассказывая ей сказки, пока она не уснула. Тесси Малмсбери нездоровилось. Она мучилась от невралгической головной боли, и Билли Малмсбери повел ее погулять в Риджент-парке, и она вернулась домой совсем измученной. И если бы Бобби не взял все на себя, было бы сплошное расстройство.

Тесси теперь никогда не чувствовала себя хорошо. Была она тоненькой и хрупкой, а Сьюзен показала себя буйным и требовательным ребенком задолго то того, как родилась. В давно утраченные дни до войны, когда Бобби только познакомился с Тесси, она была самым светлым, самым изящным, самым совершенным созданием, какое только можно вообразить; он сравнивал ее с белым лепестком, кружащим в солнечном луче, и чуть было не написал о ней поэму: он любил ее самозабвенно. Но ему казалось немыслимым даже прикоснуться к такому воплощению хрупкости и изящества, и Билли Малмсбери, который был менее щепетильным, пролез вперед и женился на ней; она не оценила деликатности, воспрещавшей к ней прикасаться. А затем пришла война, и раны, и вот они снова были все вместе, потрепанные, на пороге четвертого десятка в мире, где их небольшие капиталы приносили дохода меньше, чем сулили прежде. Билли был младшим партнером архитектора и крайне обременен чертежными досками. Он был высоким крупнокостным молодым человеком с большим, симпатичным, чуть удивленным лицом, приятно обрызнутым веснушками. К Бобби он питал теплейшую покровительственную привязанность. Теперь он сидел и вычерчивал новый тип кладовой, экономящей усилия, и с чувством безграничного покровительства предоставил Бобби заняться ужином.

— Ну, теперь я могу рассказать вам, — сказал Бобби, когда наконец они все трое сели за стол.

— Он такой милашка помешанный, — сказал Бобби. — Если вообще помешанный.

— Надеюсь, что так, — сказала Тесси.

— Он внешне очень аккуратен и подтянут, и последователен — в психическом смысле последователен, и глаза у него ничуть не безумные. Ну, пожалуй, чуточку слишком ясные и открытые. Но при всем при том он считает, что мир принадлежит ему.

— Ну, и Сьюзен так считает, — сказал Билли.

— И Билли тоже, — сказала Тесси.

— Но не с таким потрясающим чувством ответственности. Видите ли, он считает себя месопотамским монархом по имени Саргон — я про него слышал, потому что у нас с турками была драчка в тех местах, где резвился он. И он думает, что он — этот Саргон, явившийся вновь, и каким-то образом (тут некоторая неясность) явившийся в качестве владыки общеземной империи. Знаете, именно данный Саргон положил в мире начало всем этим Британским Львам и Имперским Орлам. И вот он намерен вступить во владение нашей планетой, где царит такой жуткий бедлам...

— Что так, то так! — сказал Бобби.

— И навести порядок.

— Что может быть проще? — сказала Тесси.

— Вот именно. И как это мы все до этого не додумались? — сказал Билли.

— Но откуда он взялся? — спросила Тесси.

— Неведомо. Мог быть владельцем питомника саженцев в пригороде, или торговцем мануфактурой, или еще чем-то в том же роде. В общем, определить, кто он, у меня не получается. Парочка фраз навела на мысль, что он агент по продаже недвижимости. Но он мог почерпнуть их из рекламных объявлений. И начал он — причем вполне разумно — с того, что купил карту мира. Естественно, если ты думаешь править миром, тебе следует иметь под рукой его карту.

— А деньги у него есть?

— Как будто хватает. У него есть небольшой бумажник. Тут как будто все в порядке. После того как мы купили ему чемодан (у него с собой не было никаких вещей, и я подумал, что ему следует купить чемодан — чтобы удовлетворить миссис Ричмен) — мы расположились наверху и просто и прямо побеседовали о мире, и о том, что с ним надо сделать. Очень поучительно.

Бобби подложил себе еще картофелю.

— И что же с ним будет сделано?

— Дайте сообразить, — сказал Бобби. — Привлекательная такая программка. Довольно в духе лейбористской программы, только проще и исчерпывающе. Различие между богатыми и бедными полностью отменяется. Женщины освобождаются от неравенства. Войн больше не будет. Он всякий раз добирается до корней проблемы.

— Если это корни, — сказал Билли.

— Но ведь весь вопрос, как это сделать? — спросила Тесси. — Ведь мы же все с этим согласны — в теории.

— В теории, да, — сказал Бобби. — Но не в реальности. Если бы все действительно хотели уничтожить различия между богатыми и бедными, найти способ было бы легче легкого. Всегда есть способ, как сделать что-то, если у тебя, хватает желания. Но на самом деле никто этого делать не хочет. Во всяком случае, не так, как мы хотим есть. Люди хотят всякой всячины, но желать, чтобы больше не было бедных и богатых, — это не настоящее желание, а просто благочестивые пожелания. И то же и с войной. Мы не хотим быть бедными и не хотим испытывать страдания и тревоги из-за войны, но это совсем не то, что желать, чтобы с этим было покончено. А он хочет покончить с ними.

— Но как он думает за это взяться? — спросил Билли.

— Это все еще несколько неясно. По-моему, будет нечто вроде Проповеди. Он наверху сейчас как раз это продумывает. Кажется, он думает, что он должен призвать к себе учеников, последователей. Затем, по-моему, он намерен отправиться в Вестминстер и занять место спикера на мешке с шерстью или что-нибудь такое. Это же спикер сидит на мешке с шерстью? Или лорд-канцлер? В любом случае предстоят демонстрации — в огромном и полном достоинства масштабе. Люди забыли древние простые законы, говорит он. Но он теперь их припомнил, они всплыли в его памяти, и скоро их вспомнят все — великие древние истины: справедливость, вера, послушание, взаимная поддержка. Как было в Древнем Шумере. В Древнем Шумере, краю грез, знаете ли. Милый старый Золотой Век. Он явился напомнить людям о подлинном в жизни, о том, что все позабыли. А когда он напомнит, все вспомнят. И будут хорошими. Вот так, Тесси! Надеюсь, это подействует на Сьюзен, но я не так уж уверен. У меня такое чувство, что Сьюзен способна разделаться с любым Золотым Веком, который они затеют, минут за пять, но, может быть, я к ней немного пристрастен.

— Тем не менее по-своему это замечательно, — сказал Билли.

— Так и он по-своему замечателен. Сидит, смотрит на тебя, личико такое круглое и наивное, и рассказывает тебе все эти вещи. А если принять, что он Владыка Мира, так они вполне разумны и хороши. Сидит перед развернутой на столе картой мира. Я осмелился предположить, что ему понадобится большое число подчиненных ему правителей и начальников. «Они появятся, — говорит он. — С этих пор все посты будут занимать, все обязанности исполнять только подходящие люди. Слишком долго этим пренебрегали. Пусть каждый человек делает то, для чего он подходит лучше всего. Тогда все будет хорошо».

— Ну, и когда он начнет? — спросил Билли.

— Да в любой момент. Не думаю... — выражение Бобби стало взвешивающим. — Я не думаю, что он предпримет что-либо в ближайшие день-два. Я указал ему, что он должен обдумать свои демонстрации очень тщательно, прежде чем приступить к ним, и он был как будто склонен согласиться. Некоторые ошибки, говорит он, уже были допущены, но какие, мне узнать не удалось. Видимо, завтра он только намерен спокойно, но решительно обозреть Лондон с Монумента и с купола Святого Павла. Кроме того, он хочет понаблюдать своих подданных на улицах, вокзалах, и еще повсюду, где скапливаются люди. Пелена спала с его глаз, объясняет он, и теперь, когда он знает, что он — Владыка Мира, ему стало ясно, насколько тяжела и неудовлетворительна жизнь каждого человека. Его собственная жизнь была страшно неудовлетворительной и полной разочарований, пока он не пробудился и не осознал величия своей судьбы.

— Но какой была его жизнь? — спросила Тесси.

— Я попытался выяснить. Но, наверное, он уловил жадность в моем голосе и сразу замкнулся. Прилавок в мануфактурной лавке? Молочный фургон?

— Но, Бобби, — воскликнул Билли укоризненным тоном человека, который возражает против полной бессмыслицы, — он же взялся откуда-то!

— Верно, — сказал Бобби. — И это откуда-то, конечно, его ищет. Но не все и не всегда можно ускорить. А пока я считаю нашим святым долгом присматривать за ним, следить, чтобы он не стукнулся слишком сильно и не попал не в те руки... Пока кто-нибудь не явится за ним... Не вставай, Тесси, ты же устала.

И Бобби вскочил и начал менять тарелки и блюда, а Билли предался глубоким размышлениям о проблеме их нового соседа наверху.

Вскоре он улыбнулся и покачал головой с мягким неодобрением.

— Бобби это устраивает в самый раз, — сказал он Тесси. — Всякий раз, когда ему следовало бы сидеть у себя в комнате и писать этот его роман, он будет торчать наверху и болтать с этим... как его?.. с Саргоном.

— Накапливать материал, — поправил Бобби от буфета, где он перекладывал персиковый компот из банки в стеклянную вазу. — Накапливать материал... Даже паук не соткет паутину из пустого живота. Тесси, ты просто потеряла сливки или переставила так, чтобы я не сумел их найти? Ладно! Вот они.

###### 8

Будем откровенны: у Саргона были свои сомнения.

Не всегда. Бывали периоды, когда его фантазия бушевала и возносила его высоко над малейшей тенью сомнения. И он был всем, чем только мог пожелать быть. Тогда мистер Примби бывал почти забыт. Но выпадали моменты, наступали фазы, когда он улавливал скрытое ледяное убеждение, что он все-таки мистер Примби, мистер Примби, совсем недавно из прачечной «Хрустальный пар», притворяющийся перед собой пока успешно, но скоро, возможно, ему это перестанет удаваться. Холодный душ сомнений даже вынуждал его уговаривать себя, логично разубеждать. Он обсуждал с собой этот вопрос — откровенно, беспристрастно. Разумеется, никакого обмана в этом сеансе не было, не могло быть. «Говорил мне то, чего никто, кроме меня, не мог бы знать, — повторял он. — На этом я строю мою веру».

Он знал, что Кристина-Альберта на самом деле не уверовала. И бежал он от нее как раз из-за этого обличающего скептицизма. Она задавала вопросы — громящие, сокрушающие вопросы, и она говорила «хм». Неприлично говорить «хм» всемирным императорам. Если бы он начал поститься, впал бы в транс, она, уж конечно, встала бы рядом с ним, сказала «хм» и все испортила. Ну, как бы то ни было, на время он от этого избавился. Но бежать от сомнений было мало. Великое открытие грозило сойти на нет. Он нуждался в подкрепляющем присутствии ученика. Ему требовались помощь и подтверждения его правоты.

Бобби очень его утешил. Пока Саргон беседовал с подозрительными хозяевами сдающихся в наем комнат, вера новоявленного Спасителя человечества жутко ослабела. Но в манере Бобби с первой же минуты чувствовалась особая почтительность — он словно бы сразу понял. Его вопросы становились все более и более разумными. Быть может, ему суждено оказаться первым из пробуждающихся сподвижников. Быть может, вскоре он будет узнан как преданный слуга в том все еще в очень многом не всплывшем в памяти прошлом — то ли испытанный полководец, то ли приближенный придворный чин.

Но и сомневаясь, Саргон верил. Вполне понятный парадокс. Он четко знал, что быть Саргоном — значит быть реальным, обладать значимостью и придать значимость всему миру, возвратиться в прошлое и устремиться к будущему, и окончательно избавиться от трухлявой незначимости примбийской жизни. Быть Саргоном значило обрести не только величие, но и высокую добродетель. Саргон был способен давать, и Саргон был способен дерзать. Саргон мог схватиться со львами, и Саргон мог умереть за свой народ, а Примби мог пойти в обход через три луга... Примби ходил в обход через три луга, лишь бы избежать наскоков тявкающего терьера. Мир Примби слагался из пыли и грязи — глиняный комочек в бесконечности пространства, и на нем не было жизни, а лишь трусость и унижения. Примби был смертью, Саргон был возрождением в мире простора и значимости. И Саргон не просто понимал все это, но ощущал самым своим существом. С ним произошло нечто неизмеримо чудесное, овеянное дыханием истины; и он был обязан принять этот дар, сохранить, сберечь, или же он навеки останется падшим. Вопреки Кристине-Альберте. Вопреки всему миру.

И он расхаживал по своей комнатке на втором этаже дома по Мидгард-стрит и уточнял свое понятие о своей новой роли владыки и защитника всего мира. Сумерки сменились темнотой, но он не зажег лампу. Ему нравился дружественный мрак. Все видимые вещи — ограничены, но мрак простирается надо всем и за всем, достигая Бога.

— Я должен смотреть, — сказал он. — Должен следить и наблюдать. Но не слишком долго. Требуется действовать. Действие — это жизнь. Этот тип Примби, бедняга, умел смотреть, но решался он хотя бы пальцем пошевелить? Нет! Везде страдания, везде несправедливость и хаос, пустыни и дебри вновь наступают на нас, а он ничего не делал. Если ты не зовешь, не зовешь во весь голос, как ты можешь ожидать отклика? В этом мире, огромном, ужасном... забастовки... накопление... порча продуктов питания... спекулянты... Тем не менее люди, которые некогда жили мужественно и исполняли свой долг... Которые могут и вновь... Едва услышат зов. Пробудитесь! Вспомните! Высокий Путь. Бесхитростная Честь. Саргон зовет вас... Кха-кха...

Он остановился возле незанавешенного окна и посмотрел на простой плоский строй домов напротив, кое-где с вкраплениями освещенных окон. Занавески на большинстве были задернуты, но точно напротив, за столом при свете лампы работала женщина — она что-то шила, и рука с иглой то и дело исчезала из поля его зрения; картину дополняли книга, держащие ее пальцы и манжета читающего, а остальное скрывала занавеска. В окне спальни виднелось зеркало, и девушка примеряла шляпку, поворачивая голову то так, то эдак; затем она внезапно исчезла, а вскоре свет в окне погас.

— Все эти жизни, — сказал Саргон, простирая руки в благосклонном жесте, — переплетены... соединены любовью и мудростью. Кормило, установленное на дрейфующем мире.

В дверь постучали.

— Войдите, — сказал Саргон.

Вошел Бобби.

— Ну как, обживаетесь, сэр? — сказал он с обаятельной непосредственностью молоденького субалтерна, ему присущей, щелкнул выключателем и вошел в озарившуюся светом комнату. (Запавшие щеки, симпатичное лицо... вскоре в памяти должно всплыть, кем он был.) — Я подумал, а вы ужинали?

— Я совершенно забыл про еду, — сказал Саргон. — Совершенно. Мои мысли... заняты множеством важных дел. Мне необходимо многое обдумать, составить планы. Час уже поздний. Время близко. А не могла бы здешняя прислуга?..

— Только завтраки, — сказал Бобби. — Мы тут на строгих условиях — только постель и завтрак. Остальное предоставляется нам самим. А для подобных непредвиденных случаев нет ничего лучше ресторана «Рубикон». Гриль там открыт допоздна. Одолжат вас отбивной или котлеткой. Или яичницей с ветчиной. Отличная яичница. Такая хрустящая ветчина! Выйдете из двери, свернете налево у второго угла, а дальше прямо по Хемпшир-стрит, пока не дойдете до него. Отыщете?

Слово «хрустящая» оказалось решающим.

— Я воспользуюсь этой возможностью, — сказал Саргон.

— И назад дорогу найти совсем просто, — сказал Бобби с легкой тенью тревоги в голосе.

— Не бойтесь, молодой человек, — сказал Саргон успокаивающе и шутливо. — Я находил дорогу под многими небесами и в разных условиях: дикие горы, неразведанные пустыни. Время и пространство.

— А да, конечно! — сказал Бобби. — Я было забыл об этом. И все же... Лондон — совсем другое дело, — сказал Бобби.

###### 9

На следующий день примерно в половине пятого низенькая, но весьма усатая фигура с глазами, исполненными синей решимостью, вышла из дверей собора Святого Павла и остановилась на верхней площадке лестницы, обозревая Лудгейт-Хилл и Черч-Ярд, запруженные автомобилями, автобусами и прочим. В позе фигуры сквозила мужественная нерешительность, словно она твердо намеревалась сделать что-то, но не знала, что именно. Лондон уже был осмотрен с вершины Монумента и с купола собора в хрустально ясный октябрьский день, и в золотистом свете неожиданно оделся необычной красотой и величием. И одновременно показал себя огромной дремлющей множественностью, в которой лишь те, кто решителен и предприимчив, могут надеяться, что не будут ею поглощены. Он простирался во все стороны в широкие солнечные дали, которые, казалось, достигали горизонта, но там открывались новые свинцово-голубые дали, и в них виднелись дома, корабли, неясные холмы. Фургоны и повозки в затененных улицах внизу выглядели игрушками, люди были шляпами и торопящимися ногами и ступнями странных пропорций. И над всем эти колоссальный купол ласкового неба в пушинках облачков.

Там наверху он обошел маленькую галерею под шаром, бормоча:

— Одичание. Город, который забыл...

— Каким прекрасным мог бы он быть! Каким великим!

— Каким прекрасным и великим он *будет* !

И вот он спустился с этих высот, и ему настало время собрать своих учеников и служителей, и положить начало Новому Миру. Он должен их призвать. Последователи не придут к нему, если он их не позовет; они будут ждать, чтобы он начал действовать, даже не зная ничего о том, что их ждет, пока не услышат его зов. Но когда он их позовет, они непременно придут.

Теперь он стоял на ступенях собора Святого Павла, ощущая необыкновенную власть над людскими судьбами и размышляя, что вот даже сейчас над всеми прохожими, деловито шагающими по тротуарам, над пассажирами автобусов и девушками, бьющими по клавишам пишущих машинок за окнами верхних этажей, над всеми этими хлопотливыми, суетными, серенькими жизнями нависает его призыв, и будет услышан кем-то среди этих мужчин и женщин. Вон там, быть может, ждет его Абу Бекр, его правая рука, его Петр. Пусть подождут еще немного. Он благосклонно и ободряюще помахал, чтобы движение по улицам продолжалось.

— Теперь уже скоро, — сказал он, — очень скоро. Что ж, продолжайте, пока можете. Ведь даже теперь идет распределение жребиев.

Тем не менее он простоял еще несколько секунд неподвижно, молча — статуэтка рока.

— А теперь, — прошептал он, — а теперь... И сперва...

Его больше не тревожило, что он забыл шумерский язык.

Ночью он вновь обрел дар многоязычия; в темноте он бормотал неведомые слова и понимал их.

— Кха-кха, — сказал он. Выражение, общее для многих языков, расчищающее путь для возвращения через пять тысяч лет забытых звуков для обновленного употребления в мире людей.

— Дадендо Физзогго Грандиозо Великолендодидодо... да, — прошептал он. — Совлечение Покрывала с Лика. Первое Откровение. Тогда, быть может, они увидят!

И он медленно спустился по ступеням, обыскивая взглядом конвергирующиеся фасады Черч-Ярда в поисках вывески или иного признака парикмахерской.

### Глава II

### Обретение учеников

###### 1

В рассказах и мнениях о том, в каком порядке и как именно Саргон обретал последователей, уже существуют значительные разногласия. К счастью, мы располагаем возможностью изложить эти обстоятельства со всей необходимой точностью, а также весомостью, которая предвосхитит и обезоружит самую дотошную придирчивость. Была примерно половина седьмого вечера, когда Саргон вышел на Чипсайд, и движение на этой оживленной городской магистрали уже замирало. Его лицо преобразилось и словно бы испускало матовое сияние, которое создается только самым тщательным и изнуряющим бритьем. Ему была возвращена юношеская гладкость. Щечно-губная грива, пышнейшие усы, которая так долго укрывала его лик от человечества, упокоилась клочьями волос и мыльной пены в тазике парикмахера. Лицо теперь было таким же открытым всем взглядам, как лицо юного Александра Македонского — свежее, искреннее, невинное, говорящее ясным, ни через что не процеженным голосом. На нем играл естественный румянец волнения, и оно плыло над Чипсайдом, изучая физиономии встречных в процессе неимоверно важных мистических поисков. Синие глаза под благообразной шляпой горели огнем. Вот этот? Или вон тот?

###### 2

Первым призванным суждено было стать молодому человеку из Лейтонстона по имени Годли, молодому человеку с крупным, серьезным до мрачности серым лицом и важной медлительностью речи, смахивавшей на заикание. Он нес микроскоп в деревянном футляре. Он был студент-биолог, специализирующийся на цитологии, по природе очень вежливый, склонный к точности и раздумчивости во всем, что говорил и делал. Он шел от станции «Ливериуль-стрит» к институту Биркбека кружным путем, потому что до начала занятий оставался почти час. Он остановился на краю тротуара, на углу, собираясь перейти улицу и выжидая, чтобы проехали два фургона, когда зов настиг его.

Он увидел рядом с собой глянцево выбритого низенького человека, очень сосредоточенного, чьи синие глаза быстро обшарили его лицо, и тут же на его локте сомкнулись пальцы.

— Я думаю, — сказал Саргон, — это вы.

Мистер Годли не был лишен юмора, и хотел было ответить, что он, безусловно, он, но обычная медлительность речи, отчасти природная, но главным образом культивируемая, заставила его остановиться на «безусловно», и он все еще рассекал профилем воздух, когда вновь заговорил Саргон.

— Мне нужна ваша помощь, — сказал Саргон. — Начало великому делу положено.

Мистер Годли забился в конвульсиях сообщения, что в его распоряжении добрая часть часа, и он готов оказать любую посильную помощь при условии, что ему объяснят, для чего она требуется. Ведь его время ограничено. Он никак не может опоздать в Биркбек на занятия. Саргон не обратил ни малейшего внимания на смысл различных звуков, которые откусывал и проглатывал мистер Годли. Он, крепко держа своего пленника за локоть, повлек его вперед, жестами свободной руки поясняя всю важность обращенного к нему призыва.

— Вы, я замечаю, молодой человек, подвизающийся в области науки. Ваши знания понадобятся. Не знаю, узнали вы меня или нет — ваша память еще может страдать провалами, — но я узнал ваше лицо — главы мудрецов при нашем древнем дворе. Да-да, главного среди наших мудрецов.

— Н-н-е у-у-верен-н-н, ч-ч-то я в-вас п-п-понял, — сказал молодой человек. — М-м-моя раб-б-бота п-п-пока в-в-вряд ли извест-т-тна.

— Мне известна, — категорично объявил Саргон. — Я вас разыскивал. Пусть мое скромное инкогнито вас не обманывает. Поверьте, за мной стоят колоссальные силы. Вскоре все люди просветятся. Век сумятицы близится к концу, начинается новый век. Мы первые две частицы, самые первые, в великом выкристаллизовывании...

— К-к-куда мы, с-с-собственно, ид-д-д-ем? — осведомился молодой человек.

— Доверьтесь мне, — мужественно сказал Саргон. — Держитесь меня.

Молодой человек боролся с двумя-тремя сложными вопросами, но тут под магическую силу зова попали три новых индивида, и вопросы молодого человека выпаливались по кусочкам в неслышащие уши. Эти новые последователи стояли небольшой группой возле маленькой, почти безголосой шарманки, на которую был водружен плакат, гласивший: «Нам нужна работа, а не благотворительные подачки, но в так называемой цивилизованной стране для нас работы нет!» Одеты они были в выцветшую солдатскую форму, и ни одному из них не было и двадцати пяти.

— Нет, вы только посмотрите! — сказал Саргон. — Разве не пора начаться новому веку?

Он обратился к тому, что стоял справа от шарманки.

— Все это необходимо изменить теперь же, — сказал он. — У меня есть для вас работа.

— А! — откликнулся недавний солдат голосом человека, получившего хорошее образование. — И какая?

— Мы не волыним, — сказал шарманщик. — И согласны. Если работенка нам по силам. Мы дурака не валяем. Что за работа-то?

— Шиллинг за час? — спросил третий.

— Больше. Много больше. А работа важная и очень ответственная. Жатва! Чудесная жатва! Вы будете вести других. Следуйте за мной.

— Далеко? — спросил тот, кто ответил ему первый.

Саргон сделал жест, удачно замаскировавший тот факт, что никакого ясного плана у него нет, и зашагал впереди них по тротуару.

— Веди нас, Макбет! — сказал шарманщик и вскинул шарманку за спину. Двое других бывших солдат обменялись мнением, что все вроде бы в порядке, да и вообще надо посмотреть, что им предлагают. Мистер Годли, шагая бок о бок со своим вождем, предпринял сильнейшую и в конечном счете тщетную борьбу с очередным вопросом.

Следующий ученик был не столько призван, сколько врезался в растущие ряды саргонистов. Это был высокий джентльмен с кожей сочного коричневого цвета, курчавыми волосами и широкой обезоруживающей улыбкой. Одет он был в прямо-таки излучающий свет серый сюртук — розовый галстук, желтые штиблеты и шляпа, не уступавшая в солидности шляпе самого Саргона, довершали его костюм. Крупные, почти медного оттенка пальцы протягивали листок бумаги, а сочный мощный бас произнес: «Извините!» Вверху листа было напечатано «Лин и Маккей, 329, Лиден-холл-стрит», а ниже написано чернилами: «Мистер Кама Мобамба».

Саргон несколько секунд смотрел на владельца листа и узнал его.

— Царь Элама! — сказал он.

— Не понимай, — сказал темнокожий джентльмен. — Португал.

— Нет, — ответил Саргон с жестом, объяснявшем его намерение. — Провидение. Следуйте за мной.

Темнокожий джентльмен доверчиво пошел за ним.

— Послушайте-ка! — заявил один из экс-солдат. — Это что же, работа и для цветных?

— Спокойствие! — сказал Саргон. — Очень скоро вам все будет показано.

— П-по-моему, вам не следует вводить людей в заб-блуж-дение, — сказал мистер Годли, которого поведение Саргона все более заинтриговывало и ставило в тупик.

Саргон ускорил шаги.

— Этот... этот джентльмен п-простосп-п-прашивал, как н-найти дом.

В своем стремлении втолковать это Саргону он несколько позабыл о своем микроскопе и нежданно стукнул его футляром по колену проходившего мимо джентльмена в цилиндре. Жертва громко и яростно выругалась и остановилась посреди тротуара, подпрыгивая на одной ноге и прижимая ладонь к ушибленному месту. Затем джентльмен в цилиндре поддался страстному порыву поведать мистеру Годли, что именно он думает о его поведении, его воспитании и о том типе людей, к которым он принадлежит. И, прихрамывая, присоединился к последователям Саргона, восклицая «эй!» придушенным голосом. Несколько нетрезвый мужчина в глубоком трауре видел все, что произошло, и поспешил, слегка промахнувшись к рассерженному джентльмену в цилиндре.

— Возмутительная грубость, — сказал он. — Возмутительная! Если свидетель нужен, так я, пожалуйста.

Он намеревался подойти к джентльмену в цилиндре, но в его организме эмансипировались некоторые химические факторы, которые отклоняли его то вправо, то влево. Результатом явилась прихотливая кривая, незамедлительно натолкнувшая его на тачку с апельсинами у края тротуара. Соприкосновение не было ни серьезным, ни длительным, но привело к тому, что толика апельсинов рассыпалась, а ко все возрастающей свите Саргона добавился очень рассерженный подручный зеленщика, порицая и настаивая на возмещении убытков.

Мораль аллегории полностью зависит от выбранного уподобления, и, если камень, катясь, больше не становится, то катящийся снежный ком в размерах увеличивается. Небольшая кучка людей, торопливо шагающая по лондонской улице, представляет собой движущиеся тело типа снежного кома. Его притяжение весьма значительно, оно пробуждает любопытство и способствует сплочению человечества. Саргон, синеглазый и экстатичный, вкупе с мистером Годли по его левую руку, сосредоточенным и красноречивым, а также с мистером Камой Мобамбой, высоким, безмолвным, улыбающимся, чье лицо цвета черного дерева сияло уверенностью, что его вот-вот представят пред очи господ Лина и Маккея, возглавлял процессию. За ними шли три безработных экс-солдата, уже втянувшихся в неясный протесты и объяснения с джентльменом в цилиндре и с ловким, но не очень удобопонятным юным репортером, который постигал родной язык в Олдхеме и только-только приехал в Лондон делать карьеру, а потому мечтал о чем-нибудь «горяченьком». И как будто решил, что Саргон и есть искомое «горяченькое». К ним присоединились двое двусмысленного вида субъектов в кепках и шарфах, возможно с темными намерениями, уличная девица с туповатым лицом и в видавшей виды пурпурной шляпке осведомлялась, «чего это они», а нетрезвый мужчина в трауре объяснял со всем возможным остроумием и неясностью. А по сторонам уже зашмыгали подростки. А еще итоновец. Он был очень-очень юным и румяным отпрыском одного из древнейших и прославленнейших семейств в Англии и ярым коммунистом. Он с закадычным другом направлялся в прославленный магазин игрушечных моделей в Холборне, когда мимо прошествовал Саргон, и ему бросилась в глаза надпись на шарманке.

Он был очень инициативным мальчиком, склонным к драматизации.

— Извини, старина, — сказал он своему другу. — Но я чувствую, что момент настал. Или я очень и очень ошибаюсь, или эта компания кладет начало социальной революции, и я обязан исполнить свой долг.

— Да, ну, Кролик, — возразил друг. — Сначала давай купим паровой катер, как хотели.

— Какой еще паровой катер? — презрительно бросил Кролик и повернулся, чтобы последовать за Саргоном.

Он бы предпочел начать с быстрого крепкого рукопожатия, но когда человек не вынимает рук из брючных карманов, сделать это трудно. Он ускорил шаг, а его друг, не зная, то ли смеяться, то ли прийти в ужас, пошел за ним на расстоянии, по его мнению, достаточным, чтобы его нельзя было заподозрить в личной причастности к социальной революции.

— Куда мы идем? — спросил юный питомец Итона, нагнав последнего из безработных экс-солдат.

— Вон он знает, — сказал безработный экс-солдат, указывая на Саргона.

###### 3

Но именно этого-то наш милый Саргон и не знал. Он уже больше не был убежденным и единым Саргоном. В его существо старался вернуться перепуганный, сомневающийся и протестующий Примби.

До начала обретения учеников Саргон царил в своей душе без колебаний и противников. Но он ожидал, что ученики, услышав его зов, узнают, вспомнят, тут же все поймут и будут готовы помогать. Зов должен был, так сказать, зажечь фонарь, озарить их умы и мир вокруг. Он ожидал не только четкой и неколебимой убежденности наподобие его собственной, но подтверждения и укрепления ее. Так, чтобы от души к душе ширилась реставрация Человечности, Империи Саргона. К ученикам, которые ставили условия, к ученикам, которые следовали за ним, странно жестикулируя, и брызжа слюной, и побулькивая, заикаясь и давясь вредной критикой, к ученикам, требующим минимальной заработной платы, и к ученикам, которые прихрамывают следом за тобой и восклицают «эй!», будто ты извозчик, — к таким ученикам Саргон был абсолютно не подготовлен.

Не поторопился ли он призвать учеников? Снова поспешил? Совершил еще ошибку? Такие вредные и неотложные вопросы допекали Владыку, пока он энергично шагал по Холборну, никуда конкретно не направляясь, со скоростью около четырех миль в час, а его последователи чуть не наступали ему на пятки. Быть может, всякое руководство — своего рода бегство. Быть может, в каждом вожде спит беглец. В Саргоне в этот момент он уже не спал, а проснулся и зашевелился, и имя его было Примби.

Едва лишь человечество в своем медленном возвышении над чистой животностью начало подчиняться пророкам, великим учителям, несомненно тогда же зародился и этот конфликт между величием миссии и чем-то неясно меньшим, а еще, конечно, всегда присутствовало это режущее несоответствие чаяний учителя с качествами и побуждениями учеников. В самом призыве учеников словно заключено свидетельство слабости пророка. Оно накладывает на него обязательства. Обязательства перед ними. И он знает, что они потребуют их исполнения, если он споткнется. Глубокие стадные инстинкты подсказывают ему, что он не отступит от своих заявлений им, даже если ему придется отступить от себя. Они-то от него отступятся — это неизбежно. Во всей известной истории мира есть только один-единственный неизменно верный ученик — Абу Бекр. Все прочие ученики подводили, калечили своих Учителей, вводили их в заблуждение. Они покидали пророка или вынуждали идти туда, куда он не хотел идти. Великое и сходное с ним малое подчиняются сходным законам. Во главе этого бурлящего клинышка, который двигался по озаренному фонарями Холборну в октябрьских сумерках, шел Саргон, Владыка и Защитник Человечества, Возродитель Веры и Справедливости, Саргон Великолепный, и хотя он уже понял, какую ошибку допустил и какие опасности на себя навлек, он по-прежнему был исполнен решимости совершить нечто великое каким-то невероятнейшим образом на самой грани катастрофы. И ближе собственной тени к нему был Примби, почти обезумевший от страха, готовый кинуться наутек в первый же переулок, сбежать от объяснений, сбежать от свершений, сбежать назад в примбизм и бесконечное ничтожество.

Внезапно до Саргона донесся успокоительный голос — голос того, кто как будто уверовал и принял его.

Прежде чем Бобби перебежал улицу, он выдержал стычку с Билли.

— Вон он! — сказал Бобби.

— Да не он это, — сказал Билли. — Где усы? Он же был сплошные усы.

— Сбрил, — ответил Бобби. — Я его где хочешь узнаю. Такая гарцующая походка. Это наш пророк, Билли, и ему явно грозят неприятности.

— Больше смахивает на аферу, — сказал Билли. — Где он раздобыл этого экстазного негритоса? Тут что-то нечисто, Бобби. Лучше не суйся. Вон полицейский надвигается.

Бобби поколебался.

— Не могу я его так бросить, — сказал он и юркнул через дорогу, как раз когда четыре мчащихся автобуса заслонили саргонистов от Билли.

— Извините, но куда вы? — спросил Бобби, нагибаясь к благодарному уху Саргона, несмотря на сильный толчок, на который не поскупился мистер Годли.

— Я объявил о себе, — сказал Саргон и тотчас уверенность вернулась к нему. Это же был Первый Ученик, и он отыскал своего Учителя. И теперь Саргон совершенно ясно увидел, что ему следует сделать. Этих первых последователей следовало наставить на путь истинный. Пора настала приобщить их к Учению. Для чего необходимо было отъединить их от шума и суеты улицы. И Саргону предстало видение — длинный ярко освещенный стол, ученики за ним, задающие вопросы, — и достопамятные ответы, великие изречения. И прямо впереди сиял, взрывался светом, уже друг в нужде, — внушительный и приветливый ресторан «Рубикон», пионер в замечательном замысле предлагать изысканные обеды по сходным ценам.

— Вон там, — объявил Саргон, описав рукой широкий полукруг, — мы отдохнем, вкушая пищу; я буду говорить, и все недоумения разъяснятся.

Светлое видение беседы с учениками за столом настолько восстановило величие Саргона, что входа в ресторан «Рубикон», который зазывно выпячивается на углу, он достиг, обретя еще двух учеников. Нищего, почтенной наружности, предлагавшего спички прохожим, и крайне умного вида мужчину лет пятидесяти, тощего, с жидкой бородкой, книгой о духоборах под мышкой, в митенках и выпуклой черной фетровой шляпе весьма необычной формы вроде паровозной трубы. Это последнее приобретение было сделано у самых дверей ресторана.

— Войдите, — сказал Саргон, сжав его локоть, — и поужинайте со мной. Я расскажу вам о вещах, которые изменят вашу жизнь.

— Так неожиданно! — произнес умного вида мужчина с напоминающей ржание нотой протеста английского ученого и джентльмена, подчиняясь хватке Саргона.

###### 4

Само вторжение в ресторан «Рубикон» произошло бестолково и быстро. Саргону теперь все представлялось ясным и простым: либо он претворит в явь это видение длинного белого стола с его учениками вокруг, либо навлечет на себя страшное поражение. Его последователями руководило смешение неравноценных и несовместимых побуждений, как всегда бывает с последователями, а число их теперь почти достигало тридцати — более точному определению оно не поддается, так как пополнилось зеваками и прохожими из-за наименее достойного из трех экс-солдат, который, едва впереди замаячил ресторан «Рубикон», принялся испускать магические слова: «Пожрать на дармовщинку».

В этот момент внимание бдительного наружного стража — швейцара — отвлекли гости, подъехавшие в автомобиле, и поэтому саргонисты ворвались внутрь, не встретив иной помехи, кроме вращающейся двери, рассекшей их на пары и тройки, прежде чем впустить в вестибюль. Примерно двадцать их оказалось в этом помещении из мрамора, красного дерева и услужливых гардеробщиков, когда из-за технической неопытности мужчины в глубоком трауре механизм заело, подручный зеленщика вмешался без малейшего толку, и в конце концов его извлек оттуда вежливо негодующий швейцар. Человек с ушибленной голенью как будто отстал еще до приближения к ресторану, а туповатая девица в пурпурной шляпке удалилась восвояси в никем не замеченный момент.

В обширном, сверкающем и полном наблюдательных глаз вестибюле проявилась тенденция к рассосредоточиванию. Безработный экс-солдат с шарманкой в припадке внезапной застенчивости направился к мужскому гардеробу, чтобы сдать туда свой инструмент, и был тут же втянут в спор со своими коллегами. Двое двусмысленных субъектов в кепках и шарфах, казалось, усомнились в корректности своих костюмов. Но Саргон крепко держал новоизловленного джентльмена, а почтенный продавец спичек не собирался разъединяться со своим патроном в месте, полном света, роскоши и опасности. Мистер Кама Мобамба, высокий, улыбающийся, глянцевый, вручил шляпу с зонтиком гардеробщику и старался не отставать от Учителя, в безмятежной уверенности, что вступил в величественный портал фирмы африканских коммерсантов Лина и Маккея. А мистер Годли, с его врожденной потребностью в ясности, не желал расставаться с Саргоном без исчерпывающего объяснения, почему он не находит возможным сопровождать его и далее. Он следом за другими вошел в Большой зал, издавая неясные звуки, как разладившиеся часы с кукушкой. Репортер из Олдхема также еще держался, хотя уже пребывал в сомнении, о чем, собственно, он сможет написать. Воспитанник Итона, почти осознавший свою ошибку, предпочел несколько отъединиться, когда вошел в зал, оставив в гардеробе шляпу и зонтик.

А Бобби туда не вошел. В вестибюле его нагнал и остановил Билли.

— Тебя это не касается, Бобби, — сказал Билли. — Совсем не касается.

— Не могу понять, что он затеял, — сказал Бобби. — Как бы это не кончилось для него плохо.

— Не важно.

— Для меня важно.

— Администрация перепугалась, — сказал Билли. — И послала за полицией. Снаружи собралась толпа. Только посмотри, как они липнут к стеклам. Видишь, как вон тот пялится в дырочку. Как приятно будет Тесси и Сьюзен, если мы окажемся в полицейском суде.

— Но не можем же мы его бросить в такой переделке?

— А чем мы ему поможем?

###### 5

В стенах ресторана Саргон сделал свое высшее и заключительное усилие, понеся мгновенное и полнейшее поражение. Но как бы то ни было, в бегство он не обратился. Он ринулся во фронтальную атаку на мир, который отправился покорять — как Саргон. И как Саргон, непобедимый Саргон, он претерпел полный разгром.

В ресторане «Рубикон» еще не воцарилось вечернее оживление. К тому же в «Рубиконе» оживление по вечерам царит меньше, чем в обеденные часы; он расположен далековато от Вест-Энда, и потому оживлен преимущественно днем. А час отведенной ему меры вечернего оживления еще не настал. Стройность рядов белых столиков (каждый со своей лампой и своими цветами) лишь кое-где нарушалась посетителями. Семейство с билетами в цирк, компания, подкрепляющаяся перед митингом в Кингсуэй-Холле; три-четыре пары театралов в вечерних костюмах; три-четыре странноватые пары, состоящие из довольно неопытного вида бизнесмена средних лет и крайне неопытного вида молодой женщины в обеденном туалете небезупречной элегантности — пары, которые в Лондоне встречаются повсюду, и еще трое бизнесменов с севера в по-шотландски солидных серых костюмах, обедающие с исчерпывающей полнотой от коктейля до ликера к кофе. Вот и все, кто пока украшал своим присутствием зал ресторана. На нижней галерее смутно маячили одна-две фигуры, а верхняя не была освещена. Атмосфера все еще была пронизана холодом и робостью. Даже троица с севера познавала лондонскую роскошь сдержанно, если не сказать — опасливо.

Обслуживающий персонал в подавляющем большинстве еще занят не был. Старшие официанты, официанты, подающие вина, просто официанты поправляли салфетки, переставляли бокалы и рюмки или тихо стояли сложа руки, с тем выражением меланхоличности и легкого удивления себе, которое отличает официантов. Нестройный шум в вестибюле и звон разбитого стекла вращающейся двери — результат последнего усилия мужчины в трауре — возвестили появление Саргона.

Все повернули головы. Посетители забыли про еду и застольные манеры, официанты забыли свои тайные печали. Появился Саргон — ничем не примечательная фигура, маленькое, белое, почти светящееся лицо, круглые блестящие глаза. Одной рукой он все еще удерживал своего последнего ученика. Другой отмахивался от словесных комьев, которые сыпал на него мистер Годли. Над ним, точно щит из черного дерева и слоновой кости, маячило лицо негра, полного приятных ожиданий. Сзади шли продавец спичек и другие саргонисты, чью социальную принадлежность определить было труднее.

Перед ним встал метрдотель, за которым виднелся управляющий, а чуть дальше помощник управляющего перекладывал с места на место фрукты на буфетной стойке.

Саргон выпустил свою последнюю добычу и шагнул вперед.

— Поставьте здесь стол, — произнес он с величавым жестом. — Поставьте стол для многочисленного общества. Я созвал последователей и должен наставить их.

— Стол, сэр, — сказал метрдотель. — На сколько персон?

— Для большого общества.

— Все-таки, сэр, — сказал метрдотель, умоляюще взглянув на управляющего, — нам бы хотелось знать примерно, на сколько персон.

Управляющий выступил вперед, чтобы взять дело в свои руки, и помощник управляющего, оставив в покое пирамиды фруктов, подошел к нему сзади для поддержки. Саргон заметил, что столкнулся с сопротивлением, и собрал воедино все заключенные в нем силы.

— Это большое общество, — сказал он. — Оно должно сесть здесь со мной за трапезу, и я должен наставить его. Люди там могут присоединиться к нам. Составьте все столы один к одному. День разобщенных столов и разобщенных жизней окончен. Пусть даже столы возвестят Братство Людей Под Нашей Властью. Составьте их.

При словах «Братство Людей» один из трех бизнесменов с севера был оглушен внезапным озарением.

— Это кровавый большевик, — сказал он (или что-то похожее). — Вломился сюда! Нашел место!

— Это недопустимо, — сказал его друг. — Нам что, нигде от них покоя не будет?

Первый бизнесмен выразил глубокую антипатию к обагренным большевикам и принялся торопливо, нервно и раздраженно поедать хлеб.

— Когда наконец принесут это фрикасе из цыпленка? — сказал он.

— Не иначе, как уронили его на пол или еще что-нибудь устроили.

Но управляющий мыслил даже быстрее этого бизнесмена. Саргон еще только начал свою речь, а молниеносный сигнал был уже подан. Официант, посланный за полицией, уже промчался мимо Билли, Бобби и прочих, нерешительно толпящихся в вестибюле, где теперь было тревожно и сквозило, потому что во вращающейся двери не было стекла, которое выбил мужчина в трауре.

Однако Саргон не заметил эти побочные события. Он поступил так, как только и мог поступить при таких обстоятельствах — попробовал сломить сопротивление, с которым столкнулся.

— В этом зале, сэр, мы банкетов не устраиваем, — сказал управляющий, чтобы выиграть время. — Банкет вы можете дать в Сирийском зале или Енисейском кабинете, а то в Большом масонском или Малом масонском зале — заказав заблаговременно и после необходимых приготовлений, но это общий зал. Вы не можете так сразу устроить здесь банкет для неизвестного общества или там собрания. Мы таких услуг не предоставляем. Так не делается.

— Но сегодня так будет сделано, — возвестил Саргон с таким взглядом, интонацией и жестом, что весь грёзовый Шумер упал бы на колени.

Но управляющие европейских ресторанов, видимо, слеплены из глины покрепче, чем древние шумеры.

— Боюсь, что нет, сэр, — сказал он с вежливой непоколебимостью.

— Знаете ли вы, — вскричал Саргон, — с кем вы имеете дело?

— Не с нашим постоянным клиентом, сэр, — ответил управляющий с извиняющимся видом человека, приводящего неопровержимый аргумент.

— Послушайте, — сказал Саргон. — Сегодня эпохальный день. Это Конец и Начало Века. Люди будут помнить банкет, который я устрою тут, как зарю нового мира. Я — Саргон, Саргон Великий, Саргон Восстановитель, и пришел объявить о себе. Это множество моих последователей должно накормить и наставить здесь, накормить телесно и накормить духовно. Потрудитесь исполнить положенное вам.

Говоря о своих последователях, он указал себе за спину, но позади него теперь, увы, не было последователей, исключая верного, но заблуждающегося африканца, да недоумевающего, но настойчивого репортера из Олдхема. Питомец Итона уже полностью отъединился. Он сел за столик в стороне, где к нему присоединился его друг, и они, переговариваясь вполголоса, наблюдали за происходящим. Даже мистер Годли со своим микроскопом и джентльмен с книгой о духоборах к этому времени скрылись из этого повествования и шли теперь по Холборну, обмениваясь объяснениями, перебивая друг друга, и высказывали предположения об этом необычайном случае, который столь нежданно сбил их с высокого и разумного жизненного пути.

— Могу только п-п-п-предположить, — сказал мистер Годли, — что он с-с-сумасшедший.

Пока свита Саргона таяла, свита управляющего увеличивалась. Теперь позади него выстроились всяческие официанты — пожалуй, три дюжины разных и в то же время единообразных официантов: высокие официанты и низенькие, толстые и худые, волосатые и лысые, старые и молодые, официанты в фартуках, а один так даже без фрака.

— Боюсь, вы нарушаете здесь порядок, — сказал управляющий. — Боюсь, я должен попросить вас уйти, сэр.

Уйти — ему? Никогда!

— О поколение слепых и глухих! — вскричал он, поднимая голос в надежде, что его услышат за столиками позади этой угрюмой толпы официантов. — Или вы не узнаете меня? Нет у вас ни памяти, ни прозрения? И вы не видите света, который открывается вам? Не слышите зова, оглашающего мир? Час пробуждения настал. Он нынче, он сейчас. Вы можете перестать быть игрушками привычки и раболепства, и можете стать хозяевами возрожденного мира. Сейчас! Сию минуту. Пожелайте измениться со мной, и перемена придет к вам. Вас призывает Саргон, Саргон Древний и Вечный, Мудрый Правитель и Дерзновенный, призывает вас к свету, к благородству, к свободе.

— Боюсь, мы не можем позволить, чтоб вы тут произносили речи, — сказал управляющий, простирая руку.

— Да вышвырнуть его сразу, и дело с концом, — сказал приземистый коренастый официант.

— Вышвырните его! — вскочив, сказал антибольшевистски настроенный бизнесмен голосом, исполненным негодования и набирающим силу с каждым словом. — А потом принесите нам наше Фрикасе из Цыпленка. Мы уже Десять Минут ждем ЭТО ФРИКАСЕ ИЗ ЦЫПЛЕНКА!!!

И тут раздался другой голос:

— *Эточтотакое* ?! — И на Саргона внезапно надвинулся полицейский.

Волна ужаса оледенила его душу, чисто примбийская волна ужаса.

За всю свою законопослушную жизнь он ни разу не вступал в столкновение с Полицией. «О Господи! О Господи! — вопиял ужас в его душе. — Что я натворил? Меня арестуют!» Синие глаза округлились еще больше, он с трудом дышал, но никто вокруг не заметил, как близок он был к бесславному крушению. Примби затрясся и исчез. Саргон поперхнулся и сказал непоколебимо:

— Как так, страж порядка? Ты посмеешь наложить руки на Владыку Мира?

— Эта моя обязанность, сэр, если он нарушает спокойствие, — сказал полицейский. — Владыка там или не Владыка.

Саргон молниеносно приспособился к такому обороту событий. Он потерпел поражение. Его сейчас уведут. Да, но он все равно Саргон. Та Сила, которая управляет им, навлекла на него поражение, но, конечно, это лишь испытание. Он не ожидал от Силы подобного, но раз такова была воля Силы, ему оставалось лишь смириться.

— Вы понимаете, господин полицейский, что вы делаете? — сказал он величественно и мягко.

— Вполне, сэр. Надеюсь, вы нам хлопот не доставите.

Пленник! Не так он представлял себе явление Владыки миру. Он в последний раз оглядел пышное убранство большого ресторанного зала, в котором должен был произойти начальный пир. Не здесь, но в каком-то замызганном полицейском участке должна быть объявлена Новая империя Справедливости и Братства.

Он молча повернулся и смирно пошел рядом с полицейским в глубоком размышлении.

###### 6

Так завершилась первая попытка Саргона вступить во владение своей Империей. Если, конечно, не считать первой попыткой его визит в Букингемский дворец.

Но перед тем как перейти к нежданному и ужасному испытанию, которое его ожидало, нам следует сообщить об одном-двух второстепенных обстоятельствах его пленения.

Во-первых, поведение мистера Камы Мобамбы. Он наблюдал заключительные эпизоды в ресторане со все возрастающим изумлением на широком бронзовом лице. Неужели этот синеглазый человечек и правда завел его не туда? Когда Саргона уводили, мистер Мобамба сделал шаг, словно все-таки собираясь последовать за ним. Затем остановился, задумчиво сдвинул брови и порылся в кармане. С некоторым усилием он извлек лист бумаги, который, казалось, был единственным звеном между ним и Лондоном. Лист теперь выглядел изрядно измятым. Разгладив его на могучей ладони, мистер Мобамба двинулся к управляющему и протянул лист ему.

— Что это еще? — спросил управляющий.

Черный джентльмен поклонился с изящнейшей элегантностью, не опуская листа.

— Не говору англиски, — сказал черный джентльмен. — Португал. Лин-и-Кей. Лемонаолстрит.

Объяснить ему дорогу оказалось крайне трудным.

Тем временем в вестибюле Бобби безмолвно отрекся от какого-либо знакомства с Саргоном. Он все еще медлил там с Билли, удерживаемый странной, почти материнской тревогой за Саргона. Экс-солдаты «слиняли», по красочному выражению владельца шарманки, едва появилась полиция. Мужчина в трауре со всеми его бедами был удален. Но довольно много людей еще оставалось там в смутном ожидании, а юный репортер старался отыскать хоть кого-то, кто понимал редкий и неясный язык Олдхема в попытке найти подтверждение собранным фактам. И еще там находилось несколько полицейских, причем один был явным начальником — красавец в кепи и мундире с галунами.

— Вон он! — сказал Билли, и из зала вывели Саргона.

Пока он шел через вестибюль к вращающейся двери, царила полная тишина. И Бобби почудилось в Саргоне прежде не замечавшееся высокое достоинство. Он не смотрел ни направо, ни налево, а в глазах у него пряталась глубокая грусть.

— Но что они с ним сделают? — спросил Бобби.

— А вы, случаем, с ним не знакомы, сэр? — внезапно спросил начальник.

— Да вовсе нет, — ответил Билли, опередив Бобби. — Никогда прежде его не видели. Просто затянули сюда посмотреть, что происходит.

И своим молчанием Бобби подтвердил его слова.

— У меня нет права приказать вам не толпиться тут, — сказал полицейский чин, многозначительно улыбнулся Билли и сделал знак подчиненным, что они свое дело здесь завершили.

— Лучше пойдем домой, — сказал Билли, правильно истолковав улыбку.

###### 7

Трое друзей сидели у огня в белой комнате с лиловыми занавесками, и Бобби горько каялся в том, что отрекся от Саргона.

— Они забрали его, Тесси, — повторил он в третий раз, — и я не знаю, что они с ним сделают.

— Отпустят, предупредив, — сказал Билли, балансируя на колене чертежную доску. — Насколько могу судить, он ничего такого не натворил.

— А потом? — пробормотал Бобби, глядя на огонь. — Я загляну в полицейский суд и попробую привести сюда, если его отпустят, — добавил он после некоторого молчания.

— Лучше не вмешивайся, — сказал Билли.

А Тесси сидела в кресле между Билли и огнем, поглядывая из теплых теней на сосредоточенный профиль Бобби довольно-таки нежно. И никто ее не видел.

— Его отпустят с предостережением, Бобби, и он сам сюда вернется, — сказала Тесси успокаивающе.

— Ну, конечно, придет, — сказал Билли.

— Вполне возможно, Тесси, — сказал Бобби. — А что, если его не отпустят? — Он встал и постоял у огня. — Пожалуй, мне следует подняться к себе и поработать.

— Да, конечно, — сказал Билли.

— Как продвигается роман? — спросила Тесси.

— Пока не очень, — сказал Бобби. — Пророк мешал сесть и писать. Но я узнал очень много, и это когда-нибудь проявится. Ну, и конечно, я должен разделаться с почтой Тетушки Сюзанны. Тетушка Сюзанна становится все популярнее и популярнее. Вы и вообразить не сумеете, о чем меня спрашивают. И в конечном счете все это тоже материал. Но... требует времени... Конечно, они заперли его в мерзкую тесную камеру. И он поражается, как они не видят, что он правда великий Саргон, вновь явившийся в этот мир... Билли, мир опасное место, опасное, недоброе. Почему они не позволили ему немного порезвиться? А его трогательная крохотная карта Всего Мира наверху? Он ее так и называл: Весь Мир. И его трогательная бумажная звездная моделька, и его трогательная пустая комнатушка, и его трогательная пустая кроватка.

— Протестую! — заявил Билли, откладывая чертежную доску. — Бобби, ты страдаешь патологическим переизбытком сочувствия. Ты — новая болезнь. Типичный случай боббиизма. Хватит и того, что ты открыто выражаешь сочувствие этому дьяволенку Сьюзен, стоит мне ее отшлепать, и тем сводишь на нет всю мою воспитательную работу. Хватит и того, что ты делаешь за миссис Ричмен треть ее работы, потому что ей требуется солнечный свет и воздух. Нет, я даже способен понять твою эмоциональную связь со всякими бездомными кошками и голубями. Но когда ты начинаешь изливать сочувствие на трогательную пустую кроватку в меблированных комнатах, это уже предел. Да, Бобби, предел! Трогательная пустая кроватка! Это уже патология, Бобби, патология!

— Но ведь он же думает о Саргоне, — сказала Тесси. — Ты сходишь завтра в полицейский суд, Бобби?

— Схожу — что бы Билли там ни говорил. Мне все равно, если это болезнь. Я опасаюсь за этого человечка. Я боюсь. Он слишком уж ясноглаз для этого жестокого мира.

И на следующее утро Бобби пошел. Он пошел в суд на Лемон-сквер и просидел там все мрачное утро в ожидании Саргона, который так и не появился. Он все утро слушал, как перед судьей представали пьяницы и им подобные. Дело об украденных сифонах содовой, два супружеских скандала и все подробности преднамеренного разбития зеркального стекла витрины с целью ограбления. Но о Саргоне — ничего. Судья удалился, присутствующие начали расходиться. Он расспросил полицейского, но тот ничего о Саргоне не слышал, как и о небольшом переполохе в ресторане «Рубикон». А в тот ли суд он пришел, спросил полицейский. И Бобби кинулся стремглав на Минтон-стрит. Минтон-стрит тоже, казалось, понятия не имела о Саргоне. А заглянуть в участок Бобби ни там, ни там в голову не пришло. Он ушел в полной растерянности. Попытался отыскать упоминание про Саргона в вечерних газетах. Ни строчки ни о «Рубиконе», ни о нем. А что, если ему не предъявили обвинения? Бобби кинулся домой и взлетел по лестнице в тщетной надежде. Уныло-пустая комната, открытое окно, карта мира на полу. Саргон каким-то образом перестал существовать?

Следующий день не предъявил ни Саргона, ни вестей о Саргоне. Бобби перестал спать по ночам.

Через трое суток Билли, который тайком следил за своим другом, сказал небрежно:

— А почему бы тебе не сходить навести справки у Верховного Мандарина в участке на Лемон-стрит? Если кому-то что-то известно, так, уж конечно, ему.

Когда Бобби проводили к инспектору Муллинсу, он увидел перед собой того самого красивого полицейского чина, которого наблюдал в вестибюле ресторана «Рубикон».

— Вы тот молодой человек, который так-таки ничего о нем не знал три вечера назад, — сказал инспектор Муллинс, не отвечая на вопрос Бобби.

Бобби откровенно объяснил положение вещей.

— Теперь от этого толку мало, — сказал инспектор. — Тем не менее все было сделано по заведенному порядку. Мы, согласно с данным нам правом, отвезли его в приходскую больницу — для наблюдения за его душевным состоянием. Они держат их там трое суток. Затем либо ставят диагноз, либо отпускают. Или предъявляют обвинение.

— Диагноз? — переспросил Бобби.

— Невменяемость, — сказал инспектор Муллинс.

— Так что было с ним?

— Полагаю, самое обычное. Вполне ясный случай. Сейчас он официально признанный сумасшедший, я полагаю, и либо уже в Каммердаун-Хилле, либо находится на пути туда. Или, если там нет свободных коек, куда-нибудь еще.

— Так быстро! — Бобби присвистнул и обескуражено помолчал. — А могу я поехать в Каммердаун-Хилл повидать его? — спросил он затем.

— Наверное, нет, — сказал инспектор Муллинс. — Вы же ему не родственник.

— Но я интересуюсь его судьбой.

— Это не ваше дело.

— Верно. Но он мне нравится. И, по-моему, он не совсем сумасшедший... Как-то странно, что его родные... А вам что-нибудь известно о его родных? Я мог бы съездить к ним, рассказать про него.

— Так-то так, — сказал инспектор. — Но я не знаю, кто они. Возможно, вам удастся узнать в больнице, или получите сведения о них из Каммердауна. Не знаю. И вполне вероятно, что и там о его родственниках ничего неизвестно. В мире полно таких безымянных и бездомных. Не исключено, что у него вообще нет родственников, то есть таких, которые захотели бы о нем позаботиться. Насколько я понимаю, до мужчины или женщины, если их официально признали сумасшедшими и отправили в сумасшедший дом, постороннему добраться трудно. Но, как вы сами сказали, попытаться вам можно. Сожалею, что больше ничего сообщить вам не могу. Я ведь даже его не видел, если не считать секунды, когда он прошел мимо. Это не мое дело... Да, наша обычная процедура в подобных случаях... Нет, меня это нисколько не затруднило. Всего хорошего.

И он остался плотно сидеть в кресле — воплощение неумолимого равнодушного закона и власти.

### Глава III

### Спуск Саргона в Подземный мир

###### 1

В одной из предыдущих глав было сказано, что после смерти жены мистер Примби уподобился семени, которое прорастает в нечто непредвиденное и удивительное. Новая фаза этого запоздалого прорастания началась, пока он шел по лондонским улицам рядом со схватившим его полицейским. Случись такое с мистером Примби, пока он еще был мистером Примби, все свелось бы к мучительному стыду и ужасу. Случившееся было бы невыносимым, источником жгучих сожалений, чем-то, что следовало бы скрыть, а если удастся, то пережить и стереть из памяти. Опять-таки, случись это в начале саргоновских грез, оно послужило бы пружиной колоссальной драматической импровизации. Он подумал бы об эффекте, произведенном на зрителей и прохожих, он бы принимал позы и жестикулировал, изрекал бы мудрые достопамятные слова. Но теперь им владела какая-то власть роста, и ничего этого он делать не стал. Теперь он не позировал ни перед миром вовне, ни перед собой внутри. Чуть ли не впервые в жизни он смотрел на себя прямо, и на то, что он сделал, и на то, что с ним произошло, и исполнился такого изумления перед этим бесповоротным открытием реальности, что позабыл всю сложную ткань иллюзий, игры воображения и сознательных самообманов, благодаря которым достиг этой новой фазы провидения. Он так спокойно шел по озаренным фонарями улицам, что лишь наиболее наблюдательные прохожие замечали, что он задержан, и полицейский находится при исполнении своих обязанностей. Остальные вполне могли принять его за случайного спутника полицейского, идущего к себе домой.

Одно неколебимое решение вызрело в этом возродившемся сознании, обретя необычайную силу и ясность: он не тот Альберт-Эдвард Примби, который дал толчок его существованию, и никогда больше им не будет. Он некто, зовущийся — как именно на самом деле, значения не имеет, но для нынешних его целей — Саргоном, Саргоном Великолепным, Царем. Первые конкретные видения Шумера и его древней славы теперь отодвинулись на задний план. Веры в них он не утратил, но теперь они ушли для него в далекое прошлое, и даже откровение в пансионе, казалось, произошло давным-давно. За последнюю неделю его идеи проделали огромное расстояние и многое в себя впитали. Упование на немедленное обретение неслыханного могущества было грубо попрано. Та Сила, что призвала его, вызвала у него крайнее недоумение, но не покончила с ним. Он ясно понимал, что должен быть Саргоном, который живет не ради себя, а ради Всего Мира, и что оставить эту веру или отречься от нее — значит безвозвратно погибнуть. Ему не казалось, что его вера нуждается в проверке, но Сила с полной очевидностью постановила подвергнуть ее проверке. И столь же очевидно, ему предстоит пройти некий суровый процесс подготовки, перед тем как вступить во владение своей Империей. Ему суждено изведать тюрьму и подвергнуться суду. От него потребуют, чтобы он отрекся от себя.

Что следует им ответить? Я не Он... Я не Тот... как именно? Я не Тот, кем вы меня полагаете. Он несколько раз повторил это вполголоса.

— Чего-чего? — осведомился полицейский.

— Ничего. Идти еще далеко? — спросил Саргон.

Выяснилось, что совсем рядом — за углом. Саргон оказался в небольшой скудно обставленной комнате в обществе полудесятка очень приветливых, но слегка непочтительных полицейских. Тот, который сидел за столом, спросил его фамилию и адрес.

— Саргон, — сказал он. — Саргон Первый.

— А крещеное имя?

— Дохристианское, — сказал Саргон.

— То есть это, значит, и имя, и фамилия? — сказал вопрошавший.

— Да.

— Ну, а адрес?

— В настоящий момент не имею.

— Просто — где угодно?

Саргон промолчал.

— Случай для Гиффорд-стрит, — произнес голос у него за спиной.

— С памятью непорядок, или еще с чем-то, — сказал человек за столом.

— Как ни верти, Гиффорд-стрит.

Саргон поразмыслил.

— А что на Гиффорд-стрит? — спросил он.

— Больница, где тебе обеспечат покой и отдых.

— Но я хочу встретиться с судьей в открытом суде. У меня есть весть. Ни покоя, ни отдыха мне не надо.

— Тебе все растолкуют на Гиффорд-стрит. Бакстон, доставишь его?

— Но я совершенно здоров! Зачем мне в больницу?

— Так положено, — ответил полицейский из-за стола и занялся другими делами.

###### 2

Непонятно! Почему больница? То, как обходилась с ним Сила, было странным, очень странным. Он должен был повиноваться Силе, должен был оставаться Саргоном. Тем не менее он предпочел бы бОльшую ясность.

Теперь он настолько ушел в себя, что, шагая рядом с полицейским Бакстоном, не замечал ни улиц, ни уличного движения, ни прохожих. Затем они оказались перед дверью в высокой стене, за которой виднелось несколько зданий. После чего они очутились в маленькой приемной, где дюжий привратник с землистым лицом, оглядев его, начал вполголоса переговариваться с полицейским. Затем они пошли через широкий двор и через высокие двери — в коридор, где стояли пустые носилки и две-три медицинские сестры в форме. Он вошли в маленький кабинете матовыми стеклами. Саргона попросили сесть на скамью у стены, пока кто-то куда-то звонил по телефону. Полицейский Бакстон маячил в коридоре, словно почти выполнил то, что ему поручили.

Вошел плюгавый человек с блестящими глазками и в сером костюме. Несколько секунд они с Саргоном молча смотрели друг на друга.

— Ну? — сказал плюгавый в сером костюме.

— Мое имя Саргон. Я не знаю, зачем меня сюда привели. Это больница? Так я понял. Но я не болен.

— Вы можете быть больны, не зная об этом.

— Нет.

— Мы просто хотим оставить вас здесь ненадолго, чтобы познакомиться с вами.

Саргон пожал плечами.

Появился очень крупный мужчина с преувеличенными плечами и большим, бритым, чрезвычайно самодовольным лицом. Рот широкий, узкогубый, серые рачьи глаза и густо напомаженные, полностью порабощенные рыжеватые волосы с армейской прядью, прилепленной ко лбу.

— Тяжелый вечерок, — сказал он. — Уже третий.

— Значит, полно, — сказал плюгавый в сером костюме.

— Не продохнуть, — сообщил дюжий. — Повернуться негде. Это он, что ли? — спросил он и указал на Саргона уголком рта, наклонив толстую шею.

— Это, — сказал плюгавый в сером Саргону, — мистер Джордан. Он вам покажет, куда идти и что делать.

Саргон немедленно ощутил инстинктивную антипатию к мистеру Джордану. Но послушно встал, так как его покорность Силе каким-то образом захватывала и это новое насилие. Мистер Джордан вложил в свой голос монотонную, масляную, фальшивую дружелюбность.

— Идемте, старина, со мной, — сказал он. — Мы вас уютненько устроим, если от вас хлопот не будет.

Они свернули за угол и начали подниматься по унылой каменной лестнице, которая сделала полный оборот, и вышли на площадку, где за дверями со стеклами начинался очень длинный темный коридор, освещавшийся единственной лампочкой где-то в отдалении. И тут Саргон внезапно понял, что уже далеко-далеко позади него остался внешний мир свободы, улиц, горящих фонарей, появляющихся и исчезающих людей и вещей, бесконечных случайных встреч, событий и картин жизни, в который его послала Сила, а впереди ждет темное, тесное, страшное. Почему он должен добровольно отвернуться от великого внешнего мира, который он явился спасти? Он отступил на шаг от Джордана и повернулся лицом к нему.

— Нет, — сказал он. — Я не хочу идти туда дальше. Не желаю. Мне надо вернуться. Созвать учеников и сделать еще очень многое.

На полной луне джордановской физиономии появилось недоверчивое изумление, перешедшее в ярость.

— Чего? — вопросил он. Сделал гигантскую паузу после «чего», а затем выпалил: — А ну без штучек, старый хрыч! — Его огромная красная лапа вцепилась в плечо Саргона. Узкие губы растянулись, зубы оскалились, глаза выпучились еще больше. Схватил он не для того, чтобы удержать, а чтобы стиснуть, защемить, смять, и почти сомкнул пальцы между мышцей и костью. Саргон посмотрел на него расширившимися глазами и невольно вскрикнул от боли.

Хватка ослабла от резко болезненной до просто неприятной, и огромная физиономия приблизилась к лицу Саргона. Стало ясно, что мистер Джордан ублажал себя сыром и какао.

— И думать не смей, дурень старый! И думать не смей, чтоб тебя! Что да как, а тут и думать не смей. Ты же соображаешь, что я тебе говорю. Понял? Ты тут делаешь, что тебе говорят, и никаких! Что тебе говорят, то и делаешь. Ты постарайся, чтоб никаких хлопот, и я буду по-хорошему. Но если за штучки примешься, тут уж на Бога уповай. Понял?

И он снова стиснул плечо Саргона.

— Дошло?

Синие глаза словно бы ответили «да».

— Вот сюда по коридору, чтоб тебе пусто было! — сказал мистер Джордан.

Расстроенный, недоумевающий, но еще не сломленный Саргон был отведен в сырую захламленную ванную, в которой сломанный стул, лужи на полу, большие мокрые пятна на стене и смятые полотенца в углу словно бы указывали на недавнюю схватку. Там его заставили раздеться, окунуться в еле теплую ванну, вытереться полотенцем, которым кто-то уже пользовался, надеть серую ночную рубашку сомнительной чистоты, серый, почти дерюжный халат, откровенно грязный, и пару шлепанцев, размера на два больше его ноги, и в этом одеянии мистер Джордан, несколько умиротворенный послушным и быстрым исполнением его приказов, отвел Саргона в палату, где ему предстояло провести ночь.

Появился рыжий человек с очень светлыми ресницами.

— Вот он, мистер Хиггс, — сказал мистер Джордан.

— Кровать я ему приготовил, — сказал мистер Хиггс. — Сколько их там еще?

— Прямо не сосчитать, — сказал мистер Джордан.

— Трое, — сказал мистер Хиггс.

— Ну, — сказал мистер Джордан. — Покедова.

— Покедова, — сказал мистер Хиггс.

Ни тот, ни другой не обратился к Владыке Всего Мира прямо. Словно он был пакетом, переданным из рук в руки.

###### 3

Когда Саргон вошел в палату для наблюдаемых больницы на Гиффорд-стрит, ощущение, что он расстался с жизнью, простой будничной жизнью, оставил ее где-то далеко позади себя, за всеми эти серыми переходами, коридорами, лестницами, стеклянными кабинетами, высокими стенами, маленькими дверями, неизмеримо усилилось. Никогда он не видел ничего столь унылого и безотрадного, как это место. Палата была бездушной большой комнатой с разводами пятен на стенах, выкрашенных серо-зеленой краской, освещенной двумя-тремя лампочками без абажуров, тускловатыми, не отбрасывающими теней. За незанавешенными окнами виднелись черная ночь и сально поблескивающая под фонарями кирпичная стена. Судя по двум выступам на половине длины помещения, прежде палат было две. Натертые половицы без единого коврика. В глубине у стены стоял стол с двумя-тремя рваными, смятыми журналами, а в конце виднелся пустой камин. В ближней половине стояли рядами железные кровати — всего двадцать, если не все тридцать. Воздух пронизывала вонь — слабая, и все же неописуемо отвратительная — запах экскрементов, заглушаемый густым запахом мыла.

Даже будь она необитаемой, эта холодная, большая, дурно пахнущая комната показалась бы Саргону отталкивающей. Ведь мистер Примби даже в дни своей бедной юности всегда жил в уюте: под ногами у него были ковры, пусть и потертые, а вокруг — обилие мебели, а на стенах — глупенькие человечные картины, и бра, и безделушки на полочках. А здесь среди этой суровой простоты, казалось, будто свойственного людям хлопотливого стремления украсить, сделать удобным свое жилище никогда и нигде не существовало.

Однако странная бездушная атмосфера этого места произвела впечатление на Саргона лишь в первые секунды. А затем его вытеснило куда более важное и страшное открытие, что в этом месте обитали существа, которые лишь на первый взгляд казались людьми. При втором взгляде становилось ясно, что это не совсем люди: они либо не обернулись к нему при его появлении, как положено людям, либо отозвались на него странными, неестественными телодвижениями. Некоторые лежали в кроватях, другие, жалко и неряшливо одетые, сидели, кто на своей кровати, кто на стульях в дальней части палаты. Двигался только один — молодой человек с серьезным лицом, который сосредоточенно расхаживал, а точнее описывал круг за кругом в углу. Один из сидящих, казалось, смахивал с лица паутину непрерывно повторяющимся однообразным жестом. За стол у стены втиснулись двое мужчин, и один, одутловатый пентюх с глянцевитой розовой кожей и завитками рыжих волос на голой груди, бешено барабанил веснушчатым кулаком по столу, что-то говоря голосом, который то повышался, то понижался, а иногда разражался ругательствами; второй же, тощий, скелетообразный субъект, бледный до зеленоватости, казалось, был погружен в неизбывное отчаяние. На кровати ближе к Саргону молодой человек с гривой черных волос и выражением бессмысленного удовольствия на лице, которое с драматической внезапностью переходило в яростное торжество или мягкую ясность, сидел, размахивал руками, сочиняя и декламируя бесконечное стихотворение, несколько в манере Браунинга. Вот такое:

Бог сразит их,

И поразит их.

Если верх возьмут,

Бог тут как тут.

Спалит их.

Сожжет во прах, спалит в атомы

Атомы!

Горящие атомы — прямо звезды. Смотри!

Звезды в бездне, я их настиг.

Бездна атомов, Богу негде явить свой лик.

(ВОСТОРГ ОТКРЫТИЯ.)

У Бога нет лика.

Вот оно, вот оно, братья!

Атеисты врут, богословие врет,

Все всё понимают наоборот.

И мне дано им сказать!

Бог-то есть, только Бог безлик.

Вот он и не может явить свой лик.

Вся загвоздка тут.

Ну и думают все, будто он — non est[[7]](#footnote-7),

А он есть, как узнал я и влип.

Я ж погиб.

Зато я открыл для всех:

Лика нет — вот-то смех!

Бога в бездне сыскал я, не глядя,

В маске и в легкой досаде.

Quod erat demonstrandum X. L....[[8]](#footnote-8)

— Вот ваша кровать, — сказал мистер Хиггс у плеча Саргона, слегка его подталкивая.

Саргон шагнул с некоторой неохотой, не спуская недоуменного взгляда с декламатора.

— Еще успеете его наслушаться, — сказал мистер Хиггс. — Ну-ка в кроватку.

Понуждаемый отчасти рукой мистера Хиггса, а отчасти природной уступчивостью, Саргон лег в кровать. Мистер Хиггс поспособствовал ему с братской грубоватостью. Но прежде чем Саргон успел натянуть одеяло, мистер Хиггс, посмотрев через плечо, увидел, что дальше в палате что-то происходит — что именно, Саргону видно не было.

Во мгновение ока властное добродушие мистера Хиггса сменилось бешенством.

— Ейпс, черт грязный! — сказал мистер Хиггс. — Ты опять за свое!

Он покинул Саргона и быстро побежал через палату. Саргон сел на постели посмотреть, что происходит. Другие пациенты тоже приподнялись. Мистер Хиггс ухватил сидевшего на стуле очень грязного старика со страдальческим лицом, энергично приподнял, снова посадил и несколько раз ударил с большой силой. Затем мистер Хиггс удалился, чтобы тут же вернуться с ведром и тряпкой, продолжая свои увещевания.

Ибо мистер Хиггс был не только санитаром, приставленным ухаживать за душевнобольными, но в целях экономии еще и уборщиком палаты. В военно-морском флоте его воспитали в понятиях сияющей чистоты, и полы он отскребал лучше, чем ухаживал.

— Эй вы там, ложитесь! — крикнул мистер Хиггс, проходя по палате с ведром. — До вас это не касается!

Владыка Мира лег.

###### 4

Потолок был ничем не примечателен, разве что цепочкой желтоватых пятен, но уж лучше было смотреть на потолок, чем на этих жалких людей вокруг. Они вызывали жалость и отвлекали, а Саргон понимал, что ему нельзя отвлекаться, надо сосредоточиться и обдумать свое положение, прежде чем с ним случится что-нибудь еще. Все эти стремительные события сменялись так неожиданно и бурно за какие-то несколько часов с той минуты, когда он обозрел Лондон с купола собора Святого Павла и решил, что настал срок вступить в положенное ему Владычество над Миром, — и вполне возможно, пришел он к выводу, что его могли одолеть. Какой безмятежной и давней представлялась эта панорама Лондона, раскинувшегося в янтарном свете солнца между дальними голубыми холмами и сверкающей рекой, с лесом мачт в порту и черными вереницами снующих внизу людей-муравьев. И оттуда он быстро и неизбежно перенесся в эту гулкую тюрьму. Ведь он понял, что это тюрьма. Он прекрасно знал, что люди вокруг — сумасшедшие, и что его схватили, как помешанного, но он принял палату для предварительных наблюдений за сумасшедший дом. В самых бредовых своих видениях он и помыслить не мог, что Сила, властвующая надо всем, обойдется с ним подобным образом. Возможность краткого тюремного заключения, сурового, но публичного суда над ним, из которого он выйдет победителем, — ее он допускал, но только не то, что его вот так запрут, лишат всякой надежды на гласность. Необходимо было заново обдумать положение вещей, установить скрытый смысл этих чудовищных происшествий, понять, какой он должен извлечь из них урок, сообразить, как ему следует поступать в таких ни с чем не сообразных обстоятельствах.

Но было очень трудно сосредоточиться, когда хриплый голос в глубине комнаты испускал гнусные угрозы по адресу санитара, а тяжелый кулак вдруг начинал барабанить по столу, а совсем рядом непрерывная, нескончаемая, журчащая декламация то почти затихает, так что невольно напрягаешь слух, чтобы улавливать слова, то переходит в восторженные захлебывания. Подолгу все ограничивалось нагромождением бессмыслиц, и Саргон начинал пропускать их мимо ушей, ища выхода из собственных затруднений, и вдруг обрывки складывались в единое целое, находя отклик в самых заветных его думах.

Природа, старая Мразь, а не мать,

Похотью, болью привыкла нас подгонять.

Чтоб вернулись мы в никуда опять.

Из никуда в никуда опять.

Захоти — и лишь муки найдешь.

Из грязи вышел и в грязь уйдешь.

Жажда грязи и грязь сожалений,

Грязь наших желаний, грязь наших рождений.

Как ни старайся, ни пудри себя и не крась,

В белоснежной манишке ты все-таки — грязь.

«Правда ли это? — спросил себя Саргон. — Правда ли? Грязь? А что есть грязь?» Но нет! Он не должен отвлекаться на этот сумасшедший бред! О чем он, бишь, думал? Он спрашивал, почему Сила ввергла его в это жуткое место? Почему Сила привела его в это место? Если бы этот человек хоть ненадолго прекратил свою импровизацию, он бы сумел найти ответ. Почему он был отдан на произвол Джордана и Хиггса, чтобы жить среди помешанных и (внезапный фантастический побочный вопрос)... и они-то почему?

Только бы кончились эти стихи! Только бы этот голос замер в безмолвии! И опять сыпался один только мусор, будто мысль выломали киркой, погрузили в повозки и пустили под откос. Не слушай этого, Саргон! Не слушай! Сосредоточься!

В старании сосредоточиться Саргон забыл даже про Хиггса, сел на постели и подтянул колени почти к самому подбородку, погрузившись в размышления.

Он — Саргон, в этом все дело. И он должен остаться Саргоном. Вероятно, он очутился в этом месте бед и мук из-за противоречия между фактом, что он Саргон, и возможностью, что он регрессирует в Примби. Да Сила призвала его быть Саргоном, служить, страдать и в конце концов управлять Всем Миром, но совершенно очевидно, призыв этот не был простым и прямым. Что-то действовало против его жребия, какая-то Анти-Сила, противоборствующая Силе, старающаяся вернуть его к Примби и примбизму, к тому, чтобы быть мелким и незначительным, жить незаметно, без всякой цели, чтобы наконец умереть и стать абсолютно и бесповоротно мертвым. Эта Анти-Сила сделала так, чтобы его пугали и мучили, оглушали сумасшедшими виршами, внушали ему монотонным въедливым голосом, что он — грязь, а у Бога нет лика, и еще множество подобных кощунств. Но в них нет ни капли правды. Пусть Анти-Сила говорит, говорит — Господи, пусть он хоть немного помолчит! — но истина находится вне этого места, она больше этого места и во всем его превосходит. Сам он един, Саргон был един с самого начала в Шумере и во многих землях, а теперь здесь — тот же дух, повелитель, который служит, такое же единый, как Лондон един, если смотреть на него с высоты. Бесконечно множественный и все же слитый в единую личность. И так же един весь мир. Быть Примби значило уподобиться жалкому домишке в узкой улочке где-то там внизу, поглощенному общей целостностью. Никогда больше он не будет Примби, даже если бы захотел. Вот чего ему следует держаться. А быть Саргоном он может, только отвергнув Примби, — даже пусть это угрожает ему смертью.

И все это время Анти-Сила оскорбляла жизнь и его с помощью помешанного поэта и его декламации. Тот теперь подпал под чары завораживающего, но мерзкого слова (если такую пакость можно назвать словом!) «тру-ля-ля».

Тру-ля-ля. Тру-ля-ля.

Так звучит оно,

Злорадности полно.

Тру-ля-ля. Тру-ля-ля.

Всех времен и всех мест великих

Насмешкой веселой богов безликих.

Тру-ля-ля дождь иль тру-ля-ля ведро,

Ешь, пей, целуй их, и снова бодро.

Тру-ля-ля. Тру-ля-ля.

Целуй их, и целуй их, и снова бодро.

Снова бодро!

Тру-ля-ля!

Он разнообразил декламацию громким взрывным звуком, который производил, проводя губами по тыльной стороне ладони.

— Прошу, не сочтите меня циником, — сказал он Саргону. — Это чистейшая Радость Вживе.

Саргон не сдержался. Навязывать такое кощунственное поучение самому восстановителю человечества! Внезапно уставив на него грозный перст, он сказал громко и резко:

— Вы заблуждаетесь!

Поэт поглядел на него и с приветственным жестом сказал:

— Тру-ля-ля-ля.

— Говорю вам, жизнь реальна! — вскричал Саргон. — Жизнь колоссальна. Жизнь исполнена порядка и смысла. Я пришел сказать это вам и всем людям.

Поэт с улыбкой вежливо перебил его:

Тру-ля-ля. Тру-ля-ля,

Жизнь — икота, чих могучий,

Жизнь — вонь навозной кучи,

Жизнь — пустяк, тебе же лучше!

Тру-ля-ля. Тру-ля-ля.

Он продолжал, но Саргон не желал его слушать и повысил голос, чтобы заглушить голос своего противника:

— Говорю тебе, жалкая душа! Ты в заблуждении и слепоте, — сказал он. — Ибо на меня снизошел свет, и мне дано понимание. Ты не погибшее существо, каким мнишь себя, или, во всяком случае, все поправимо. Да! Я тоже был погибшим существом, подобным тебе, и еще совсем недавно. Я тоже считал, будто я песчинка, обломочек, ничтожество. Но я услышал зов и был призван созывать других принять со мной участие в великом пробуждении. Мне было видение, и я увидел мир, точно пробудившись от долгого сна. Все сущее находится в единении, и действует едино, и продолжается вечно.

Поэт сморщил нос и махнул на Саргона рукой, словно отбрасывая нечто, оскорбляющее его вкус.

— Тру-ля-ля! — закричал он.

— Все сущее, говорю вам, едино, и действует едино...

— Тру-ля-ля! — заметно громче.

— Говорю вам! — много громче.

— А ну там, заткнитесь! — вскричал громкий и гневный голос Здравого Рассудка, воплощенного в мистере Хиггсе. — У вас сейчас вся палата визжать начнет, — сказал мистер Хиггс, приближаясь и обращаясь к Саргону тоном благого увещевания. — Заткнись.

И после краткого размышления Владыка Всего Мира покорился.

Жестом, исполненным высочайшего достоинства, он показал мистеру Хиггсу, что его грубые требования приняты во внимание.

— Вот и ладненько, — сказал Хиггс. — Вы-то удержитесь, если захотите. Так что и помалкивайте. Он-то не может.

Поэт продолжал мягко, негромко и въедливо чернить и поносить веру Саргона под припев: «Тру-ля-ля. Тру-ля-ля».

###### 5

Саргон сидел на кровати совсем неподвижно, только чуть поворачивая голову, оглядывая окружающих, и хранил молчание. Его недавняя вспышка каким-то образом утишила раздражение от бесконечной декламации. А она продолжалась: то по-безумному убедительная, то резкая и бурная, то просто журчание бессмысленных слов, она струилась мимо него и через него. Теперь она прямо адресовалась ему, но теперь ему удавалось ее игнорировать. Он сидел, смотрел на людей вокруг и предвидел нескончаемые страшные часы, которые, несомненно, ему предстояли.

Но дальше надвигающейся ночи он не заглядывал. Она представлялась ему вечностью.

Он знал, что этот резкий, ничем не смягченный электрический свет, который проникал сквозь его веки, как бы плотно он их ни зажмуривал, будет гореть всю ночь; он знал это, потому что заметил взгляд, который Хиггс бросил на буйного мужчину с рыжими волосами. В тот же миг он понял, что Хиггс боится этого рыжего с глянцевитой розовой кожей и не посмеет погрузить палату в темноту, не посмеет устроить в ней даже сумрак, чего бы ни требовали правила или обычаи. И еще он понял, почему Хиггс время от времени выходил из палаты — он уходил удостовериться, что Джордан или какой-нибудь еще служитель неподалеку и сразу прибежит на помощь. Да, этот свет будет, безусловно, гореть всю ночь, да и поэт, пожалуй, будет продолжать, а рыжий через какие-то промежутки будет барабанить по столу и кричать, а еще один — вдруг разражаться глухим воплем. И будет много неприятного — всякие шумы, приближающиеся и удаляющиеся шаги. А потому, чем улечься в безнадежной попытке уснуть, можно и дальше сидеть так и думать. Думать можно всегда. Ну, конечно, устав, перестаешь думать прямолинейно, а думаешь кругами, кругами, но все равно ему остается только бодрствовать и думать. В этом месте заснуть невозможно. Глаза, уши, нос слишком уж тут оскорбляются. Кто-нибудь когда-нибудь спал здесь, безумный или здоровый?

Поэтому ему оставалось только сидеть на кровати и думать, сидеть и думать, быть может, задремывать, позволяя мыслям перейти в сон, пока какой-нибудь внезапный шум или вскрик не вернет их ему назад.

Самая длинная ночь должна когда-нибудь кончиться.

И тут между сном и бодрствованием Саргон внезапно увидел нечто ужасное. То есть это зрелище поразило его нервы ужасом. Через две кровати от него лежал исхудалый молодой человек, и голова его была приподнята. Ее не поддерживали подушки, она была в шести дюймах над подушкой. И оставалась в положении, на которое было мучительно смотреть. Лицо молодого человека выражало лишь безмятежность и гордое удовлетворение такой окостенелостью. Невероятно! Может, существуют невидимые подушки? Или это иллюзия? Сонные глаза Саргона его обманывают?

На следующей кровати лежал и не спал человек, повернув лицо к Саргону. Их взгляды встретились. Не было произнесено ни слова, не сделано ни единого жеста, но оба испытали невыразимое облегчение. Потому что их глаза были одинаково нормальные, и каждый обрел поддержку в другом. «Это так, — сказали они. — Это странно, но твои глаза тебя не обманывают. Таков недуг молодого человека».

Саргон кивнул. Второй нормальный человек кивнул в ответ, а потом повернулся на другой бок, как утешенный ребенок, чтобы уснуть. Но уснет ли он?

Это открытие подтолкнуло Саргона еще раз оглядеть палату. Да, вон те тоже могут быть нормальными, нормальными, как он, угодившими в ловушку, как и он. Вон еще один человек по ту сторону прохода — с бородкой, очень, очень грустный человек, но и в его глазах светится разум.

Завтра Саргон обязательно подойдет к ним поговорить, расскажет о себе, обсудит страшное положение, в котором они находятся. Но не сейчас так как Хиггс, конечно, вмешается. Уже очень многое раздражило Хиггса. Было ясно, что он легко раздражается, и лучше больше ему на нервы не действовать. Пока остается только сидеть и думать.

Что такое сумасшедшие и что такое сумасшествие?

Для чего Высшая Сила подняла его над будничными делами и фантазиями его обывательской жизни и открыла ему бессмертие, почему ему были показаны его бесконечные судьбы и даровано видение всего мира, как его сферы, для того лишь, чтобы отторгнуть его от жизни, света, свободы и ввергнуть в этот серый подземный мир безумных? Нет, это не может быть просто так. В этом должен быть смысл.

И тут же по его сознанию пронесся ветер второго вопроса. Сила, которая его призвала, и призвала словно бы лишь для того, чтобы привести в это место, обрекла на те же ужасы всех других тут. *Зачем* ? Для него это, возможно, лишь испытание, но для всех остальных, чьи души действительно были разъяты и исчезли? Что Сила делает с ними?

Система сущего в сознании Саргона заколебалась и начала распадаться. Если это сделала не Сила, то Анти-Сила. Следовательно, должна существовать Анти-Сила, почти столь же могучая, как Сила, способная вырывать людей из жизни, обрекать на смятение, унижения и вечную смерть. Или же... *не существует ничего* !

Он застыл, подпирая подбородок кулаком, слепо вглядываясь в последнюю черную возможность.

Так этот зов, эта его миссия — всего лишь самообман и заблуждение? И он был обманут в Танбридж-Уэллсе, когда впервые услышал зов восстать и пробудиться? И воспоминания о Шумере — всего лишь сны? И он действительно всего лишь Альберт-Эдвард Примби — сошедший с ума? В безумной, бессмысленной вселенной пошлой обыденности? Если так, то он поистине глупейший из всех живущих людей. Отказался от безопасности и уюта, солидных, пусть и ничтожных, бежал от своей милой Кристины-Альберты, повинуясь Силе, которая была не более чем плодом его собственного воображения, и погнался за призрачной целью. Дни и дни он изгонял Кристину-Альберту из своих мыслей; она была скептиком, союзницей Анти-Силы. И вот она вернулась — слишком решительная и опрометчивая, но просто девушка. И он бросил ее самой о себе заботиться, лишил своих выговоров и предостережений. Что с ней сейчас? Какие опасности и беды уже могли ее постигнуть? Прежде ему не приходило в голову, что его исчезновение может огорчить ее и ввергнуть в опасности. Теперь он ясно видел, что так и произошло.

Явился враг и завел с ним откровенный спор. «Ты был дураком, Альберт-Эдвард Примби, — сказал враг. — Ты поставил себя в очень опасное и тяжелое положение, ты бросил положенную тебе жизнь ради ужаса полной пустоты. Вернись. Вернись, пока еще есть шанс вернуться».

Но может он вернуться?

Да. Сделать это можно. И так просто! Скажет прямо, что вспомнил свое настоящее имя. Попросит, чтобы ему дали поговорить с врачом, с директором, короче, с тем, кто тут начальствует над Джорданом и Хиггсом и их коллегами; назовет свое имя, сообщит адрес студии, и адрес своих банкиров, и адрес прачечной, и так далее; будет говорить очень просто и спокойно, признает, что вел себя странно — но припадок уже прошел. И он вернется из этих мрачных теней назад в мир. И сердце Кристины-Альберты возрадуется...

Он подумал о ней — энергичной, доброй, чуть-чуть антагонистичной. Если бы только он мог увидеть ее сейчас! Увидеть, как она идет по длинной палате к нему, спасти, освободить...

И тогда он будет просто Примби до конца своих дней, окруженным удобствами Примби, Примби на обочине, зрителем, никчемным безгласным человечком на заднем плане шумной студии. Но многому придет конец. Он уже никогда не посетит ни единого музея, не будет в сумраке букинистической лавки листать пропыленные забытые книги об исчезнувших городах и загадочных символах. Не будет больше размышлять о чудесах и тайнах Атлантиды, о пропорциях пирамид и обо всех величественных загадках прошлого и будущего. В его жизни не останется никакого чуда, ибо он попытался приобщиться к чуду и обнаружил, что это лишь самообман. Все это — лишь старые побасенки и фантазии о том, чего никогда не будет. Прошлое и будущее умрут для него. Дни станут скучными и пустыми — такими, как раньше. Мыльный пузырь его жизни лопнет.

А на другом пути ждут боль, унижение, грубое обращение, отвратительная еда. Всякие гнусности, испытания, которые могут его сломить, но впереди по-прежнему будет манить Сила.

Он подумал о том, что принадлежало Саргону: о Силе, о больших городах, подобных единой великой вечности, обо Всем Мире, о мистическом обещании звезд, обо всем, от чего он должен был отречься сейчас и стать Примби, простым благоразумным Примби — и так до конца его дней, если он решит уйти из этого места.

Он сидел так бесконечно долго, как ему казалось, неподвижно, в глубоких размышлениях, хотя уже знал свой ответ. И наконец он заговорил.

— Нет, — сказал он хриплым голосом, который перешел почти в крик. — Я Саргон, Саргон, слуга Бога. И Весь Мир принадлежит мне!

###### 6

Далеко за полночь Саргон все еще сидел в этом жестком липком свете среди шума и беспорядка. Он давно потерял счет времени, а часы у него отобрали. Глухой ночью он молился, а порой немножко плакал.

Он молился. Иногда у него слагались фразы, и он шептал их про себя, а иногда фразы так и не облекались в слова и скользили через его сознание подобно змеям, которых видишь сквозь толщу темной воды. «Велик труд, который ты возложил на меня. Теперь я вижу, о Владыка, что недостоин свершить и самое малое из того, что поручено мне. Я не достоин. Я маленький человек, и я глупый человек, и все, что я пока сделал, было глупостями. Но ты призвал меня, зная о моей глупости. Прости же мне мою глупость и укрепи мою веру». Он сидел молча и неподвижно, а по его щекам катились слезы.

— Любая кара и любые испытания, — прошептал он наконец, — лишь бы ты не покинул меня, не исчез из моего мира.

Он молился, чтобы Сила все-таки сделала его слугой мира, и добавил, растерянно запинаясь, «как было в древние дни».

А были когда-нибудь эти древние дни? Шумер теперь отодвинулся от него очень далеко. Белые города, и голубая река, и речные ладьи растворились, и поклоняющиеся толпы остались в его сознании лишь слабым мазком, словно исчезающее из памяти сновидение. Некоторое время он ничего не говорил, а затем произнес очень громким шепотом:

— Помоги моему неверию.

Иногда он молился шепотом, а иногда он молился безмолвно, а иногда сидел в оцепенении. Раза два подходил Хиггс, смотрел на него, но оставлял в покое. Стихи на соседней кровати продолжали журчать, но теперь они превратились всего лишь в ритмичный поток кощунственных непристойностей.

Какое-то время после того, как он кончил молиться, Саргон, видимо, спал. Несомненно, спал, потому что его разбудил рассвет. И рассвет не наступил постепенно: он проснулся, а уже совсем рассвело.

Палату заполнил холодный свет без полутеней, и электролампочки, которые казались такими слепящими, стали просто светящимися оранжево-желтыми нитями. А в дверях стоял Хиггс и внимательно щурился на рыжего, который спал, положив голову на стол... но, может, лишь притворялся спящим.

###### 7

Только во второй половине следующего дня два незнакомца явились увидеть Саргона. Его проводили к ним, они немного поговорили с ним, но беседовали главным образом между собой. Хиггс сменился с дежурства, но на заднем плане маячил Джордан.

Эти джентльмены не объяснили Саргону, что им от него требовалось. Один был низеньким в черном сюртуке. Он щеголял золотой часовой цепочкой и пышным галстуком, заколотым булавкой с драгоценным камнем. Остренький носик венчало пенсне в золотой оправе, бритое лицо было пухлым и белым, а рот выглядел косым разрезом, который заступ оставил в коме теста. Говорил он, пофыркивая и пришептывая, явно куда-то спешил, и был раздражен, что его позвали осмотреть Саргона. Второй был массивным, седым, выглядел измученным, и почему-то у Саргона возникло впечатление, что он — врач и переживает какие-то личные неприятности. Он как будто считал, что вести разговор положено ему, и иногда справлялся о той или иной подробности у услужливого Джордана.

— Как я понял, — сказал человек с тестоподобным лицом, — вы хотели устроить званый обед для довольно пестрой компании, э? В «Рубиконе». Полагаю, желание это возникло у вас довольно неожиданно? Э?

— Я хотел побеседовать с некоторыми людьми, — сказал Саргон. — Возможно, это было ошибкой с моей стороны.

— Без сомнения, это было ошибкой, мистер... мистер...

— Требует, чтоб без мистера, — сказал Джордан на заднем плане. — Называет себя Саргоном.

Врач сразу словно подобрался.

— Это ведь какое-то историческое имя? — спросил он, искоса бросая сверлящий взгляд.

— Да, — сказал Саргон.

— Но это же не ваше имя, знаете ли.

— Возможно, что и нет. Я хочу сказать... Это мое единственное имя.

— Ну и ответ, ну-ну! — сказал человек с тестоподобным лицом. — Только подумать.

— А ваше настоящее имя? — спросил врач настойчивым тоном.

— Саргон.

— А не мистер А.-Э. Примби!

Саргон уставился на него, возможно и несколько диким взглядом.

— С Божьей помощью, НЕТ! — сказал он.

— А мистер Примби вообще существовал? — спросил врач.

— Теперь это значения не имеет. Теперь это не важно.

— Возможно, что и важно, — сказал человек с тестоподобным лицом.

— А теперь вы Царь, или Владыка, или еще кто-то, и вам принадлежит мир?

Саргон не ответил. У него было ощущение, что он попал в сети.

Доктор обернулся к Джордану, сделал ему знак, и они заговорили шепотом. Саргон уловил только фразу мистера Джордана:

— Хиггс сам слышал.

— Разве вы не зоветесь Саргоном Великолепным? — спросил врач.

Саргон скорбно склонил голову.

— Вернее меня было бы называть Саргоном Недостойным. Многое мне не удалось.

Человек с тестоподобным лицом посмотрел на врача.

— По-моему, этого вполне достаточно, — сказал он.

— Моя совесть чиста, — сказал врач. — Собственно, заключение уже составлено.

— Если вы удовлетворены, доктор Маннингтри, то и я вполне. Если я должен осмотреть и всех остальных.

— Документы у меня в кабинете в полной готовности, — сказал врач.

— Чудненько, — сказал человек с тестоподобным лицом.

— Так любезно, что вы заехали сегодня. Я бы не стал беспокоить вас до завтра, но мы, право, переполнены. И один явно опасен. Санитарам он очень не нравится. Вам достаточно будет просто взглянуть на него. Да и на остальных тоже. Совершенно ясные случаи. Остается только подписать направления.

Они теперь говорили так, словно Саргона тут не было или словно он был неодушевленным предметом. Впрочем, таким он и стал для них. Для них он уже перестал быть членом человечества.

— Для чего вы со мной разговаривали? — внезапно спросил Саргон: то, что было сказано и сделано, породило в нем смутный страх.

Тон врача изменился. Он словно обратился к маленькому ребенку.

— Вы сейчас вернетесь в постель, — сказал он. — Джордан!

— Но я хочу знать...

— Идите с мистером Джорданом.

— О каких документах вы говорите?

Врач, не отвечая, повернулся к Саргону спиной, а человек с тестоподобным лицом открыл дверь, собираясь выйти. Саргон шагнул к ним, но Джордан положил руку ему на плечо.

И пока рука Джордана более настойчиво, нежели мягко, влекла Саргона в постель, судья и врач заполняли и подписывали форменные бланки, которые требовались, чтобы лишить его практически всех человеческих прав. Ибо в Британии не существует суда присяжных и закона о неприкосновенности личности для несчастного, обвиненного в сумасшествии. Он не может доказывать свою невиновность, и ему не к кому апеллировать. Он может писать жалобы, но их не станут рассматривать, его самые убедительные доказательства окажутся бессильны перед утверждениями самого тупого служителя. Его отдают почти в полную власть необразованных, плохо оплачиваемых, плохо питающихся и перегруженных работой санитаров. Вначале каждая ночь и каждый день кажутся ему бесконечными, а потом ночи и дни сливаются в привычный круговорот, теряют смысл и проходят все быстрее. Ему почти все время причиняют всякие телесные неудобства, он все время нездоров из-за скверно приготовленной, а иногда и несвежей пищи, мучается из-за того, что его пичкают медикаментами, и в частности, сильнодействующими слабительными. Только на касторку щедры наши приюты для умалишенных. У него есть веские причины опасаться многих из его товарищей, причины, и не менее веские — заискивать перед санитарами. Врач мало во что вмешивается — медицинский штат, не получивший специального психиатрического образования. Врачи совершают обход в положенные часы, избегая хлопот, старательно ничего не замечая.

Да и в конце-то концов, что они могут сделать? Ни увеличить расходы на питание, ни повысить заработную плату санитаров. Их назначают экономить, а не транжирить деньги налогоплательщиков. Санитары действуют рука об руку и покрывают друг друга. Они должны держаться вместе — многие испытывают вечный страх перед буйными пациентами. Иногда после надлежащего уведомления приют формально инспектирует судейский чин. Все перед его посещением приводится в полный порядок. Пациент, у которого есть жалобы, не осмеливается обратиться к нему, или не знает, как это сделать, или не умеет связно изложить суть своей жалобы. Рядом все время санитары, чтобы истолковать, пугнуть или объяснить. И без надежды на спасение бедняга, лишь слегка ненормальный, подвергается грубому обращению, получает скверную пищу и неудобную одежду, круглые сутки находясь в обществе умалишенных. Нормальным людям тяжело переносить причуды, буйства, непредвиденные выходки и невнятицу истинно безумных, так каково ж приходится тем, которых коснулась та же черная тень? Им негде уединиться, они не могут укрыться от остальных, они не знают ни минуты покоя. Наш мир скучивает эти свои отбросы подальше от своих глаз, запирает, тратит на них так мало, что они не получают ни хорошей пиши, ни хорошего ухода, и мужественно делает все, что в его силах, чтобы забыть о них.

И наш Саргон, который чувствовал себя немного потерянным даже во внешнем мире с его привычным укладом и свободой, теперь должен отправиться в этот темный подземный мир. Еще два дня его продержат в больнице на Гиффорд-стрит в ожидании, когда властям будет благоугодно им распорядиться, а затем в обществе еще четырех заключённых его отошлют в даже еще более унылое, тоскливое и безвестное узилище внутри скученных за стенами и оградами зданий Каммердаун-Хилла.

Итак, теперь он на время исчезает из поля зрения нормального человечества, и точно так же он на время исчезнет из этой повести. Было бы нестерпимо рассказывать хоть сколько-нибудь подробно о каждодневных его страданиях и унижениях.

## Книга III

## Воскресение Саргона, Царя Царей

### Глава I

### Кристина-Альберта в поисках отца

###### 1

До сих пор Кристина-Альберта смотрела на жизнь смело, презрительно и победоносно. Осторожность и оговорки других были не для нее. Она не видела причины для их благоразумных колебаний, их условностей и сдержанности. И вот впервые она познала растерянность. Ее папочка исчез в мире, который, как она внезапно осознала, может быть крайне жестоким. Тедди был подонком, таким откровенным подонком, что только дура, поглощенная собственными ощущениями, была способна связаться с ним. После исчезновения ее папочки она почти всю ночь пролежала без сна, кусая руки и проклиная Тедди. Лэмбоун, прекрасный друг, был ленивым, непрактичным размазней. Гарольду и Фей ее несчастье, казалось, уже немного надоело, и они словно бы слегка винили ее за то, что она привезла своего папочку в Лондон. А больше ей обратиться было не к кому. У нее никого не осталось — кроме самой Кристины-Альберты, которая чувствовала себя немножко запачканной и не в шутку боялась.

— Но что же мне делать? — вновь и вновь вопрошала она ночь в своей душной, но вполне артистичной спальне.

Положение ее усугублялось тем, что наличных денег у нее оставалось меньше фунта.

Следует указать, что целых два дня Кристина-Альберта воздерживалась от естественного шага и не обращалась в полицию. Странный инстинкт подсказывал ей, насколько опасно навлечь на своего чудаковатого, беззащитного папочку внимание полиции, как и всей социальной структуры вообще. В ней жило врожденное недоверие ко всем официальным лицам. И заставил ее пойти в полицию Пол Лэмбоун. У него достало совести устыдиться своей ненадежности, и спустя два ясных дня он пришел в Лонсдейлское подворье вновь предложить свою великодушную, но медлительную помощь. Она как раз пила чай с Фей.

— Кристина-Альберта, — сказал он, выглядя очень внушительной и благодушной аллегорической фигурой Сожаления. — Я все это время не переставал о вас тревожиться. Я так мало помог. Я думал, он вернется сам, и считал весь этот шум несколько преждевременным. Вы что-нибудь узнали?

Желание дать ему хорошую отповедь боролось в Кристине-Альберте с сознанием, что по-своему он ее искренний друг и может оказаться очень полезным.

— Выскажитесь! — сказал Лэмбоун. — Вам станет легче, моя дорогая, когда вы выскажете мне все, а потом мы сможем обсудить положение.

Ему ответили улыбкой, и он приободрился. Ведь он принадлежал к людям, которые ненавидят самую мысль о том, что их может кто-то ненавидеть — пусть даже таракан.

— В это кресло я не сяду, благодарю вас, — сказал он Фей. — Оно слишком покойное. А ведь в любую минуту мы можем что-нибудь придумать, и я должен буду вскочить и действовать.

— По-спартански, — сказал он садясь.

— А? — сказала Фей.

— По-спартански. Мой врач рекомендует говорить это перед каждой едой, а особенно перед чаем. Не знаю зачем. Магия, или метод Куэ, или еще что-нибудь. Это кокосовые кексы? Я так и думал... Отличные. Так что же мы предпримем, Кристина-Альберта?

Он стал серьезным, готовым на вдумчивые советы и все больше и больше походил на человека, написавшего «Как поступить в сто и одном случае». Он заставил Кристину-Альберту признаться в банкротстве и втолковал ей, что ее долг — принять от него в долг двадцать пять фунтов. Затем он разделался с проблемой обращения в полицию, убедив Кристину-Альберту, что сделать это необходимо. Если мистер Примби угодил в скверные руки, чем раньше полиция начнет его разыскивать, тем лучше. Но считал это маловероятным и склонялся к предположению, что Примби поднял шум и его забрали. Он догадывался, что его задержат как душевнобольного. Он предварительно заглянул в эти полезные книги — «Мировой судья» и «Британскую энциклопедию», — продемонстрировав превосходное умственное пищеварение. Кристина-Альберта заметила, что в нем есть задатки хорошего адвоката.

Он увез Кристину-Альберту в такси в Скотленд-Ярд.

— Либо они сами нам скажут, либо скажут, где нам скажут, — объяснил он.

Фей поразилась оригинальности этой идеи.

— Если бы речь шла о пропавшем зонтике, — сказала она, — я бы поняла. Но мне бы в голову не пришло отправиться в Скотленд-Ярд за пропавшим отцом.

К шести часам мистера Примби удалось проследить до Гиффорд-стрит. Но увидеть его на Гиффорд-стрит не удалось. Он был признан сумасшедшим и, по мнению служителя, хотя точно он сказать не мог, подлежал отправке в Каммердаун-Хилл. Пол Лэмбоун держался с важным достоинством и пытался выжать из служителя еще какие-нибудь сведения, но не преуспел. В конце концов они с Кристиной-Альбертой не узнали практически ничего, кроме одного критического и обескураживающего факта: они не смогут ни увидеть мистера Примби, ни узнать чего-либо толком о его состоянии до следующего дня посещений в Каммердаун-Хилле, на какое бы число этот день ни приходился. Тогда, если «посещения не будут ему возбраняться», они смогут увидеться с ним. Служитель был категоричен в своих утверждениях и, судя по его виду, проникся чрезвычайной неприязнью к ним обоим.

Когда они покинули Гиффорд-стрит, Кристина-Альберта заметила, что Лэмбоун очень рассержен. Она еще никто не видела его сердитым. Это была мимолетная фаза. Его щеки порозовели много сильнее обычного.

— Сторожевой пес, — сказал он. — Специально, чтобы грубить людям, расстроенным людям. Казалось бы... человек моего положения... некоторая известность... Право на внимание... В любой другой стране, кроме этой, Литератора уважают.

Кристина-Альберта безмолвно согласилась.

— Манеры для служащего... самое первое.

— Он был отвратителен, — сказала Кристина-Альберта.

— У меня есть кое-что в запасе, — сказал Лэмбоун.

Кристина-Альберта выжидающе молчала.

— Следовало бы сразу обратиться к Дивайзису. О сумасшествии и законах о нем он знает в Лондоне больше всех. Замечательный человек. Я вернусь домой, позвоню ему и договорюсь о свидании. Он нам объяснит, что и как. И я в любом случае хочу, чтобы вы с ним познакомились. Вы оцените Дивайзиса. И, кстати, вы удивительно на него похожи.

— В каком смысле?

— Та же Жизненная Сила и прочее. И физически тоже. Очень. Такой же нос — почти одинаковый профиль.

— Нос, больше подходящий для мужчины, — сказала Кристина-Альберта. — Думаю, что ему он больше идет.

— Это чертовски хороший нос, Кристина-Альберта, — сказал Лэмбоун. — Доблестный нос. И не умаляйте его. Именно ваш нос пробудил у меня вначале интерес к вам. Вы еще подцепите на него мужа, и он будет его обожать. В наши дни женщинам требуется свобода и индивидуальность; им необходимы чеканные черты и достоинство. Времена кокетливых локонов, лебединых шей и бело-розового цвета лица канули в прошлое. Что не мешает вам, Кристина-Альберта, обладать чудеснейшим цветом лица.

— Расскажите мне побольше о докторе Дивайзисе, — сказала Кристина-Альберта.

###### 2

Но познакомилась Кристина-Альберта с доктором Дивайзисом не на следующий день. Она отложила эту встречу на день и помчалась в Вудфорд-Уэллс вследствие примечательного послания Сэма Уиджери.

Уиджери переписывались с Примби только по поводу дивидендов, выплачиваемых за долю мистера Примби в прачечной «Хрустальный пар». Возникновение компании было сопряжено с некоторыми трениями, и мистер Уиджери затаил досаду, которую и изливал в нарочитой сухости и краткости своих писем. И вот это письмо, адресованное «мисс Крисси Примби».

*Моя дорогая Крисси,*  — начиналось письмо.

*Такое огорчительное дело с твоим папашей выразить не могу как я огорчен я сразу поехал в приют куда ты его поместила чуть они мне написали и получил его бумажник и чековую книжку. Очень удачно что они нашли в его кармане мой адрес не то думается я бы остался как всегда в неведении обо всем этом он меня не узнал и отрекался от своей фамилии но потом сказал что знает меня как нечистого на руку торгаша и мошенника и отрезал бы мне уши и угрожал мне. Посадил на какой-то там кол. Я все это обдумал и как ты еще несовершеннолетняя выходит я тебе вроде опекун и должен блюсти твою долю в прачечной а она приносит дохода куда меньше чем мне втирал очки твой папаша. Думаю он уже тогда спятил и не понимал толком что делал и думаю что все это дело с привилегированными акциями на какое я пошел чтоб ему не перечить надо прекратить. Ну да торопиться тут нечего раз тебе не надо платить за него там где он есть мистер Пантер говорит пока ты не станешь вмешиваться и мы всем прочим займемся когда ты оправишься от огорчения что твой папаша свихнулся. Моя супруга посылает свой привет и душевное сочувствие. Будь спокойна и не очень расстраивайся оттого что очень часто это бывает наследственным и лучше соблюдать осторожность а потому предоставь все мне а я остаюсь*

*твой любящий родственник*

*Сэм Уиджери.*

— Жди! — сказала Кристина-Альберта, тут же позвонила, откладывая свидание с Полом Лэмбоуном и Уилфредом Дивайзисом, и с воинственным огнем в глазах понеслась на метро на Ливерпульский вокзал.

###### 3

Когда Кристина-Альберта добралась до Вудфорд-Уэллса, ей почудилось, что прачечная стала чуть-чуть меньше, чем прежде, и ярко-голубые фургоны словно слегка потускнели. Свастики на них были заклеены плакатами, красными буквами объявлявшими: «Под Совершенно Новым Руководством. По всем Вопросам Обращаться к Директору Сэмуэлю Уиджери, Эсквайру. По Заказу».

Она прошла по садовой дорожке к двери дома, который был для нее родным почти всю ее жизнь, и дверь ей открыл сам Сэм Уиджери, увидевший ее в окно.

— Так ты приехала! — сказал он, словно колеблясь, впустить ли ее.

Высокий, сутулый мужчина с широким рябым лицом, без усов и бороды, отвислой нижней губой, большим носом, который при дыхании иногда фыркал, и очень маленькими беглыми карими глазками. Темно-серая одежда плохо на нем сидела, воротничок был обтрепан, а черный атласный галстук с готовым узлом лоснился от ветхости. Жилет у него был расстегнут почти на все пуговицы, пальцы нервно подергивались. Он смотрел на Кристину-Альберту так, словно она оказалась гораздо внушительнее, чем ему помнилось.

— Вы видели папочку? — спросила Кристина-Альберта, сразу переходя к делу.

Он сжал губы и покачал головой, словно вспоминая что-то прискорбное.

— Ему плохо? Он держался странно или... или ужасно?

— Не так громко, моя милая, — сказал он своим хриплым шепчущим голосом. — Мы же не хотим, чтобы о твоей беде услышали все. Пойдем туда, где можно поговорить спокойно.

И он повел ее в маленькую гостиную, где ее отец еще так недавно планировал условия превращения прачечной в компанию с ограниченной ответственностью. Знакомая мебель была переставлена довольно-таки неожиданным образом, а под окно было поставлено большое темное бюро.

Сэм Уиджери затворил дверь.

— Садись, Крисси, — сказал он, — и не волнуйся так. Я опасался, что ты вот так примчишься сюда, но, конечно, был обязан тебе написать.

— Вы его видели? — повторила она.

— Совсем свихнулся, — сказал он. — Устроил беспорядки в ресторане «Рубикон». Хотел закатить там банкет для всех лондонских попрошаек.

— Вы его видели? Он здоров? Ему там плохо? Что они с ним сделали?

— Да не оглушай ты меня вопросами, Крисси. Нельзя же так перескакивать с одного на другое. Я же тебе сообщил в моем письме, что ездил к нему. Они его вызвали, и он вышел ко мне в маленькую комнату.

— Но где это было? Где эта больница?

— Сядь-ка и поуспокойся, девочка. Не могу я отвечать на все эти вопросы сразу.

— Где вы его видели? На Гиффорд-стрит?

— Да. А то где же? Они собирались его перевести.

— Куда?

— Наверно, в какой-нибудь приют.

— В Каммердаун-Хилл?

— Пожалуй, что и так. Да, они сказали — в Каммердаун-Хилл. Ну, он вышел ко мне. Выглядел совсем как всегда. Ну, может, чуть больше обалделым. Пока не посмотрел на меня, а тогда вроде как вздрогнул и сказал: «Я вас не знаю», — сказал он. Вот прямо так.

— Ну, ничего сумасшедшего в этом нет. А вид у него был сумасшедшим или не был? Наверное, ему не хотелось разговаривать с вами. После всего, что говорилось неприятного.

— Может, и так. Ну, я ему сказал: «Как так, не знаешь меня, — говорю, — старину Сэма Уиджери, которому ты подсиропил свою прачечную?» Вот так и сказал — ну, в шутку. По-хорошему, но эдак с юморком. «Я вас не знаю», — говорит, он и хочет уйти. «Погоди-ка», — говорю я и беру его за плечо. «Ты низкий хнычущий мошенник, — говорит он мне, и вроде как пытается меня отпихнуть. — Ты любую прачечную погубишь». Это он-то — мне, а я прачечным делом занимался за десяток лет до того, как он женился на твоей бедной матери. «Хнычущий да в своем уме, — говорю, — мистер Альберт-Эдвард Примби». А он вроде выпрямился. «Саргум, — говорит. — Будьте так добры»...

— Саргон, — поправила Кристина-Альберта.

— Может, и так. А вроде бы «Саргум». Ну, Саргум, и больше никаких. Совсем на этом свихнулся. Я еще попробовал поговорить, да толку что? Ничего дельного или хоть простого я от него не добился. Начал мне угрожать бастинадой, что это там ни есть. Я попросил его не выражаться. «С меня хватит», — говорю санитару, ну, он его и увел. Вот мы и развязались с ним, Крисси.

— Развязались с ним?

— Развязались. А что можно сделать?

— Все! У него был очень несчастный вид? Испуганный, словно с ним плохо обращаются?

— Это с какой стати? Они заботятся о нем как надо и навредить он себе не может.

— Вы уверены, что он выглядел... безмятежным?

— Может, немножко усталым, что ли. Так это от того, что у него в голове творится, так мне думается. Но он там, где ему и надо быть, Крисси. Вот так. Из того, что мистер Пантер сказал, выходить одно: не надо нам вмешиваться. Есть у него все, что ему требуется, живет он на денежки налогоплательщиков. Нам надо о себе подумать. Об этой полоумной затее с привилегированными акциями, которые он прачечной навязал. Вот это — срочное дело. Это ведь выходит почти пятьсот фунтов в год по нынешнему положению вещей. Почти десять фунтов в неделю. Ни одна прачечная в Лондоне такого не выдержит.

— Я должна повидать папочку, — сказала Кристина-Альберта. — Не верю, будто ему так уж хорошо. Я наслышалась всяких ужасов о приютах. Но как бы то ни было, я должна сейчас же поехать к нему.

— Нельзя, Крисси, — сказал мистер Уиджери, медленно покачивая широким землистым лицом из стороны в сторону. — В сумасшедших домах посетителям не дозволяют шляться взад-вперед, когда им взбредет в голову. — Он внимательно следил за ней. — Так не годится, знаешь ли. Бедняг надо держать в покое, не волновать. Пожалуй, я дам тебе письмо для следующего дня посещений...

— Вы! Письмо мне?!

Мистер Уиджери пожал плечами.

— С ним тебя скорее пустят. Но ты от него ничего не добьешься, Крисси, даже если тебя и пустят. И тебе придется подождать дня посещений. Это уж так.

— Я хочу его увидеть.

— Очень возможно. Но правила на то и правила. А пока нам нужно распутаться с делами. Пока он в приюте, думается, мне следует выдавать тебе содержание, пять, скажем, фунтов в неделю, а остальное придерживать, пока все не уладим. На что тебе эти десять фунтов в неделю, если на него тратить ничего не приходится. Ну, а тогда станет ясно, в каком мы положении, и все опять будет ладненько.

Он помолчал, поскреб ногтями щеку, впиваясь в нее хитрыми глазками.

— Понимаешь? — добавил он, словно подталкивая ее сказать что-нибудь.

Кристина-Альберта смотрела на него в молчании, ставшем мучительным. Потом встала и оглядела его, уперев руки в боки. Ее лицо пылало.

— Теперь понимаю, — сказала она. — Ах ты, старая чертова сволочь!

Мистер Уиджери лелеял милые старомодные представления о барышнях и о том, как им положено изъяснятся. И растерялся.

— Э-эй! — сказал он. — Э-эй!!

— И всегда был сволочью, теперь ясно, — сказала Кристина-Альберта.

— Нельзя так выражаться, Крисси. Употреблять такие слова. И ты поняла все неправильно. Что это ты? Старая сволочь! Такая-то старая сволочь? Это почему же? Я только делаю то, что обязан. Ты-то ведь еще несовершеннолетняя. Еще дитя в глазах закона, и, естественно, моя обязанность, моя, как его ближайшего родственника, так сказать, заняться устройством его дел. Вот и все. Ты не должна забирать себе в голову всякие мысли и не должна волноваться. Поняла?

— Я назвала вас, — сказала Кристина-Альберта, — чертовой старой сволочью.

Он отвел глаза и заговорил так, словно обращался к бюро под окном.

— И тебе лучше, когда ты употребляешь такие скверные выражения? А мне от них хуже? И они меняют тот факт, что мне, хочу я того или нет, необходимо позаботиться об его имуществе и позаботиться, чтобы с тобой ничего не случилось, чтобы ты не натворила глупостей? Мы с твоей теткой думали только о том, как о тебе лучше позаботиться. И тут ты набрасываешься на меня, как змея, и употребляешь выражения...

Мистер Уиджери не нашел подходящих слов и, все еще ища сочувствия у бюро, пожал плечами и махнул рукой.

— Вы ему не родственник, — сказала Кристина-Альберта. — Я догадалась, когда прочла ваше письмо, что у вас на уме. Вы рады избавиться от него, потому что он всегда настаивал на выплатах в срок. Вы думаете, я совсем одна, вы думаете, что я всего только девушка и вы можете поступать со мной, как вам угодно. Так вы ошибаетесь. Я заставлю вас выплачивать все до последнего пенни, что нам следуете прачечной, и послежу, чтобы вы еще точнее соблюдали сроки. И почему же вы не попытались вызволить его, когда узнали, что он там?

— Да не волнуйся так, Крисси, — сказал мистер Уиджери. — Пусть я и не кровный родственник ему, но тебе-то кровный! Я твой ближайший родственник, твой лучший друг и обязан думать, как тебя устроить. Обязан действовать для твоего блага. Как бы ты ни выражалась, и вообще. Говорю же тебе, ему там хорошо и безопасно, и я не собираюсь его растревоживать. Никак. Он там, и там останется, а я буду действовать, как мистер Пантер посоветовал мне действовать. Я собираюсь придерживать его дивиденды, а тебе выплачивать столько, сколько сочту, что тебе требуется на жизнь и расходы, и вычитать это у него, и я собираюсь присмотреть, чтоб ты вела в будущем приличную жизнь, какую одобрила бы моя бедная свояченица Кристина. Ты болтаешься в Лондоне самым скандальным образом, учишься всяким грязным словам и ругани. Так продолжаться не может. Вот как обстоят дела, Крисси, и чем раньше ты поймешь, тем лучше.

Кристина-Альберта, онемев, слушала, как мистер Уиджери открывал свои намерения.

— Где миссис Уиджери? — сказала она наконец, неимоверным усилием держа себя в руках.

— Присматривает в прачечной. И незачем ее беспокоить. Мы все это много раз обсуждали и во всем согласны. Присматривать за тобой — наше право, и наша ответственность, и мы выполним свой долг перед тобой, Крисси, хочешь ты того или нет.

Кристину-Альберту одолевали неприятные сомнения. Двадцать один год ей должен был исполнится только через два месяца, и казалось вполне правдоподобным, что закон давал этому маслянистому мерзавцу всякие нелепые права вмешиваться в ее жизнь. Но в ее духе было держаться мужественно до последнего.

— Все это чушь! — сказала она. — Я не позволю, чтобы папочку заперли вот так, без моего согласия, и я не допущу, чтобы вы фокусничали с его собственностью. В семье все знают, что вы нечисты на руку. Мама часто это повторяла. Я сама о нем позабочусь, присмотрю, чтобы его перевели в хорошую психиатрическую клинику, где за ним будет настоящий уход. Вот это я и приехала вам сказать.

Маленькие глазки мистера Уиджери оценивающе ее взвешивали.

— Очень ты много на себя берешь, Крисси, — сказал он после паузы. — Сделаешь то, сделаешь это! А сама толком не знаешь, чего можешь или не можешь. У тебя нет денег, и у тебя нет никакой власти, и чем скорее ты это усечешь, тем лучше.

Испуг все больше овладевал Кристиной-Альбертой. Чтобы противостоять ему, она позволила себе вспылить.

— Я скоро покажу вам, что я могу и чего вы не можете, — сказала она. Лицо у нее вспыхнуло.

— Да не волнуйся ты так, — сказал мистер Уиджери. — Уж кому-кому, а тебе волноваться никак не след.

— Волноваться! — повторила Кристина-Альберта, подыскивая сокрушительный ответ, и тут ее поразила такая страшная мысль, что она осеклась и уставилась в карие глазки на рябом лице. И они безмолвно ответили на ее изумленный безмолвный вопрос. Слово «волноваться» он употребил в третий или четвертый раз, и теперь ей стало ясно, к чему он клонит. Внезапно ее осенило, какие мысли уход ее папочки со сцены породил в его голове. Он тоже ознакомился с законами о сумасшествии... и возмечтал.

— Вот именно, — сказал мистер Уиджери. — Ты всегда была со странностями, Крисси, а твоя беспорядочная жизнь, а теперь еще и это, очень на тебе сказались. Не могли не сказаться. У тебя нет хороших спокойных друзей, кроме твоей тетки и меня, и нет хорошего спокойного места, где приклонить голову, кроме как тут. И не набрасывайся на меня, Крисси, я тебе только добра хочу. И не стану давать тебе денег, чтоб ты и дальше болталась в Лондоне. Ты ж можешь к наркотикам пристраститься или что похуже. Называй меня такой-то сволочью, если хочешь. Ругай меня, словно ты совсем свихнулась: что я думаю сделать, то и сделаю. Я хочу, чтоб ты приехала сюда, дала бы время отдохнуть своей душе и нервам и позволила бы мне пригласить кого-нибудь осмотреть тебя... решить, что для тебя следует сделать... Когда-нибудь ты мне за это спасибо скажешь.

Его широкое землистое лицо словно раздулось, замаячило у нее перед глазами, комната стала совсем маленькой и темной.

— Мой долг присмотреть за тобой, — сказал он. — От того, что мы посоветуемся, ни тебе и никому хуже не будет.

В поезде по дороге сюда она убеждала себя, что сделает из мистера Сэма Уиджери котлету, но дела явно принимали другой оборот.

— Ха! — воскликнула она. — Вы думаете, что я вернусь сюда?

— Все-таки лучше, чем потеряться в Лондоне, Крисси, — сказал он. — Лучше, чем потеряться в Лондоне. Мы ведь не можем допустить, чтобы ты бродила по Лондону, как твой бедный отец.

Она почувствовала, что ей пора уходить, но секунду-другую не могла пошевелиться. Не могла, потому что боялась, как бы он не попытался ее задержать. А что тогда ей делать? Потом заставила свои ноги разогнуться.

— Что же, — сказала она, шагнув мимо него к двери, так что он повернулся на каблуках следом за ней. — Я сказала вам, что думаю о вас. А теперь мне пора вернуться в Лондон.

Она увидела, как в его глазах вспыхнуло желание помешать ей — и угасло.

— Может, перекусишь на дорожку? — сказал он.

— Есть... здесь?! — воскликнула она и подошла к двери.

Пальцы у нее так дрожали, что она лишь с трудом повернула ручку. Он стоял неподвижно, глядя на нее. Его нижняя губа отвисла еще больше, на лице было сомнение. Словно он был не слишком уверен в себе и в том, что намеревался предпринять. Но что он намеревался предпринять, было до ужаса ясным.

###### 4

Она с достоинство вышла из открытой передней двери и прошла по садовой дорожке. Она не оглянулась, но знала, что он почти прижал лицо к окну и следит за ней. Никогда еще в жизни она не была так близка к панике. И с трудом удерживалась, чтобы не побежать.

Когда поезд тронулся, она почувствовала себя в большей безопасности.

— Как, черт дери, он может добраться до меня? — сказала она вслух пустому купе.

Но она вовсе не была уверена, что до нее нельзя добраться, и поймала себя на том, что начала прикидывать, на какую поддержку своих лондонских друзей она может надеяться. Например, может ли она рассчитывать на мистера Пола Лэмбоуна? Если ее лишат денег, сумеет ли она найти работу и продержаться, пока не вызволит своего глупого папочку из сетей, в которые он угодил? Как поведут себя Гарольд и Фей, вечно сидящие на мели, если деньги перестанут поступать? А тем временем папочка недоумевает, почему никто не приходит к нему на помощь, не понимает, что с ним произошло, и конечно, становится все более глупеньким.

Кристина-Альберта стремительно взрослела. До сих пор под всем ее радикализмом и бунтом всегда крылось безмолвное подсознательное убеждение в правильности, надежности и питающей силе социального устройства. Это особенность свойственна почти всякой юной мятежности. Она, совсем над этим не задумываясь, считала, что больницы — это обители комфорта и всяческих удобств, врачи — знают и используют все последние достижения науки, а тюрьмы — чистые, образцовые заведения; и что законы, хотя все еще не всегда справедливы, применяются без каких-либо злоупотреблений или передержек. Она питала ту же веру в конечную справедливость общественной жизни, какую хранит ребенок в безопасность своей детской и родительского дома. Но теперь она осознала факт, что весь мир ненадежен. Не то чтобы мир этот был дурным или злым, но он был невнимательным и равнодушным. Он смертельно боялся хлопот. И совершал самые подлые, самые опасные, самые жестокие вещи, лишь бы избежать хлопот, а потому предпочитал по возможности игнорировать любые страдания или зло. Это был опасный мир, мир людей, избегающих хлопот, где можно потеряться, исчезнуть из памяти, пусть ты еще жива и страдаешь. Это был мир, в котором нехорошо быть одной, а она начинала ощущать, что она совсем одна, опасно одна.

Она, пришло ей в голову, никогда не была высокого мнения о своей семье, но теперь она обнаружила, что семья слишком рано может вообще прекратить существование. Ей была нужна стена, чтобы опереться, если Сэм Уиджери соберется с духом и ринется в наступление. Ей был нужен кто-то, кто принадлежал бы только ей, надежный союзник, тот, на кого она могла бы положиться во всем; кто-то ближе, чем законы и обычаи — кто-то, кто не успокоится, пока точно не узнает, что с ней случилось, если ее постигнет несчастье; кто-то, кто не смирится с ее бедой, кто-то, кому она будет дороже его самого, и так просто от нее не откажется.

*Его самого? Не ее самой* ! То есть любовник.

— Черт бы побрал Тедди! — крикнула Кристина-Альберта, выбив кулаком клуб пыли из подушки сиденья. — Он только все портит!

— И ведь я знала, какой он. Я все время точно знала, какой он!

— Придется мне все это выдержать одной, — сказала Кристина-Альберта.

— Да и к тому же, кому я нужна с таким носом? Даже существуй в этом мире люди, способные любить так! Но это мир людей, которых не хватает на настоящее чувство. Мусорная куча, а не мир, — сказала Кристина-Альберта.

###### 5

Ее мысли потекли по другому руслу. В конце-то концов было что-то неприятное в утверждении, будто она... как бы это выразить? — со странностями. До сих пор Кристина-Альберта всегда считала себя образцом здравого смысла и умственной прямоты — без единого недостатка, кроме, может быть, носа. Но теперь словечко «странности» засело в ее уме, как шип. И ей не удавалось извлечь его оттуда.

Она знала, что всегда была не такой, как другие. Всегда обладала собственным стилем.

Большинство тех, кого она встречала в жизни, представлялись ей бесцветными, слабыми на словах и на деле, уклончивыми. Вот-вот — уклончивыми. Они уклонялись от самых разных прямолинейных слов, не зная почему. Кристина-Альберта была всецело за то, чтобы чертыхаться и говорить «сволочь» и тому подобные слова до тех пор, пока кому-нибудь не удалось бы убедить ее, что избегать их следует не только потому, что «приличные» люди их не употребляют. Эти остальные всегда не говорили чего-то, потому что об этом не говорят, и не делали чего-то, потому что этого не делают. А тому, что говорилось и что делалось, они запуганно подражали. И до смерти копошились, изо всех сил тщась быть кеми-то другими. В таком случае зачем вообще существовать? Но так или иначе они проживали жизнь. Обходились без неприятностей. Поддерживали друг друга. А с другой стороны, если не уклоняться? Ставишь других людей в тупик. Сходишь с избитого пути. Уподобляешься поезду, который сворачивает с рельсов, чтобы напрямик пересечь поля и луга. Ты сталкиваешься... со всем и вся.

А что, если эта уклончивая жизнь, которую она всегда презирала, на самом деле — здравая жизнь. И переставая уклоняться, утрачиваешь здравость рассудка? У овец, читала она, есть такая болезнь: вертячка, когда они бродят в одиночестве и умирают. И оригинальность, способность думать самой за себя, а не следовать за толпой, и так далее, все, чем она так гордилась, все это лишь способ отвергнуть разумную жизнь? Оригинальность, чудачества, эксцентричность, странности, сумасшествие... или различия лишь в степени?

Не заключалась ли странность ее папочки в том, что после многих лет крайней уклончивости, он наконец попытался прорваться к чему-то реальному и необычному? И разве она на свой манер не стремилась к тому же? Так и она тоже перекошена? Быть может, перекошена в другую сторону, но тем не менее перекошена? Наследственная перекошенность?

И тут по касательной возник вопрос, унаследовала ли она в действительности от своего папочки хоть что-нибудь. Его странность хоть как-то совпадает с ее странностью? Наверное, раз они — отец и дочь.

Но как они непохожи! Как поразительно непохожи для отца с дочерью!..

Но правда ли, что они отец и дочь? И вернулась вечно подавляемая, отгоняемая фантазия — фантазия, возникшая на самых зыбких основаниях, на фразах, случайно оброненных матерью, на интуиции. Раза два из этих смутных частичек памяти рождалась мечта, заставала ее врасплох и отвергалась с презрением.

Блям. Блям. Блям. В привычные звуки поезда вплелись новые, не менее привычные. Кристина-Альберта прибывала к перрону Ливерпульского вокзала, а все ее недоумения так и остались неразрешенными.

Старая фантазия обескураженно рассеялась. Что толку от таких грез? От себя никуда не денешься.

###### 6

Встреча Кристины-Альберты с Уилфридом Дивайзисом на следующее утро оказалась куда более примечательной, чем они оба предполагали.

По совету Пола Лэмбоуна она захватил с собой фотографии и пару писем своего папочки, а также заранее обдумала, о чем важнее всего рассказать ему. В дом Дивайзиса за Кавендиш-сквер она приехала на такси с Полом Лэмбоуном, и их тут же провели через приемную и профессиональный кабинет в небольшую элегантную гостиную, где в камине пылал огонь, на столе был сервирован чай, а вдоль стен выстроились книжные шкафы. Дивайзис сразу же вышел к ним.

Она была слегка потрясена при мысли, что этот высокий, худощавый, смуглый человек с могучей шевелюрой может иметь с ней сходство. Он оказался моложе, чем она полагала, моложе, решила она, чем ее папочка или мистер Лэмбоун. На нем был длинный расстегнутый сюртук, а нос ему очень шел. Собственно говоря, он был очень красив.

— Здравствуйте, Пол, — сказал он весело. — А это та юная девица, у которой похитили отца? Выпьем чаю? Так это мисс...

— Мисс Примби, — сказал Пол Лэмбоун. — Но все ее называют Кристиной-Альбертой.

Дивайзис обратил на нее взгляд, проницательный и по привычке, и по природной склонности. Его лицо выдало легкое удивление. Он пожал ей руку.

— Расскажите мне об этом все, — сказал он. — Вы не считаете его по-настоящему сумасшедшим, а только очень особенным и чудаковатым. Ведь так? Лэмбоун заверил меня, что он здоров душевно. Это вполне возможно. Сначала мне лучше ознакомиться с его душевным состоянием, а после этого обсудим вопрос о приюте. Насколько я понял, вы хотите, чтобы его передали на ваше попечение... у вас дома. Это отнюдь не просто. Нам надо будет многое обсудить. А тем временем чай... Я распутывал бредовые видения на редкость грозной старой дамы, и совсем вымотан. Расскажите мне все, как вам это представляется.

— Расскажите ему, — сказал Пол, погружаясь в кресло и готовясь перебивать.

Кристина-Альберта начала свой подготовленный рассказ. Иногда Дивайзис перебивал ее вопросом. Он не спускал с нее глаз, и ей с самого начала казалось, что за вниманием к ее словам прячется еще что-то. Он смотрел на нее так, словно старался вспомнить, где видел ее раньше. Она рассказала, о чем разговаривал с ней папочка, когда она была маленькой, про пирамиды, погибшую Атлантиду и так далее, и о странном освобождении духа и обновлении после смерти ее матери. Она рассказала о спиритическом сеансе и явлении Саргона. Дивайзис очень заинтересовался разными сторонами истории Саргона.

— Странно, как соответствовало это утверждение умонастроению Примби. Чего добивался этот молодой человек? Я его не совсем понимаю.

— Не знаю. Думаю, это было случайным совпадением. К несчастью.

— Студенческое представление о юморе?

— Студенческий юмор. С тем же успехом это мог быть Тутанхамон.

— А оказался Саргон?

— Возможно, он читал какую-нибудь историю Древнего Востока.

— Полагаю, про вашего отца он ничего не знал?

— Откуда же? Наверное, он подумал, каким мой... мой папочка выглядит маленьким и смешным, и потому ему показалось забавным выделить его из всех остальных и объявить великим царем. Мне бы хотелось поговорить с этим молодцом по душам пару минут.

— Видите, Дивайзис, это не бред, а обман, — сказал Пол Лэмбоун.

— Он обычно логичен? — спросил Дивайзис.

— Если признать его предпосылку, то поразительно логичен, — сказала она.

— Он временами не становится кем-либо другим? Богом, миллионером, ну, чем-то в этом роде?

— Нет. Он верит в переселение душ, намекает на свои прежние жизни, но это все.

— Тысячи людей в это верят, — сказал Лэмбоун.

— И никто его не преследует? Никто не шумит, чтобы мешать ему, не просвечивает рентгеновскими лучами? Ничего такого?

— Абсолютно нет.

— Так он в здравом уме. Если только не помешался, когда ушел из студии ваших друзей.

— Я с самого начала утверждал, что он в здравом уме, — сказал Лэмбоун. — Жалею, что мне не представился случай поговорить с ним. Ведь... вот теперь все твердят о комплексе неполноценности. Ну так довольно обычно, что люди, которых принижали, обманывали и так далее, и которым не хотелось взглянуть в лицо фактам, укрывались за щитом вымышленной личности? И если соединить мечты, спиритический сеанс и прочее, разве не получается, как раз это?

— Он знает, что на самом деле он, au fond[[9]](#footnote-9), Примби? — спросил Дивайзис.

— Его раздражало, когда ему это говорили, — сказала Кристина-Альберта. — По-моему, он ушел из студии, где мы живем, потому что я и моя подруга, то есть миссис Крам, все время пытались его переубедить. Это и прогнало его. Он знает, что на самом деле он Примби, и это ему нестерпимо. Он знает, что все это игра и выдумки.

— Мне это так симпатично! — подхватил Пол Лэмбоун. — Это не только не безумие, но рационально до предела. На том, чтобы стать кем-то более великим, чем ты, зиждется добрая половина религий мира. Все митраисты становились Митрой. Сераписты, если я верно помню, становились Осирисом. В сущности, мы все хотим родиться заново. Всякий, в ком есть капля здравого смысла и смирения. Кем-то более значительным. «Кто избавит меня сего тела смерти?» Вот почему папочка Кристины-Альберты столь чрезвычайно интересен. У него есть воображение, у него есть оригинальность. Пусть он мал ростом и слабоват, но этого у него не отнять.

— Обладание особым умом не сумасшествие, — сказал Дивайзис, — не то мы упрятали бы в приюты всех наших поэтов и художников.

— Ну, до этого вряд ли кто из них дотянул бы, — сказал Лэмбоун. — А жаль.

Дивайзис поразмыслил.

— По-моему, я разобрался в ситуации. Он говорит логично. Одевается аккуратно. Не верит, будто подвергается преследованиям. Не эгоистичен в своих мыслях до романтичности. Не одутловат, вид у него не оплывший, и у него никогда не было никаких припадков. Нет такого типа сумасшествия, к какому его мог бы отнести врач-специалист, но подавляющее большинство врачей не подготовлены для занятия психиатрией. Глупый врач мог счесть его фантазии всплесками паранойи, или принять его погружение в задумчивость за старческое слабоумие, или заподозрить в нем скрытую эпилепсию. Но это все примеры психических заболеваний, а ваш отец, вероятно, вообще не болен. Он несколько неверно воспринимает реальность, но это все. Разница между ним и подлинно сумасшедшим — это разница между фруктами, рассыпавшимися из корзины, и гнилыми фруктами. Рассыпавшиеся фрукты могут помяться и легко начинают гнить, однако упасть из корзины еще не значит быть гнилым. А как он выглядит?

— Она захватила фотографии, — сказал Лэмбоун.

— Мне бы хотелось на них взглянуть, — сказал он и получил фотографии мистера Примби времен прачечной. — Такие огромные усы! — заметил он. — Нет ли других, на которых хотя бы часть его лица ими не замаскирована? Тут ничего не видно, кроме глаз.

— Я догадывался о вашем впечатлении, — сказал Лэмбоун. — Но есть фотография мистера Примби в молодости, снятая вскоре после его брака с миссис Примби. Вы ее захватили, Кристина-Альберта?.. А вот она. В кресле — миссис Примби. А усы — во всей своей красе — еще не выросли.

— Он женился молодым? — спросил Дивайзис у Кристины-Альберты.

— Наверное, — ответила она. — А в каком точно возрасте, не знаю. Мама мне никогда не говорила.

Дивайзис внимательно рассматривал фотографию.

— Странно, — сказал он, словно роясь в памяти. — Что-то знакомое. Я как будто знавал таких людей. — Он внимательно посмотрел на Кристину-Альберту. — Они оба жили в Лондоне, я полагаю?

— В Вудфорд-Уэллсе, — сказала Кристина-Альберта. — Мой отец родился в Шерингеме, — добавила она после некоторого раздумья.

— Шерингем... Странно! — И он с новым интересом посмотрел на пару, позирующую перед одним из сельских пейзажей, столь дорогих сердцу викторианских фотографов. — Крисси, — повторил он про себя. — Кристина-Альберта. Этого не может быть!

На несколько секунд доктор Дивайзис забыл о своих гостях, а они не спускали с него глаз. Он пытался сосредоточиться на лице молодого человека, но его внимание приковала молодая женщина, сидевшая на верхней ступеньке перелаза. Поразительно, с какой полнотой он забыл ее лицо и как теперь она возвратилась невероятно непохожая и все-таки похожая на ту, которую он помнил. Он вспомнил пенсне, шею, плечи. И выражение — вызывающе чопорное.

— Когда ваши отец и мать поженились? — спросил он. — Как давно?

— В восемьсот девяносто девятом, — ответила она.

— И вы не замедлили появиться на свет? — спросил он с напускной небрежностью.

— Через подобающий промежуток времени, — сказал Кристина-Альберта с неловкой шутливостью. — Я появилась на свет в девятисотом.

— Щуплый, светловолосый с синими глазами, довольно рассеянный. Я словно вижу его, — сказал Дивайзис и вновь посмотрел на фотографию.

Почти на минуту воцарилось молчание.

— Боже великий! — прошептал про себя Лэмбоун.

Дивайзис машинально выпил чашку чая.

— Невероятно! — воскликнул он. — Мне и в голову не приходило!

— Что не приходило?

Он ответил несколько невпопад.

— Сходство Кристины-Альберты с моей матерью. Просто поразительное! Это меня мучило с той минуты, когда я вошел в комнату. Отвлекало меня. У меня есть маленькая карточка...

Он вскочил и вышел из комнаты. Кристина-Альберта в растерянности и волнении тут же повернулась к Лэмбоуну.

— Он был знаком с моим отцом и матерью, — сказал она.

— Как будто так, — ответил Лэмбоун, словно оправдываясь.

— Как будто! — повторила она. — Но... он знал их! Хорошо знал. И... *Что он подумал* ?

Дивайзис вернулся с небольшой фотографией в золотой рамочке.

— Посмотрите-ка! — сказал он, протягивая ее Лэмбоуну. — Это же вылитая Кристина-Альберта. Видите, какое удивительное сходство? Конечно, если не обращать внимания на эту нелепую прическу и то, как воротничок закрывает ей шею почти до подбородка.

Он отдал карточку Кристине-Альберте и бросил на Лэмбоуна недоумевающий вопросительный взгляд.

— Да, словно я снялась в маскарадном костюме, — согласилась Кристина-Альберта, глядя на фотографию. Наступила долгая пауза. Она подняла глаза и увидела выражение на его лице. Ее мысли совершили фантастический скачок. Настолько фантастический, что вернулись к исходному положению. Словно вспышка молнии в непроглядно темной ночи. Она сделала огромное усилие вернуть разговор в прежнее русло, вести себя так, как будто ее мысли не совершали этого прыжка.

— Но какое все это имеет отношение к тому, что случилось с папочкой? — спросила она.

— Никакого прямого. Ваше сходство с моей матерью — чистейшее совпадение, чистейшее. Но какое странное! Ну, и мое внимание отвлеклось. Извините меня. Я верю, что подобное сходство свидетельствует о каком-то кровном родстве. Я полагаю, что какие-то предки вашей матери... Как, вы сказали, их фамилия? Хоскин?

— Разве я сказала? Не помню. Нет, я ничего не говорила. Нет! Ее девичья фамилия была Хоссет.

— Ах, да! Хоссет. Так, наверное, два-три поколения назад Хоссеты и Дивайзисы породнились через брак. И вот, пожалуйста! Мы с вами в родстве... неизвестно какой степени. В семьях внешность предков время от времени повторяется в потомках. Это по-своему связывает нас, Кристина-Альберта, вы согласны? Это дает мне право на личный интерес. Я больше не воспринимаю вас как просто пациентку. А вернее — как просто знакомую Пола. Я чувствую связь между нами. Ну... вот так. Вернемся к вашему отцу. Который женился на вашей матери как раз тогда, когда они затеяли ту давнюю войну в Южной Африке. Он всегда был мечтательного типа, не наблюдательным. Как мы говорили. Даже в самом начале...

Он вдруг умолк.

— Да, всегда, — сказала Кристина-Альберта после долгой паузы.

— Мы обо всем этом уже говорили, — сказал Дивайзис, умолк и почти минуту не мог найти слов. — Да, — сказал он наконец.

Сердце у нее колотилось, щеки порозовели от волнения. Ее быстрая сообразительность восполнила все пробелы. Она поняла... и снова все смешалось. Она предпочла бы уйти, обдумать... Но нельзя! Надо не думать о вопросах, которые заполняли ее мысли. Но ее сознание устремлялось вперед, как упрямый путник, застигнутый бурей. Ее мать... Она пыталась вспомнить что-то о своей матери, так долго подавляемое. «Удрал, а меня оставил расхлебывать». Так? Ее мать лежала в кровати и бредила. Кто удрал? Расхлебывать что? Это непреходящее недоумение. Это подозрение. Эта мечта. Но слушай же его сейчас, Кристина-Альберта! Слушай его! Она всем своим существом следила за ним — и будто была глуха к его словам.

А он говорил, что теперь, когда он убедился, что Примби не сумасшедший, ему совершенно ясно, как следует взяться за дело. В деле Примби они столкнулись со старой-старой историей превращения нормальных людей в сумасшедших. В деле Примби они столкнулись со старой-старой историей превращения нормальных людей в сумасшедших. (Он повторил эту фразу слово за словом, видимо не замечая, что дважды сказал одно и то же.) Всем выдающимся людям грозит опасность быть непонятыми, но люди типа Примби, оригинальные, но не умеющие выражаться абстрактно, не владеющие философским методом, выражают свои чувства и стремления в фантастических формах, а потому особенно легко задевают, пробуждают подозрения, страх, враждебность. Именно людей в таком пограничном состоянии он постоянно старается спасти от сумасшедших домов, и именно они постоянно туда попадают. А им, более чем кому-либо еще, опасно соприкосновение с подлинным безумием.

— Если вернуться к моему уподоблению. Фрукты, высыпавшиеся из корзины, практически не тронуты порчей, но они помяты и валяются в беспорядке. Рассудок слишком хрупок, чтобы подвергаться ударам. Он легко поддается порче, а рассудок такого типа, как у вашего отца, особенно легко поддастся порче в условиях приюта. После всех этих велеречивых рассуждений я прихожу точно к такому же выводу, который сделали вы: необходимо как можно скорее забрать Примби из Каммердаун-Хилла и поместить его в спокойную приятную обстановку. Тогда мы разберемся с его комплексом и поможет ему вернуться к практичным взаимоотношениям с окружающим миром. Я убежден, что так или иначе нам это удастся — сделаем его инкогнито постоянным, превратим его в императора в изгнании, восстановим его настоящее имя, организуем для него упорядоченное будничное существование и мало-помалу восстановим Примби, но умудренного опытом, освобожденного.

Он умолк.

— Вот именно! — сказал Лэмбоун, отвлекаясь от созерцания двух интереснейших лиц перед ним.

— Это нелегко. Даже добраться до него будет нелегко. Небрежный судья и глупый врач могут сотворить сумасшедшего за пять минут. Но обратное требует массы времени.

— Этим я и хочу заняться безотлагательно, — сказала Кристина-Альберта.

— Естественно, — сказал Дивайзис, — и можете рассчитывать на меня.

Он объяснил некоторые положения закона о сумасшествии, начал набрасывать план действий, обдумывая, кому следует написать ей, а кому должен написать он сам. И как скоро удастся увидеть Примби, подбодрить его. Дивайзис уже имел несколько стычек с властями, которым подведомственны сумасшедшие дома. Он считался неприятным и опасным противником для их директоров. Это могло вызвать упрямое противодействие или же желание спустить все на тормозах. Но в любом случае действовать они должны осторожно.

Лэмбоун теперь помалкивал. Он утратил живой интерес к Примби, замурованному в стенах Каммердаун-Хилла, и восхищался самообладанием своих поразительных друзей. Он пытался вообразить возбуждение, странные мысли, смятение чувств, которые, несомненно, скрывались за их подробным обсуждением ситуации мистера Примби. На зрителя они внимания не тратили. Лицо Кристины-Альберты чуть покраснело, глаза блестели; Дивайзис против обыкновения был не столько увлекательным собеседником, сколько профессором, беседующим с исключительно способным студентом.

Наконец тема исчерпалась, и настало время прощаться. Дивайзис проводил их до входной двери.

— Не забывайте: я все время, так сказать, под рукой. В телефонной книге есть мой номер. И не забывайте, Кристина-Альберта, не забывайте, что я ваш новообретенный родственник и всегда к вашим услугам.

— Не забуду, — сказала Кристина-Альберта, встречая его взгляд.

Маленькая пауза, а потом они пожали друг другу руки с некоторой неловкостью.

###### 7

— Я сошла с ума? — сказала Кристина-Альберта, едва очутилась на улице рядом с Полом Лэмбоуном. — Мне все это снится?

— Сошла с ума? Снится? — Лэмбоун не находил, что сказать.

— Ах, не притворяйтесь, будто не понимаете, что он мой настоящий отец. Не притворяйтесь, пожалуйста, не притворяйтесь. Так это или не так?

Лэмбоун ответил не сразу.

— Вы молниеносны... как ящерица. Каким образом?

— А, так вы это подумали?

— Дорогая моя Кристина-Альберта, он не знал о вашем существовании, пока вас не увидел. В этом я убежден.

— Но раз так. Разве же не ясно? *Он знал их обоих* !

— Дивайзис, — сказал Лэмбоун, — на десять лет моложе меня. Ему только-только исполнилось сорок. Ему было... не больше восемнадцати. От силы девятнадцать. Трудновато представить...

— Как раз проще. Вы не знали мою мать. Если они были совсем юными...

— Все-таки, — сказал Лэмбоун, — может быть и другое объяснение.

— Какое же?

— Понятия не имею. Полагаю, он был в Шерингеме... возможно, на каникулах... и познакомился с ней. Но...

— Наверное, что-то мимолетное, почти случайное. У мамы бывали вспышки... Я никогда по-настоящему ее не понимала. Она подавляла меня, и, может быть, она подавляла себя... А под конец... она сказала что-то. Кто-то оставил ее расхлебывать... Вы знаете, иногда... у меня возникали фантазии... подозрения! Казалось, будто она догадывается, что я догадываюсь. Теперь я знаю: так и было! Невероятно! Но столько объясняет...

— Он, несомненно, ничего о вас не знал. Он... ошеломлен.

— И что дальше?

— По закону вы дочь Примби. Этого ничто изменить не может. Никакие сходства и совпадения в мире этого не изменят.

— И никакие законы в мире не изменят фактов! И... — Она повернула к Лэмбоуну раскрасневшееся лицо: — Вы понимаете, что такое думать, что ты дочь сумасшедшего? А потом узнать, что это не так? Всю прошлую ночь я не могла заснуть из-за этой невыносимой мысли.

— Всю ночь! В вашем возрасте!

— Ну, казалось, что всю ночь. Вчера ночью... я пыталась вообразить, что получится что-нибудь такое. Пыталась — и не могла. Пыталась воскресить все прошлые фантазии. И вот — пожалуйста. Я могла бы знать. Нет, я знала и не хотела знать... Расскажите мне про этого настоящего моего отца. Я же ничего о нем не знаю. Он хороший человек? Плохой? Есть у него жена?

— Он обожал свою жену. Как и я ее обожал. Молодой женщины очаровательнее и умнее я не встречал. Она была сильной, веселой... мерзкая инфлюэнца и воспаление легких унесли ее. За одну неделю. Он был совсем уничтожен. Детей не было. Они прожили вместе только четыре года. Он нравится женщинам, но думаю, что второй миссис Дивайзис не будет еще очень долго. Я и представить себе не могу! Какая-то другая женщина! Не может быть. Весь его дом полон ею.

— Да, — сказала Кристина-Альберта и задумалась.

Переходя Бонд-стрит, они отбились друг от друга, тротуар был запружен людьми, Пиккадилли — еще больше, и возобновить разговор они смогли только, когда свернули на Сент-Джеймс-стрит.

— Папочка, — сказала Кристина-Альберта, — словно унесся куда-то за десять тысяч миль. Но когда я справлюсь с этим потрясением, то, конечно, вернусь к нему. Но пока... ему придется немного подождать.

— Вы ко мне не зайдете? — сказал Лэмбоун на углу Хаф-Мун-стрит. — Я мог бы накормить вас обедом.

— Нет. Спасибо, но я пройдусь пешком до Челси, — сказала Кристина-Альберта. — Мне надо все это обдумать в одиночестве. Останусь наедине с моей закружившейся головой и попробую привести ее в порядок. Моя жизнь полетела вверх тормашками. Или наоборот, встала с головы на ноги. Сама не знаю. Ах, да я ничегошеньки не знаю! Все надо начинать сначала.

Она пожала ему руку, но осталась стоять на месте. Лэмбоун выжидал — она явно хотела что-то сказать. И наконец у нее вырвалось:

— Как вы думаете... я ему понравилась?

— Вы ему очень понравились, Кристина-Альберта. Вот это вас пусть не тревожит.

###### 8

Прошло чуть более двух суток, прежде чем Кристина-Альберта, если использовать ее собственное выражение, «вернулась» к своему потерянному папочке.

Эти двое суток были исполнены бурных волнений. Дивайзис оказался самым замечательным фактом в мире. Она разом запылала любовью к нему.

Она запомнила его чрезвычайно живо: высокий, смуглый, серьезный, наблюдательный и удивительно понимающий. Но, как ни живы были эти впечатления, она сомневалась в каждой их частице и жаждала снова его увидеть и удостовериться во всем. Именно их взаимопонимание было одновременно и самым восхитительным, и самым невероятным аспектом случившегося. Без сомнения, ее мозг и его мозг были непохожи, как любые два человеческих мозга, однако несхожесть не была просто набором случайных различий, а различием двух вариаций на одну тему. Она улавливала намерения за его словами. Ее сознание отзывалось на ход его мыслей, и, наверное, в ее мозгу были завихрения и причуды — завихрения и причуды, которые делали ее странной и трудной в глазах большинства людей, но которым отыскались бы полные параллели в его мозгу. Она не сомневалась, что он узнает и поймет подоплеку любой ее мысли, любого поступка, и нисколько этому не удивилась бы.

Никогда прежде она не испытывала энтузиазма при мысли об отношениях родителей с детьми. Она смотрела на них с точки зрения Сэмуэля Батлера и Бернарда Шоу и считала всех родителей в этом смысле смущенными лицемерами с инстинктивными потребностями запрещать и подавлять. Для собственных родителей она сделала некоторое исключение: папочка с любой стороны был настоящим другом, хотя мама почти всегда была воплощенная квинтэссенция «Нельзя!». Но ей в голову не приходило, что в единокровности может быть что-то интимное, влекущее. И вдруг распахивается дверь, входит человек, садится, разговаривает с ней и оказывается самым-самым близким ей в жизни. А она — ему. Ей нестерпимо хотелось снова поехать к нему, хотелось чаще его видеть, быть с ним. Но он не давал о себе знать, а ей не удавалось придумать благовидного предлога, чтобы приехать к нему. Самая сила ее желания мешала ей. Она написала письма, как они договорились, а потом решила разобраться в психиатрии и видах сумасшествия. Это и положение ее «папочки» представлялось ей формальной связью между ней и Дивайзисом.

Она отправилась в читальный зал Британского музея, куда у нее был студенческий билет, и пыталась сосредоточиться на книге, которую затребовала. Однако тут же предалась всяческим грезам об этом чудом обретенном кровном родственнике. Днем она позвонила Лэмбоуну с намерением напроситься на чай и выведать все, что этот мудрец мог сообщить ей о Дивайзисе, и вообще поговорить о нем. Но Лэмбоуна не оказалось дома. На следующий день потребность увидеть Дивайзиса взяла верх, и она ему позвонила.

— Не могу ли я выпить у вас чаю? — спросила она. — Мне особенно сказать нечего, но я хочу вас увидеть.

— Я в восторге, — сказал Дивайзис.

Но когда она его увидела, оказалось, что она чувствует себя с ним неловко, а он — с ней. Некоторое время они поддерживали светскую беседу, почти такую же, какую могли бы вести двое людей в каком-нибудь провинциальном городке во время светского же визита. Он называл ее «Кристина-Альберта», но она назвала его «доктор Дивайзис», и он спрашивал ее, играет ли она на рояле, любит ли танцевать, и бывала ли она за границей. Она сидела в кресле, а он стоял перед ней на каминном коврике. Было ясно, что единственный путь к сближению лежит через откровенный разговор о ее папочке. Она чувствовала, что если они еще хоть минуту будут продолжать в прежнем духе, она завизжит или швырнет чашку в камин. И она решилась.

— Когда вы познакомились с моей матерью?

Дивайзис словно подобрался и чуть улыбнулся ее смелости.

— Я был студентом в Кембридже, готовился к экзамену по естественным наукам и приехал в Шерингем заниматься. Мы... мы разговорились на пляже. Мы сблизились — украдкой, испуганно, отчаянно, ничего толком не зная. Люди в те дни были довольно примитивны — в сравнении с тем, какие они теперь.

— Папочки там не было.

— Он появился потом.

Дивайзис задумался на миг и решил, что нечестно вынуждать ее задавать ему вопросы.

— Мой отец, — сказал он, — был настоящим старым тираном. Сэр Джордж Дивайзис, человек, который создал галеты Дивайзиса и излечил старика Альфонсо, и еще славился своей грубостью с пациентами. Хлопал их по животу и заявлял, что у них там надо бы все хорошенько выскрести. Он помог создать славу Унтер-Магенбада. Меня он подозревал в мягкотелости, хотя, правду сказать, в этом я повинен не был, и обычно словно только повода искал, чтобы устроить мне взбучку. Держал меня на коротком поводке. И не слишком хорошо обращался с моей матерью. И имел обыкновение использовать меня, чтобы причинить ей боль. Я не смел позволить себе хоть что-нибудь. Я по-настоящему его боялся. И если я видел, что могу во что-то впутаться, моим первым поползновением было сбежать.

— Понимаю.

Дивайзис взвесил возможные значения этого «понимаю».

— Не то чтобы мне казалось, что в Шерингеме я впутался во что-то серьезное, — сказал он очень осторожно.

— Какой тогда была моя мать?

— Своего рода подавленная необузданность. Румяное теплое лицо. Он была хорошенькой, вы знаете, и с очень прямой осанкой. И очень решительной при ее чопорности. Ее желания выкристаллизовывались внезапно, и после ее уже нельзя было остановить.

— Я знаю.

— Да, конечно.

— И она носила пенсне?

— Да, именно.

— Она была юной? Счастливой?

— Немножко слишком необузданной, чтобы быть счастливой.

— А вы... хотя бы... любили ее?

— Это было так давно, Кристина-Альберта. Это был... курортный роман. Но почему вы меня допрашиваете?

— Я хочу знать. Почему... — Кристина-Альберта вдруг ужаснулась своей дерзости. — Почему вы не женились на моей матери.

Дивайзис не сделал вида, будто вопрос его удивил.

— Не было никакой явной причины жениться на ней. Ни малейшей. Я не представляю, что сделал бы мой отец, если бы я вернулся из Шерингема женихом случайной знакомой. И в любом случае, — что меня к этому обязывало? — В его глазах был вызов. — Я оставил ей мой адрес, — добавил он. — Она могла бы написать мне. Но не написала.

— Письмо затерялось? — сказала Кристина-Альберта и тут же поспешила добавить: — У меня разыгралось воображение.

Она поколебалась, пугаясь слов, которые решила сказать, но все-таки сказала их с вымученной небрежностью:

— Видите ли, мне, наверное, понравилось бы иметь отцом вас.

Не разразилось никакой катастрофы. Он посмотрел ей в глаза и улыбнулся. Ей эта улыбка сказала, что они вполне друг друга понимают, и думать об этом было очень приятно.

— А вместо этого вам приходится принять меня как дальнего родственника, — сказал он многозначительно. — Итак, мы в дальнем родстве, Кристина-Альберта. Большее для нас невозможно. Нам надо вместе подумать о вашем папочке. Это наша общая забота. Маленький человечек очень меня заинтересовал. Этими грезами он защищался от очень многого. И грезы эти могли быть прихотливейшими. Кто знает? Грезы, необходимые для самозащиты.

Некоторое время Кристина-Альберта молчала, ограничиваясь кивками. Она радовалась их бесспорному взаимопониманию и все-таки испытывала разочарование, хотя не могла бы объяснить себе, чего еще она ожидала. Этот человек на расстоянии протянутой руки был для нее самым близким существом в мире, и между ними, возможно, навсегда останется эта непреодолимая преграда. Их соединяли невидимые узы, и их разделяла неизмеримая необходимость. Еще никогда в жизни ей не пришлось узнать, какой может быть любовь. Она хотела любить его свободно; она хотела, чтобы он ее любил.

Она вдруг заметила, что стоит совершенно неподвижно, и что Дивайзис столь же неподвижно стоит на своем коврике и следит за ее лицом. Губы и глаза у него казались спокойными и безмятежными, но она подумала, что, наверное, он стискивает руки, заложенные за спину. Она должна была подчиниться ему. Ей оставалось одно — следовать за ним.

— Папочка — наша общая забота, — сказала она. — Думаю, завтра я начну получать ответы от всех этих людей.

###### 9

Кристина-Альберта вернулась к своему папочке в сновидении.

Сон был таким странным! Она бродила по свету с Дивайзисом, и они были скованы вместе таким образом, что не могли посмотреть друг на друга, а все время находились рядом. Но благодаря несравненной непоследовательности снов они одновременно были гигантскими идолами из черного дерева и прямо и недвижимо сидели рядом, точно какой-нибудь фараон и его супруга; и они взирали на необъятное пространство. Да, статуями они были колоссальными, а их профили точно повторяли друг друга. На протяжении всего сна она думала о Дивайзисе и о себе как о черных. Пространство между ними было то песчаной пустыней, то бескрайними серыми тучами. Внезапно что-то круглое и белое, подскакивая, скатилось на середину этой арены и оказалось маленьким человеком, таким знакомым маленьким синеглазым человеком, скрученным в шар, обмотанным веревками, страшно покалеченным. Он катался взад и вперед, задыхался, старался высвободиться. Такие мучительные, жалобные усилия! Сердце Кристины-Альберты исполнилось сочувственной нежностью, но, подчиняясь какой-то мощной силе в себе, она встала, а рядом с ней встал Дивайзис, и они размеренным шагом двинулись вперед. Она ничего не могла с собой поделать, не могла остановить мерное движение рук и ног. Они тяжко печатали шаг. Она была лишена голоса, и тщетно пыталась крикнуть: «Мы наступим на него! Мы наступим на него!» Но из ее горла вырывался только клокочущий хрип ужаса...

Они надвинулись на него. Она ощущала, как извивается тело ее папочки под ее подошвами. Он был как надутый бычий пузырь. Его мягкое никчемное тело проминалось и вздувалось под ее ногами. Она забыла обо всем, кроме ее папочки и себя. Почему она так с ним поступила? Дивайзис исчез. Ее папочка цеплялся за ее колени, откуда-то появилась орда гнусных фигур, они принялись его оттаскивать. «Спаси меня, Кристина-Альберта! — умолял он, хотя она не слышала ни звука. — Спаси меня! Спаси меня! Каждый день они меня пытают». Но они уволокли его, и она не могла даже протянуть к нему рук. Потому что была вырезана из черного дерева и составляла единое с Дивайзисом.

Затем в сновидении возник кто-то, не то птица, не то сфинкс с лицом и голосом Лэмбоуна. «Слушай своего папочку, — сказал он. — Не презирай его и не просто жалей. Он может многому тебя научить. Мир ничему не научится, пока не начнет учиться у нелепых людей. Все люди нелепы. И я. Я нелеп. Мы учимся в страдании тому, чему учим в песнях». Она увидела, что ее папочка теперь укрыт лапами сфинкса, и что злодеи исчезли.

Ей стала пронзительно ясной разоблачительная абсурдность ее сна. Хотя до этого она не замечала несуразностей и не замечала, что спит. Но теперь ее невыносимо угнетала мысль, что сфинкс принадлежит Древнему Египту и античной Греции, а Саргон — еще более древнему Шумеру. Сон спутывался. Эпохи, культуры перемешивались. Она указала на это сфинксу-Лэмбоуну, он повернул голову, чтобы ей ответить, и тотчас возвратились злодеи и, воспользовавшись невнимательностью Лэмбоуна, потащили ее папочку с собой. Она попыталась предостеречь Лэмбоуна, но он сказал, что у нее будет достаточно времени, чтобы выручить папочку, после того как вопрос со сфинксом найдет разрешение. Он ведь не сфинкс, объяснил он, а крылатый бык. А то для чего бы ему эта длинная, кудрявая, каменная борода? Она хотела возразить, что борода накладная, и он ее только сейчас прицепил. И вообще это в его духе затевать неуместную дискуссию. А тем временем ее папочка погибает в мучениях. Она осознала это быстро, с тягостной горечью. Он все еще оставался ее папочкой, но его тело изменилось, перестало быть человеческим, преобразилось в высыпавшиеся из корзины фрукты. Если она сейчас же чего-нибудь не сделает, они сгниют и останутся испорченными навсегда.

Она попыталась крикнуть слова утешения и поддержки трагической фигурке, прежде чем сон оборвется — теперь она уже твердо знала, что все это ей снится. Ну, конечно, он невыносимо страдает. Почему она не написала ему, не телеграфировала? Уж наверное, письмо или телеграмму ему передали бы! На нее нахлынуло глубочайшее отвращение к себе, к своей никчемности, бессердечию, и ее поразил глубокий ужас перед болью и жестокостью, и она проснулась в неизбывном отчаянии посреди черной ночи на своей жесткой маленькой кровати в своей душной маленькой спальне в Лонсдейлском подворье.

###### 10

Но она все еще словно видела перед собой своего папочку — покинутого, сломленного, ввергнутого в страшную опасность. Этот жуткий в своей четкости образ не исчезал. Утром она встала, полная тревоги и угнетенная.

— Я ничего для него не делаю, — сказала она. — Откладываю со дня на день, а ведь для него каждый день полон отчаяния.

— Да кнечно, в прютенетак скерно, — сказал Фей. — Кнечно, тыпергбиш палку.

— Но жить среди сумасшедших, считаться сумасшедшим!

— Им кестрыграют. Фоксхилский прютслатся кестром. Развлеченя, то да се, — сказала Фей.

Кристина-Альберта сдержалась и не употребила неприличного выражения.

— Ты из-за этого заблешь, — сказала Фей. — В Лоне тебе сдеть нзчем. Лучше езжай в Шорм. Дом пропдает зря. Пока пгда держится.

Действительно, в этом году октябрьская погода держалась на удивление — один тихий золотой день сменялся другим, и приятель предложил Крамам воспользоваться его бунгало на берегу в Шореме, где он жил летом. Им хотелось поехать, пока погода не испортилась, однако поехать значило оставить Кристину-Альберту в студии совсем одну, а этого они не хотели. Но поехать в Шорем они решили. Кристина-Альберта теперь, когда нашла Дивайзиса, не могла даже подумать о том, чтобы уехать за пределы телефонной связи с ним. Лондон, доказывала она, самое для нее место. В Каммердаун-Хилл она может добраться за час, может следить за всем. Крамы могут ехать, если хотят, но она обязана остаться.

Фей отказывалась понять. И приставала.

Около одиннадцати Кристина-Альберта пошла на почту и из телефонной будки позвонила Дивайзису.

— Нельзя как-нибудь все ускорить? — спросила она. — Я нервничаю из-за папочки. Просто подумать не могу, как он томится там день за днем. Он мне снится.

— Тревогой делу не поможешь. Мы... у меня для вас неприятная новость. Так что возьмите себя в руки.

Он умолк. Кристина, при всей свой любви к Дивайзису, еле удержалась, чтобы не закричать на него.

— Да? Что случилось.

— День посещений был вчера. К нему приходил один посетитель. Вероятно, тот милый родственничек, которого вы описали... как бишь его? Уиглс? А, мистер Уиджери. Но теперь неделю никто из внешнего мира не может увидеть вашего папочку. До следующего вторника.

— О, черт! — сказала Кристина-Альберта.

— Вот именно. Я сделаю все, что смогу, чтобы получить особое разрешение. Я добрался до самого директора. Но он держался странно. То есть был весьма любезен и благожелателен, но он крутит. Не говорит ни «да», ни «нет». Непонятно! Днем я свободен, но завтра занят. Я собирался прямо поехать к нему, к директору, хочу я сказать, чтобы побеседовать с ним после обеда. «Лучше через день-другой», — говорит он. Будем надеяться, что он не скрывает ничего неприятного. Затем обещал позвонить мне позднее и сразу положил трубку. Так что будьте наготове. Какой номер вашего телефона?

— У меня его нет. Вам придется телеграфировать.

— Или я поймаю такси и заеду за вами. Простите, что я заставляю вас ждать, Кристина-Альберта.

— Ничего, если это поможет добраться до папочки.

— Договорились!

В трубке щелкнуло.

Телеграмма пришла через два часа — два часа, которые были заполнены бесконечным спором с Фей о Шореме. Кристина-Альберта прочла: «Ваш отец не появился он убежал утром на рассвете в шлепанцах и халате и о нем ничего не известно если он не приходил встречаемся на вокзале Виктории в два-семь на Камердаун-Хилл позвоните 0247 если он там».

###### 11

Но мистер Примби никуда не пришел. Он исчез.

Кристина-Альберта, изумленная и ошеломленная этим новым исчезновением, поехала с Дивайзисом в Каммердаун-Хилл. Директор был ошеломлен куда меньше их. Саргона хватились в час завтрака, и все указывало, что он просто ушел из приюта. Подобное случалось и раньше. Санитары позволили себе вздремнуть на дежурстве и получат выговор. Ну, а удивляться... директор не собирался удивляться. Сумасшедшие часто уходят и не могут найти дорогу назад или убегают, но власти не поднимают особого шума, если они не опасны. И насколько возможно, стараются, чтобы это не попадало в газеты.

— Это ведь не Портленд, — сказал директор. — Обычно они возвращаются. Даю ему день. Возможно, он уже идет назад. Или прячется где-нибудь в миле отсюда. Я опасаюсь только простуды. Пневмония — наиболее обычная смерть сумасшедших. Но для этого времени года совсем тепло. Такого октября сто лет не выпадало.

Ему гораздо больше хотелось поговорить с Дивайзисом о реформе приютов, убедить его, что он — весьма прогрессивный и способный директор, чем обсуждать конкретно мистера Примби.

— Мы делаем что можем, — сказал он. — Но мы связаны крайней экономией, которую вынуждены соблюдать. Санитары самые плохие, но и тех не хватает. Общественное равнодушие к душевнобольным чудовищно. Все, включая близких родственников, стараются попросту забыть о них.

— Но как Примби сумел выбраться? — спросил Дивайзис. — Ведь территория окружена стеной со всех сторон, не так ли?

— Как и во всем, что касается закона о сумасшествии, лицевая сторона выглядит лучше изнанки, — сказал директор. — Но практически мы своего рода стеной окружены. Когда-то тут был помещичий дом с огороженным парком. А одно время — в восемнадцатом веке — тут помещалась школа для мальчиков.

Он показал им из окна над крышами служб пределы сада и фермы за ними, спускающихся к ручью и отделенных от дороги стеной, а также старыми дубами и терновником.

— Лично я, — сказал директор, — признаю необходимость кардинальнейших реформ в самое ближайшее время.

— Хотелось бы знать, не может ли пролить свет на это кузен Уиджери, — сказал Дивайзис.

— Уиджери?

— Вчерашний посетитель.

— Разве? — сказал директор и подошел к своему столу словно за какой-то бумагой. — Насколько помнится, фамилия была другая. Что-то вроде Гудчайлд. Но, возможно, я спутал.

— Мистер Сэм Уиджери, — сказала Кристина-Альберта, — ни в коем случае не захотел бы, чтобы папочка выбрался отсюда. Вероятно, он приезжал удостовериться, что его не собираются выпустить. Или просто чтобы позлорадствовать. Дядя Сэм не очень милый человек. Возможно, он хотел убедиться, что в стене нигде нет проломов.

Директор забыл свои сомнения о фамилии, перестал искать бумагу и обернулся к ним, осененный новой мыслью.

— А вы не думаете, что тут действует вражда? Вы не думаете, что он отправился свести счеты с мистером Уиджери? Где живет этот мистер Уиджери?

Но и Дивайзис, и Кристина-Альберта не думали, что мистер Примби мог вернуться в Вудфорд-Уэллс.

— Куда вероятнее, что он отправился в Кентербери, или в Виндзор, а то и прямо в Рим, — сказала Кристина-Альберта.

— Или в Месопотамию... или в Британский музей, — сказал Дивайзис.

— Да куда угодно, — сказала Кристина-Альберта с нотой отчаяния.

Они вернулись в Лондон в полной растерянности. Кристина-Альберта хотела отправиться в полицейский участок Каммердауна, настаивать на поисках в окрестных деревнях, но Дивайзис объяснил, что это может принести больше вреда, чем пользы. До этого момента Кристина-Альберта ничего не знала о единственной доброй слабости в английских законах о сумасшествии — о последствиях четырнадцати дней на свободе. Если сумасшедший сбегает из приюта и остается на свободе указанный срок, он (или она) становится вновь здоровым в глазах закона и не подлежит возвращению в приют без нового осмотра и нового медицинского заключения. Если вся округа начнет разыскивать Примби, это может завершиться его насильственным возвращением в приют. И что бы ни произошло, тайна ни в коем случае не должна попадать в газеты.

— Но пока мы ничего не делаем, он может лежать мертвым в какой-нибудь яме в стороне от дороги, — сказала Кристина-Альберта.

— Если он мертв, то ему все равно, если его отыщут не сразу, — сказал Дивайзис.

Да, оставалось только ждать в Лонсдейлском подворье на случай, если он вернется туда. Крамы отбыли в Шорем, и Кристина-Альберта осталась в студии одна, но после первого бесконечного дня Пол Лэмбоун вспомнил про агентство под названием «Всеобщие тетушки», и оттуда прислали подходящую даму, чтобы ей не приходилось бдеть там круглые сутки.

Прошел день, второй, третий. Саргон не подавал признаков жизни — ни нового созыва учеников, ни визитов к королю. Он испарился. Образ маленького изуродованного тела в яме сменился в лихорадящем воображении Кристины-Альберты его муками в глухой одиночке. Но рассудок гонит тяжелые фантазии, которые ни к чему не ведут, и воображение Кристины-Альберты вскоре перестало заниматься ее папочкой до поступления новой пищи. «Так или иначе, он найдется», — повторяла она неуверенно и принялась усердно читать вечерние газеты. Ее снедал страх, как бы он не нашелся под слишком уж сенсационными заголовками. Подобно ранним христианам она начала готовиться ко Второму Пришествию. Загадка исчезновения папочки превратилась в умственную привычку, превратилась, так сказать в рамку, в арку просцениума, обрамляющую заботы дня. Под ее сенью она вернулась к неотложной, необычайной проблеме самой себя и своих отношений с Дивайзисом.

###### 12

Было очевидно, что их взаимное открытие волнует его почти также, как ее. Возможные деяния Саргона, которые, когда они вышли бы на свет, могли оказаться самыми фантастическими, для него, как и для нее, сохраняли первостепенную важность, но мысль об этой нежданной кровной связи полностью заслоняла даже их. Обоих обуревала взаимная потребность встретиться, обнаружить, какая магия симпатии и понимания может таиться в их родстве.

Вечером после водворения в студии Всеобщей Тетушки Дивайзис пригласил Кристину-Альберту пообедать с ним в приятном итальянском ресторанчике в уголке Слоун-сквер, а потом вернулся с ней в студию, и они проговорили почти до часа ночи. Стеснительно, но с заботливой настойчивостью он старался узнать ее намерения, ее цели в жизни, ее занятия, понять, что можно сделать, чтобы ее способности полнее раскрылись. Он очевидно был склонен взять на себя всю родительскую ответственность, какая была в его возможностях, при сохранении полного декорума и так, чтобы не поранить самоуважение исчезнувшего Саргона. Она его привлекала и нравилась ему. Ее чувства к нему были более бурными, сильными и неопределенными. Она не особенно хотела его помощи или поддержки. Мысль о какой бы то ни было зависимости от него скорее отталкивала ее, чем прельщала, но она хотела завоевать его, понравиться ему, оправдать его ожидания, быть лучше, чем он думал, и по-особому интересной. Она хотела, чтобы он питал к ней симпатию... нет, чтобы она была ему дорога. Она хотела этого с тревогой и трепетом.

Ей нравилась доверительная непринужденность, с какой он обходился с официантами, таксистами и им подобными. Казалось, он точно знал, как поступят люди, а они, казалось, точно знали, как поступит он, и все обходилось без нервного напряжения, без «кха-кха». Эти общие атрибуты привычной состоятельности были так мало ей знакомы, что представлялись его особым достоинством; и они создавали впечатление, будто он владеет ситуацией и безмятежно направляет разговор, тогда как на самом деле им владело почти такое же любопытство и душевное волнение, какие испытывала она сама, и он тоже действовал наугад. Глаза, которые встречались с ее глазами, пока она говорила, были внимательными, дружескими, заинтересованными, ласковыми, и они покоряли ее сердце.

За обедом он вначале говорил о музыке. Его воспитание музыки не включало, и теперь он открыл ее для себя. Один друг водит его на концерты, и он обзавелся пианолой, «чтобы сначала проводить домашнюю подготовку». Но воспитание Кристины-Альберты музыки тоже не включало, и она еще не открыла ее для себя. Так что эта тема вскоре иссякла. Он испробовал картины, но опять-таки особого интереса у нее не вызвал. Они помолчали.

Он поглядел на нее и улыбнулся.

— Мне бы хотелось задавать вам всяческие вопросы, Кристина-Альберта, если бы у меня хватало смелости, — сказал он.

Она покраснела — так глупо!

— Спрашивайте о чем хотите, — сказала она.

— Колоссальные вопросы, — сказал он. — Например, в общем, на что вы настроены?

Она сразу поняла, но не была готова ответить и уклонилась.

— Настроена! — повторила она, выигрывая время. — Полагаю, искать моего пропавшего папочку.

— Нет, но вообще? Что вы делаете со своей жизнью? К чему стремитесь?

— Сама не знаю, — сказала она наконец. — Как, полагаю, и многие из моего поколения. Особенно девушки. Вы старше меня. Я ведь только начинаю. Не хочу быть нахальной, но ведь вам легче сказать, на что настроены вы? Почему бы... — Ее чуть испуганная серьезность исчезла в задорной улыбке, которая пришлась Дивайзису очень по вкусу, — почему бы первый ход не сделать вам?

Он взвесил ее слова.

— Вполне по-честному, — сказал он. — Я вам отвечу. Возьмите еще маслину. Я рад, что вам нравятся маслины. Я их тоже люблю. Меня уже очень давно никто не призывал к отчету. Так в чем моя игра? Честный вопрос. — Но, видимо, не из легких. — Полагаю, начать следует с моей философии, — сказал он. — Долгая история. Но идею подал я.

Кристина-Альберта возрадовалась тому, как успешно увернулась от допроса. Вместо того чтобы демонстрировать себя, она может наблюдать за ним. И она наблюдала из-за вазы с цветами, так что официанту пришлось дотронуться до ее локтя, когда он подавал ей фазана.

— Так с чего начать? — И он начал. Она слышала о прагматизме? Да. Вероятно, в этой области она была более начитана, чем он. Ну, так он, видимо, своего рода прагматик. Большинство современно мыслящих людей, по его убеждению, прагматики, так, как он это понимает.

Прагматики? Как он это понимает? Он встретил ее взгляд и объяснил. Понимает он это так: мы — никто из нас — не видим реальность ясно; быть может, в лучшем случае кому-то удается приблизиться к реальности. То, что мы воспринимаем — это лишь та часть реальности, которая достигает нас через наши весьма убогие способности к ее интерпретации.

— Отличный фазан, — прервал он себя. — Ради него мы должны заключить три минуты перемирия. Я говорю не слишком бестолково? Боюсь, что...

— Нет, я понимаю, — сказала Кристина-Альберта.

— Быть может, я начал слишком уж издалека.

— Фазан...

— Вернемся к моему кредо, — сказал он вскоре. — Но помните, Кристина-Альберта, потом настанет ваш черед.

— Оно будет не таким четким, как ваше, — сказала она. — И я украду кое-что из вашего. Но продолжайте... рассказывать мне.

— Ну, держитесь, Кристина-Альберта. Чувствую, что я буду одновременно и расплывчатым, и сжатым. И я не уверен, что вы знаете, а чего нет. Если я скажу, что в отношении природы вселенной, ее начала и конца, я агностик, это вам о чем-нибудь говорит?

— Именно то, что думаю я, — сказала Кристина-Альберта.

— Итак... — Он начал заново и запутался в отступлениях. Затем появилось мороженое «Мельба» как отвлечение и возможность для нового начала. Он развернул передней видение мира, как он представляется психологу — которое ей показалось своеобразным, но привлекательным. Он пользовался языком мыслей и понятий. Она привыкла к языку, выражающему все через труд и материальную необходимость. Жизнь, сказал он, это непрерывность, все в жизни взаимосвязано. Он попытался проиллюстрировать это. Сознательная жизнь большинства низший животных была крайне индивидуальной — ящерица, например, была просто самой собой, просто сочетанием своих инстинктов и потребностей; она не получает знаний и традиций и ничего не передает себе подобным. Но высших животных учат, пока они юны; они приобретают знания, и учат других, и общаются между собой. И люди — гораздо больше всех остальных животных. Они создали пиктографию, речь, устные традиции, научные записи. И теперь существует общее сознание расы, огромный и все возрастающий конгломерат знаний и истолкований.

— Люди вроде нас — это просто его срезы. Мы индивидуально приобщаемся к нему, реагируем на него, чуть-чуть изменяем и исчезаем. Мы лишь преходящие фазы этого растущего сознания, которое, насколько нам дано судить, может быть бессмертным. Вам это кажется абракадаброй — или просто чушью?

— Нет, — сказала она. — По-моему, я улавливаю суть. — Она взглянула на его сосредоточенное лицо. Нет, он вовсе не снисходил до ее уровня, а просто старался открыть ей себя, как умел. Он говорил с ней, как с равной. Как с равной!

То была его общая философия. А теперь он переходит к вопросу о себе самом, сказал он. Над чашечками с кофе и пепельницей на обмахнутой скатерти он стал очень серьезным. Поясняюще жестикулировал. Был старательно ясным. Себя он видит в двух фазах или, пожалуй, на двух уровнях бытия. Примерно двух. Разумеется, между ними существуют связи и промежуточные стадии, но, формулируя идею, их можно отбросить. Во-первых, он — древний, подчиняющийся инстинктам индивид — боязливый, жадный, похотливый, завистливый, нахрапистый. Это первичное эго. Он должен заботиться об этом первичном эго, потому что оно несет все остальное его составляющее — как всадник следит, чтобы его лошади задали овса. Глубже лежат общественные инстинкты и склонности, порожденные семейной жизнью. Это второе эго, общественное эго. Человек, изрек он, это существо, которое становилось все более и более сознательно общественным за последние двести — триста тысяч лет. Он удлинял свою жизнь, удерживал своих детей при себе все дольше и больше, расширил свою общность от семейных орд до кланов, и племен, и наций. Глубоко заложенная непрерывность жизни становилась все более очевидной и находила все более и более конкретное выражение в этом преобразовании человека в общественное существо. Воспитывать кого-то в истинном смысле слова — значит пробуждать в нем все большее и большее осознание этой непрерывности. И важность эго лихорадочных страстей тогда уменьшается. Истинное воспитание и образование — это самоподчинение более великой жизни, общественному эго. Естественные инстинкты и ограниченность первичного эго находятся в противоречии с этим более широким скрытым потоком, образование — *хорошее* образование — накладывают на них узду.

— И я, — сказал Дивайзис, — как и мы все, существо, раздираемое внутренним противоречием: более быстрые, яростные смертные инстинкты борются с более глубоким, спокойным, менее ярко озаренным, но в конечном счете более сильным устремлением к бессмертным целям. И я... как бы это выразить?.. лично я, насколько могу, поддерживаю более глубокое. Мои склонности, характер и стечение обстоятельств привели меня к психологии как профессии. Я тружусь, чтобы внести свою лепту в накопленные знания о человеческом сознании, в его понимание. Я работаю во имя просвещения. Моя конкретная работа — изучать и исцелять больные, смятенные сознания. Я пытаюсь приводить их в порядок, распутывать, просвещать. Но главное — я стараюсь учиться у них. Я ищу физические или душевные причины их расстройства. Я пытаюсь излагать как могу яснее и доступнее все, что я наблюдаю и узнаю. Это моя работа. Это моя цель. Она определяет направление моей жизни. Ей я стараюсь подчинить все связанное с моим индивидуальным существованием. Но удается это мне не всегда. Индивидуальная обезьяна во мне иногда вырывается наружу и гримасничает на крыше. А иногда ее общество очень приятно, дает передышку от переутомления. Тщеславие и радости плоти приносят свою пользу. Но пока оставим обезьяну. Я не хочу быть блистательной личностью, я хочу быть жизненно-важной частью. В этом мое кредо. Я хочу быть колесиком в механизме, которое называют специалистом-психологом. Вот на что я настроен, Кристина-Альберта, выражаясь в общем. Вот что я, по-моему, такое.

— Да, — сказала Кристина-Альберта в глубоком размышлении. — Конечно, я не способна дать такой отчет. У вас есть своя система. Полная.

— И законченная, — сказал Дивайзис. — Свою историю вы должны рассказать по-своему. В вашем возрасте... все ваши убеждения должны быть в подвешенном состоянии.

— Не знаю, есть ли у меня история, чтобы рассказывать.

— Во всяком случае, попытайтесь. Так будет по-честному.

— Да.

Наступило короткое молчание.

— Просто замечательно вот так разговаривать с вами, — сказала Кристина-Альберта. — Просто замечательно, что с кем-то можно разговаривать так.

— Я чувствую, что вам и мне... необходимо понять друг друга.

На мгновение она встретила его серьезный взгляд. Ее захлестнула волна чувств. Она не могла говорить, и только протянула руку к его руке, и на мгновение их руки соприкоснулись.

###### 13

Изложить свой символ веры Кристине-Альберте пришлось уже в студии, после того как они вернулись туда и отпустили Всеобщую Тетушку. Но даже и тогда приступили они к этому не сразу. Дивайзис прохаживался по студии, рассматривая рисунки Гарольда. И определил по ним характер Гарольда с удивительной верностью, решила Кристина-Альберта. Его заинтересовала Фей.

— А миссис Крам какая? — спросил он. — Покажите мне что-нибудь ее личное. Что-нибудь, в чем бы она выражалась.

Кристине-Альберте было очень приятно думать, что он с нею так робок. Ей это казалось признанием их равенства. Он ее уважал, а ей так хотелось, чтобы он ее уважал!

Наконец он бросил якорь в ярко-размалеванном кресле у газового камина; и Кристина-Альберта, попорхав по комнате, встала перед камином, широко расставив стройные ноги и заложив руки за спину, в позе, которая глубоко шокировала бы ее предков женского пола на много поколений в глубь веков. Но Дивайзис шокирован не был. Ему становилось все интереснее и интереснее наблюдать за ней, он откинулся в кресле и смотрел на нее с живым восхищением. В подавляющем большинстве мы привыкаем к нашим дочерям мало-помалу, и когда они вырастают, легко выдерживаем тяжесть заключенного в них чуда, как Милон — тяжесть быка, которого взвалил на плечи впервые еще маленьким теленком. Не так уж часто мужчина внезапно обретает неизвестную дочь двадцати одного года.

Она сказала, что в метафизике особенно не разбирается; она материалистка.

— Никаких молитв у колен мамочки? Религия мамочки и папочки? Школьные молитвы и наставления? Церковь или молельня?

— По-моему, все это смывалось и выцветало сразу же.

— И никакого страха перед адом? Все мое поколение прошло через страх перед адом.

— Ни малейшего, — ответствовал Новый Век.

— Но... тоска по Богу по ночам?

Кристина-Альберта помолчала.

— Да, бывает, — сказала она затем. — Бывает, что и нахлынет. Не знаю, насколько это важно, да и важно ли вообще.

— Это, — медленно сказал Дивайзис, — связано с желанием быть чем-то бОльшим, чем просто жалким червем... с отвращением к низости... и тому подобным.

— Да. Вы знаете об этом больше?

Как ни странно, он не ответил.

— А как вы видите себя по отношению ко всему человечеству... и животным... и звездам? Какое чувство долга живет в вас? По какой вы думаете идти дороге?

— Хм, — сказала Кристина-Альберта. Она считает себя коммунисткой, сказал она, хотя в партии не состоит. Но знакома с теми, кто в ней состоит. Она произнесла несколько лозунгов: «материалистическое понятие об истории» и так далее. Он сказал, что не понимает, и задал несколько вопросов, которые вызвали у нее раздражение. Она мыслила совсем по-другому. Сперва она не осознала, насколько различна их фразеология. Это становилось все очевиднее, пока они говорили. Казалось, он не находил достаточно похвал для идеи коммунизма, разве не была она совершенно сходной с его собственной идеей быть частью чего-то большего в жизни? Однако для практики коммунизма он не находил сказать ничего, кроме самого скверного. Марксистский коммунизм, сказал он, не несет в себе ничего конструктивного. Всего лишь отдушина. В нем нет идеи, нет плана. Кристина-Альберта была вынуждена защищаться.

— Восторженное отношение к идеальному коммунистическому государству далеко не так важно, как вопрос о конкретной коммунистической тактике в разлагающемся обществе, — продекламировала она почти официальным тоном. Так говорили ее молодые друзья, состоящие в партии. Но в разговоре с ним это выглядело не столь эффективным. Он цеплялся к каждой ее фразе. Он хотел узнать, что именно она подразумевает под разложением общества, и было ли когда-нибудь общество, не разлагавшееся активно и одновременно столь же активно развивавшееся? И что такое хорошая тактика вне обшей стратегии? И может ли вообще существовать стратегия без ясной цели окончания войны? Она возражала с большим жаром, чем убедительностью, и в их тоне появилась ожесточенность.

Он нажимал на различия в их мнениях. Для него коммунизм означал новый дух, дух научного преобразования мира по общей научной схеме, а партийный коммунизм по самой своей сути опирался только на сегодня. Он был перенасыщен чувствами и идеями нынешних социальных классов, естественным недовольством обездоленных. В нем был сердитый догматизм отчаявшихся людей, неуверенных в своей силе. Ему не хватало страсти творческого самозабвения. Многие коммунисты, сказал он, просто капиталисты наизнанку, эгоисты без капитала; они жаждут мести и экспроприации, а когда добьются своего, то останутся лишь с развалинами общества и необходимостью начинать все сначала. Они подозрительны и нетерпимы, потому что в них нет внутренней уверенности. Они не доверяют своим лучшим друзья, которые могли бы стать их истинными вождями, ученым вроде Кейнса и Содди.

— Кейнс — коммунист! — язвительно воскликнула Кристина-Альберта. — Да он же не признает первейший научный факт классовой войны.

— Это не такой уж и факт, и, во всяком случае, не Первейший Научный Факт, — ответил он. — Кейнс медленно создает понятие научно-организованной системы товарного обмена. Большинство ваших приятелей в России как будто неспособны даже понять, насколько такая вещь необходима!

— Но они понимают!

— И как они это показали?

— Да что вы знаете о русских большевиках?

— А что о них знаете вы? Просто смотрите на ярлычки на людях. Ничего подлинного без красного ярлычка, а с ним — все подлинное.

Она сказала, что он видит все с «буржуазной» точки зрения, а он весело посмеялся ее понятиям о социальных классах. В Англии нет буржуазии, — сказал он. Она пустила в ход кое-какие стандартные сарказмы и эпатажные аксиомы своих коммунистических друзей, но с необычным для нее отсутствием убежденности. Ему легко критиковать, сказала она, ведь он живет на проценты с вложенного во что-то капитала.

— Так было бы легче! — Он улыбнулся. — Но я живу на свои гонорары.

— У вас есть капитал!

— Небольшой. Но я живу не на него.

На время спор угас. Она решила, что все-таки сражалась неплохо, учитывая ее возраст и положение. Жар раздражения остыл, и они перешли к более конкретному интересовавшему их вопросу — вопросу о том, как она намерена распорядиться своей жизнью.

###### 14

— Мы прогрессируем, Кристина-Альберта, — сказал Дивайзис, — но все еще в силе правило, что жизнь женщины очень во многом детерминируется характером и занятиями... ведущего актера в спектакле. Вы уже бывали влюблены?

Ей хотелось рассказать ему о себя всю правду, но есть вещи, рассказывать о которых невозможно. Она замялась и густо покраснела.

— В наши дни... — сказала она и осеклась. — У меня есть воображение. Я пожила в Лондоне. Может быть, мне почудились.

На мгновение его взгляд стал пронзительным, оставаясь ласковым.

— Я была влюблена... в определенном смысле, — призналась она.

Он кивнул, и она испугалась: он, казалось, понял все.

— Я не хочу ставить мою жизнь в зависимость от мужчины, — пояснила она.

— Да, умные девушки этого никогда не хотят. Не больше, чем умные молодые люди хотят тратить свою жизнь на поклонение какой-нибудь богине.

— В любом случае я не представляю себя в роли рожающей детей домашней прислуги, — сказала она.

— Даже в браке. Да, я сомневаюсь, что это в вашем характере. Но если вы намерены отвергнуть этот легкий жизненный путь — а он легкий, чтобы ни говорили люди, — если вы намерены стать такой же самостоятельной, как мужчины, вам нужно заняться мужской работой, Кристина-Альберта. И уж тогда никаких душечек Фанни!

— Я?! — спросила Кристина-Альберта.

— Нет, не думаю. И в таком случае, мне кажется, вам необходимо пополнить свое образование. Вы умны, но бессистемны.

— Моего образования хватит, чтобы найти работу. И учиться дальше.

— Учиться! — сказал он. — Это займет все ваше время. Я предпочел бы, чтобы вы не отказывались остаться студенткой еще два-три года. А о материальной стороне не тревожьтесь. Мы с вами принадлежим к одному клану — состоящему практически из двух членов, — и я его глава. Я о вас позабочусь, как о сыне. Ну, а теперь, какая это будет работа? Юриспруденция? Медицина? Общее образование для журналистики или деловой сферы? Теперь для женщин открываются двери, и с каждым днем все новые.

На это Кристина-Альберта могла ответить подробнее. Кое о чем из перечисленного она думала. Ей хочется узнать о жизни и о мире в целом. Не могла бы она получить год для физики, биологии и геологии в основном, и еще антропологии? Это возможно? А тогда, если она подойдет для медицинской работы, еще год на психиатрию или политику и здравоохранение?

— Я понимаю, что это довольно много, — сказала она.

— Много! Целая энциклопедия за один год.

— Но я хочу знать все это.

— Естественно.

— А можно мне заниматься подольше?

— Вам придется заниматься подольше.

— Но не слишком ли это честолюбивое желание?

— Не слишком, будь вы в брюках. А мы согласились в такой мере сделать вас бесполой. Почему бы вам и не быть честолюбивой?

— Вы думаете, я могла бы потом вести работу... научную работу, как вы?

— Почему бы и нет?

— Девушка?

— Вы из того же теста, что и я, Кристина-Альберта.

— Выдумаете... когда-нибудь... я даже смогу работать... работать с вами?

— Родственные умы могут пойти одним путем, — сказал он, полностью признавая их родство. — Почему бы и нет?

Она глядела на него с темным волнением в глазах, и он на мгновение понял все, чем мог бы стать для нее. Она была смелой, и чудесной, и честолюбивой; из ничего в его жизнь вошло чудо. И она хотела, чтобы их отношения перешли, как они и могут перейти, в нечто очень глубокое и неизмеримо важное для них обоих.

И он заговорил о контрасте между студентами и студентками, и мужчинами и женщинами как работниками.

— Вы никогда не будете действовать параллельно мужчинам, вы, эмансипированные женщины, так что не ждите этого. Вам надо выработать свой путь, быть может схожий, но иной. Иной до самых корней.

Он указал, что, вероятно, мужская натура обладает своими качествами, которых женская лишена, и наоборот, вплоть до мышечных волокон и нервных окончаний. Может настать время, когда, поместив под микроскоп срез кожи или каплю крови (либо употребив какой-то сложный реактив), мы с легкостью определим пол того, у кого их взяли.

— Мужчина, — сказал он, — сопротивляется. Мужчина несгибаем. Он обладает большей инерцией, как физической, так и умственной. Она удерживает его на избранном пути. Мужчины по сравнению с женщинами упорнее и тупее. Женщины по сравнению с мужчинами быстрее и глупее. Дубинка и шило.

Он заговорил о своих студенческих днях, когда медички были еще новинкой, а затем перешел к предрассудкам своего отца, к тому, как тот обращался с его матерью, и к дням своего детства. Вскоре они уже обменивались воспоминаниями о детских иллюзиях и фантазиях. Непринужденность, с какой он говорил, заставила ее забыть о разнице в их возрасте. Он рассказывал ей о себе, признав ее право узнать о нем побольше. С дружеским интересом он слушал все, что она сочла нужным сообщить ему о своем папочке и о себе — своих впечатлениях и немногих приключениях, которые выпали на ее долю, как студентки из пригорода. Они разделяли радость, которую доставляла им замешанная на доброте нелепость Пола Лэмбоуна. Вскоре она сообразила предложить ему выпить. От Крамов остались бутылка пива и сифон содовой. Но Дивайзис попросил чаю и помог ей поставить чайник. А тем временем взаимные исследования продолжались. И в разговоре их взаимная симпатия обогащалась, становилась глубже. Ей еще никогда не приходилось сталкиваться с таким дружеским и обаятельным любопытством. У нее были друзья, но такого дружеского чувства она прежде не знала. У нее был любовник, но о подобной близости она понятия не имела.

Он ушел во втором часу ночи.

Разговор иссякал. Дивайзис несколько секунд просидел в задумчивости.

— Мне пора, — сказал он и встал.

Они посмотрели друг на друга, не находя нужных слов для прощания.

— Было так чудесно разговаривать с вами, — сказала она.

— Это чудо — найти вас.

Новая пауза.

— Для меня это очень много, — сказала она неловко.

— Мы еще поговорим... много раз, — сказал он.

Он хотел назвать ее «моя милая», но нелепая стеснительность помешала ему. А она догадалась о несказанном.

В коридоре она остановилась перед ним, выпрямившись, с румянцем на щеках, с сияющими глазами, и он удивился, что не счел ее красавицей с самого начала.

— Пока до свидания, — сказал он, улыбнулся ей серьезной улыбкой, взял ее руку и задержал в своей.

— Спокойной ночи, — сказала она, поколебалась, открыла перед ним зеленую дверь и постояла, глядя, как он идет через подворье.

В дальнем конце он обернулся, помахал ей и скрылся за углом.

— Спокойной ночи, — прошептала она, вздрогнула и посмотрела по сторонам, словно опасаясь, что кто-то может подслушать ее мысли.

Отец. Ее отец!

Так значит, настоящие отцы заставляют тебя словно светиться внутри.

Он оставил ее натянутой точно скрипичную струну, на которой неподвижно лежит смычок. А вот папочку, который не был ее отцом, она бы крепко обняла и расцеловала.

### Глава II

### Как Бобби украл сумасшедшего

###### 1

Человек может быть знатоком психологии, но не заметить самых многозначительных деталей при детективном расследовании. Директор Каммердаун-Хилла подумал было, что фамилия посетителя Саргона была не Уиджери. Ему казалось, что она была Гудчайлд или что-то в этом роде. Но поскольку в мире Кристины-Альберты не было ни одного известного ей Гудчайлда, ни она, ни Дивайзис не позаботились разобраться поподробнее. И ни она, ни Дивайзис не спросили себя, для чего Сэму Уиджери было навещать своего родственника во второй раз. А он его и не навестил. В тот вторник Саргона навестил молодой человек — много моложе Уиджери; он облыжно выдал себя за племянника Саргона и сообщил, что зовут его Робин Гудчайлд. На самом деле его звали Роберт Рутинг, и явился он с единственной целью — извлечь Саргона из приюта как можно быстрее, потому что ему была невыносима мысль, что Саргон находится там.

Обстоятельства вкупе с природными склонностями внушили Бобби величайшее отвращение к любым видам заключения. Его мать, кроткая смуглянка, жена корпулентного светловолосого помещика, никем, кроме себя, не интересовавшегося, умерла, когда Бобби шел тринадцатый год, и его поручили заботам суровой старомодной тетушки, считавшей чуланчик под лестницей лучшим дисциплинарным средством. Когда она обнаружила, как угнетающе на него действует заключение там, она принялась излечивать его от «трусости» щедрыми дозами чуланчика, даже когда он ни в чем не был виноват. Учился он в школе, где дисциплина поддерживалась запрещением прогулок. Война унесла его отца, который умер скоропостижно от чрезмерного возбуждения, командуя зенитным орудием во время воздушного налета, и она же привела Бобби через тягостные дни Месопотамской компании и осаду Кута в чрезвычайно малоприятную турецкую тюрьму. Вероятно, он в любом случае был бы добросердечным малым, но теперь он с таким неистовством ненавидел клетки, что готов был повыпускать даже канареек. Ему претили решетки, огораживающие парки и скверы: с пропагандистской страстью он писал статьи о них в «Уилкинс уикли», требуя «освобождения» деревьев и кустов, и еще он старался поменьше ездить на поезде, потому что в купе на него наваливалась клаустрофобия. Короткие расстояния он одолевал на велосипеде, а когда поездка предполагалась длинная, брал мотоциклет Билли. Он всячески подавлял свою потребность в широких открытых пространствах, чтобы не утруждать других людей, но Тесси с Билли знали про это и делали что могли, чтобы облегчать ему жизнь.

Бороться Бобби приходилось не только с клаустрофобией. Он постоянно вступал во внутренний конфликт с нежеланием в большинстве случаев что-либо предпринимать, которое, он полагал, развилось в нем как следствие его военных злоключений. Иногда оно казалось ему просто ленью, иногда брезгливостью, иногда чистейшей трусостью и подлостью. Он сам не знал. Его терзало воспоминание о жестокой расправе, которую он наблюдал в лагере для военнопленных, стоя в стороне и не вмешиваясь. Иногда он просыпался в три ночи и говорил вслух: «Я стоял рядом и не вмешался. Господи! Господи!! Господи!!!» А иногда он расхаживал по своей комнате, повторяя: «Действуй! Ты, брюква! Ты, трусливый заяц! Иди же, действуй!» А тем временем он жил по накатанной колее и делал все, что ему подвертывалось. Как «Тетушка Сюзанна» он был безупречен: неутомимый в сочувствии, четкий в советах, он действительно помогал своим корреспондентам. «Уилкинс уикли» им гордилась. Он был становым хребтом этой газеты.

И теперь из-за Саргона он разрывался между желанием освободить этого маленького человека, который всецело завладел его воображением и симпатией, и ощущением, что, попытавшись ему помочь, он вступит в поединок с грознейшими силами. Только после отчаянной борьбы с собой он все-таки посетил полицейский участок и больницу на Гиффорд-стрит. Он опасался въедливых вопросов, а главное, опасался, что его «задержат». Больница оказалась отвратительным местом с высокими стенами и мощеным двором, зловеще отгороженным от замусоренной улицы снаружи. Вернувшись оттуда, он долго колебался, продолжать или нет.

— Бобби дуется, — заявила Сьюзен Тесси. — Он глупый. Сидит и говорит: «Надо подумать». А зачем ему думать? Сказал, чтобы я была умницей и ушла вниз. Да-а... Так и сказал... Хотел, чтоб я ушла... Я б-б-больше не люблю Бобби-и-и-и...

Неизбывное горе. Град слез. Тесси исполнилась сочувствия.

Но после чая Бобби повеселел и нарисовал для нее картинку «на сон грядущий», присел на ее кроватку и убаюкал ее сказкой, как обычно. Тесси поняла, что худшее для Бобби уже позади.

За ужином Бобби изложил свои планы.

— Я намерен поехать завтра в Каммердаун-Хилл, — сказал он лаконично.

— Повидать Саргона? — понимающе спросила Тесси.

— Если смогу. Но день посещения не завтра, он во вторник. Хочу поглядеть, что там и как.

Билли поднял брови и положил себе масла.

— Но... — сказала Тесси и замолчала.

— Что? — спросил Бобби.

— Ты не сможешь его увидеть. Ты ведь не знаешь, под какой он там фамилией.

— Наверняка они называют его мистер Саргон, — сказал Билли.

— Его фамилия Примби. У него была прачечная. Так мне сказали в больнице. *Его родные хотят оставить его там* ! Мне невыносимо об этом думать, — сказал Бобби, помолчав.

— Не понял, — сказал Билли.

— Этого милого человечка превращают в сумасшедшего. Он был как синеглазая пичужка. Высокие стены. Дюжие надзиратели. Саргон, Царь Царей... Я должен что-то сделать, не то взорвусь.

Вид у него был одновременно и нерешительным, и отчаянным. Тесси призадумалась.

— Лучше поезжай, — сказала она.

— Но какой толк? — сказал Билли и осекся под взглядом Тесси.

— Ты не одолжишь мне мотоциклет и коляску? Они же тебе до конца недели не нужны.

— Коляску можешь отцепить, — сказал Билли.

— Она может мне понадобиться, — сказал Бобби.

— Не хочешь же ты... — сказал Билли.

И Бобби действительно чуть не взорвался.

— Не важно, чего я хочу! Я сказал, что съезжу в Каммердаун-Хилл осмотреть его. Конечно, я никчемный осел, Билли, но не поехать я не могу. У бедняги же нет ни единого друга. Его собственная семья помогла запереть его. За семьями такое водится. Дьявольский мир! Я должен что-то сделать. Хотя бы задать им встряску. Если я отложу еще хоть на день, то начну шлепать Сьюзен.

— Не помешало бы, — сказал Билли.

— Если бы только удалось спрятать его на четырнадцать дней...

— И он свободен! — сказала Тесси.

— Во всяком случае, потребуется новое заключение, — сказал Бобби.

###### 2

Бобби обнаружил, что деревушка Каммердаун находится почти в двух милях от приюта и весьма успешно старается не иметь с ним ничего общего. Она прячется среди деревьев чуть в стороне от шоссе в Эшворд и Хастингс и может похвастать маленькой тесной гостиницей, которая предоставила Бобби унылый номер, а его мотоциклету с коляской — место под навесом, где уже стояли две повозки и «форд» и кишели куры. Час был еще ранний, и, оставив в номере старый рюкзак со своими «вещами», он, небрежно помахивая тростью, отправился, с небрежным видом на разведки, чтобы разработать план спасения Саргона. Золотая осень все не кончалась. Приятный проселок, по которому он направился к шоссе, был усеян зелеными и желтыми листьями каштанов, ветви деревьев пронизывали солнечные лучи. Безмятежность этого дня ободрила его. Она приветствовала его с ласковой серьезностью, и он почувствовал, что спасение людей из сумасшедших домов — это свершение, которое озаряется солнцем и приветствуется природой.

Приехать сюда из Лондона стоило больших усилий. Он чувствовал себя мошкой, вступающей в единоборство с готовой к бою с вселенной. В заторе под Кройдоном он чуть было не повернул назад, но тут же почувствовал, что не сможет смотреть в глаза Тесси, если хотя бы не потерпит решительного поражения. А затем с восторгом обнаружил, что чем больше он приближается к месту своего назначения, тем больше крепнет в нем уверенность в себе. Он ощущал себя уже почти равным силе, на которую восставал. В конце-то концов, разве законы и правила не стряпаются людьми вроде него? Что такое тюремные стены, как не медлительный труд ленивых каменщиков и пронырливых подрядчиков? Санитары и надзиратели, директора и так далее — все те, кого он намеревался перехитрить, — наделены теми же слабостями, что и он. Случившееся не терпело отлагательств в своей возмутительности — схватить безобидного маленького фантазера, подвергнуть этому жуткому заключению! С подобным необходимо бороться. Иначе мир станет совсем невыносимым.

И такой странный мир! Такая красота в этих древесных стволах, такая прелесть в шуршании этих листьев под ногами! Но все это — попутно, а истинное назначение жизни — сражаться со злом.

Он вышел из-под деревьев, и перед ним распахнулись пологие холмы, а ближе — угрюмые массивные здания приюта посреди широкого голого пространства, окруженного стенами. Мерзкое пятно на пейзаже. Его цель.

Где-то там заперт Саргон, и его необходимо освободить.

Он уселся на оказавшемся рядом удобном перелазе, принялся рассматривать громоздкие сооружения и попытался составить план. Белое здание в центре смахивало на видавший лучшие дни помещичий дом XVIII века. Наверное, ядро заведения. Перед фасадом по траве шли двое, видимо, пациенты. Стена и ограда вдоль дороги выглядели неприступными. Две сурового вида сторожки, в которых, конечно, укрывались сердитые привратники, и двое железных ворот — одни открытые. Из них выезжал фургон. Мебельный. На несколько минут мысли Бобби сосредоточились на возможности стать торговцем, доставившим тюки или ящики... Нет, слишком много трудностей...

— Но к чему фронтальная атака? — спросил Бобби вслух, пораженный этим открытием. Приют располагался на уходящим вниз склоне. Надо разведать тылы. Если пройти по открытому склону вправо, он, вероятно, найдет место, откуда можно будет хорошо рассмотреть всю территорию приюта.

Час спустя Бобби сидел на куче щебня у обочины узкой дороги, которая огибала холм позади приюта. И вид оттуда открывался более многообещающий и интересный, чем со стороны фасада. Поля, на которых работали люди, и в одном месте неподалеку от зданий шеренга мужчин копала канаву под присмотром санитара. А совсем близко от них под большим навесом пятеро-шестеро человек ходили взад и вперед. Видимо, был час прогулки. Бобби расстроился при мысли, что любой из них может быть его Саргоном. Если бы у него достало здравого смысла захватить бинокль, упрекнул он себя, ему, возможно, удалось бы различить лицо своего маленького друга.

— Смутность мышления, — прошептал он. — Нерешительность.

Многие там расхаживали вроде бы совершенно свободно с лопатами и другими садовыми орудиями. Один, разглядел он, бродил, энергично жестикулируя, словно разговаривал сам с собой. Явный пациент — и за ним никто не следил.

Стена, огораживавшая приют с этой стороны заметно отличалась от внушительной стены со стороны фасада. Видимо, она сохранилась со времен поместья. В нескольких местах ее обвивал плющ, над ней кое-где простирались ветви деревьев. Справа от него склон круто уходил вниз, и в самом низком месте из-под стены струился ручей. Место это было затенено деревьями и словно оставлено им и кустам. Ручей выбегал из-под низкой арки и по все расширяющейся долине продолжал свой путь к Лондону. Уединенность и укромность этого уголка очень понравились Бобби. Он пришел к выводу, что именно здесь следует извлечь Саргона из приюта. Надо только спуститься туда и как можно точнее определить возможности арки. Если бы добиться, чтобы Саргон спустился сюда...

Но оказалось, что предусмотреть все частности крайне трудно. Он хотел разработать план во всех подробностях и сообщить его Саргону в ближайший день Посещений, но план никак не склеивался. Он не знал, когда Саргону будет легче всего ускользнуть. Днем? Ночью? И ему представились, сколько всего надо выяснить, а также подозрительные взгляды людей, у которых придется это выяснять.

— Черт! — сказал Бобби, и ему вновь захотелось оставить все как есть.

Почему нельзя войти в эти ворота смело, властно и сказать: «Здесь находится нормальный человек, и я пришел его освободить»? Так поступил бы супермен или архангел. Как было бы замечательно стать архангелом и странствующим рыцарем, величественным, огненным, светозарным духом, крылатым и могучим — восстанавливать справедливость, укрощать угнетателей, освобождая все существа, томящиеся в неволе. Вот тогда можно было бы браться за любое дело! И Бобби погрузился в детские мечты.

Потом заставил себя очнуться, встал и спустился к арке. Перелезть через стену, решил он, нетрудно. Даже маленькому пожилому джентльмену. Ручей струился по камушкам, вытекая из короткого туннеля. Забраться на территорию приюта или выбраться оттуда было очень легко — либо перелезть через стену, цепляясь за плющ, либо по ручью. И он задумал вернуться сюда в сумерках и — в частности, чтобы проверить свою смелость — забраться на территорию приюта и походить там.

Да, он так и сделает.

И представил себе, как помогает Саргону перебраться через стену. Например, залезть на ее верх и протянуть ему руки. Это и калеке по силам. Мотоциклет придется оставить на проселке. А потом? *Куда он с ним поедет* ?

Новое препятствие. Некоторое время мыслительные способности Бобби были совсем парализованы сложностями его затеи. Он как-то не подумал, что Саргона надо будет куда-то отвезти.

Дни, остававшиеся до дня посещения, словно бы одновременно и еле ползли, и летели с пугающей быстротой. Летом он пожил в Димчерче с Молмсбери, и ему очень понравилась хозяйка, у которой он снимал комнату. Он телеграфировал ей: «Можно мне приехать родственником не больным но переутомившимся на неделю или около того помните я жил вас летом Рутинг „Перья“ Каммердаун». И получил ответ: «Рада вам в любое время». Так что с этим все было в порядке, но остальная часть плана никак не складывалась. Вечернюю прогулку по территории приюта он совершил без каких-либо дурных последствий.

Утро дня посещений он встретил с полудюжиной планов, но у каждого были свои слабости, и ни один не выглядел лучше или хуже остальных. И он успел к этому дню обойти приют на разных допустимых расстояниях ровно двадцать три раза, не считая петляния, и возвращения, и новых посещений того или иного места, представляющего особый интерес. К счастью, сумасшедшие дома слишком заняты своими внутренними делами и не выставляют дозорных на стенах. Спасителей извне они не опасаются.

Окончательный выбор из этих разнобойных планов Бобби сделал за завтраком, приступая к бекону. С принудительным хладнокровием и звенящими от напряжения нервами Бобби отправился в приют, чтобы увидеться с Саргоном и приступить к его спасению по окончательному плану. Во-первых, ему необходимо выяснить, какой свободой передвижения обладает Саргон и когда именно ему представится возможность выбраться к стоку ручья, после чего они договорятся о времени встречи. Затем надо будет договориться о других часах на случай, если Саргон не сможет прийти в назначенное время. Бобби будет ждать под стеной, спрятав мотоциклет с коляской в кустах у дороги. Во мгновение ока Саргон переберется через стену. А тогда они только посмеются над погоней. Помчатся в Димчерч, и там в полной безопасности (там его не выследят!) Саргон не будет выходить из дома, пока пятнадцать дней не истекут, и он вновь обретет юридический статус человека в здравом уме. А тогда Бобби разыщет этих его родственников, потолкуете ними и все уладит. Таков был план Бобби.

У самой сторожки он решил назваться вымышленным именем. Ему было не совсем ясно, зачем он решил скрыть свою фамилию, но псевдоним как-то больше отвечал духу этого приключения.

###### 3

Саргон, когда ему сообщили, что к нему пришел мистер Робин Гудчайлд, находился в угнетенном состоянии духа. Услышав это имя, он не выразил ни малейшего удивления. Имя как имя. Быть может, имя какого-нибудь проницательного инспектора или даже глашатая освобождения, на которое он все еще надеялся. Он воспрял духом, бодро подчинился проверке опрятности своего вида и согласно кивнул, когда его предостерегли «не болтать про все», что он тут видел.

И еще больше воспрял духом, когда увидел доброе смуглое лицо Бобби. Единственный ученик, который как будто уверовал. В смутном порыве он протянул ему обе руки. Каким бы недотепой Бобби не представлялся себе, для Саргона, по крайней мере в этот момент, он был источником силы и надежды.

Встретились они в комнате для свиданий на первом этаже, ибо никому из внешнего мира не дозволено заглядывать в палаты, знакомиться с безрадостной реальностью будничной жизни в сумасшедшем доме. Посреди приемной стоял обтянутый бязью стол, черный набитый волосом диван у стены и много стульев. В ней не было ни единого небольшого предмета, на столе лежали расписание поездов и два-три иллюстрированных еженедельника, а стены украшались пожелтелыми гравюрами принца Альберта и королевы Виктории на фоне шотландских гор и вида Виндзорского замка с Темзы. Три-четыре тесные группы из двух или трех людей каждая разговаривали, тактично понижая голоса; несколько женщин, маленькая девочка; заплаканная дама в глубоком трауре сидела в стороне у пустого камина, несомненно ожидая пациента; два санитара тщились делать вид, будто изо всех сил не вслушиваются в разговоры кругом. Все пациенты в приемной были в наиболее нормальном своем состоянии — «в состоянии принимать посетителей». Никаких признаков сумасшествия заметно не было, ну разве небольшие проявления нервности. В ожидании Бобби наблюдал за этими душами, и его внимание привлекла какая-то настороженность в их поведении. Настороженность эту он связал с бдительностью санитаров. Один вроде бы смотрел в окно, другой сидел у стола вполоборота, держа в руке старый номер «Графика», но то и дело оба быстро поглядывали то на одного пациента, то на другого. А Бобби и в голову не пришло, что беседовать с Саргоном ему придется не наедине. Это его заметно обескуражило. Как в такой обстановке давать необходимые инструкции?

Бобби сразу заметил, что Саргон заметно похудел с того дня, когда снял комнату на Мидгард-стрит. Вид у него был больной и измученный. Впечатление это усугубляли плохо побритое лицо и скверно сидящая на нем одежда. Глаза словно стали больше, но глубже запали в глазницы, а на лбу появились более заметные морщины. И все же, хотя он выглядел более несчастным, он, казалось, яснее осознавал, что происходит вокруг, был уже не так погружен в свои грезы.

— Я приехал узнать, не могу ли чем-нибудь помочь вам, — сказал Бобби, пожимая его руки. — Ваши друзья и ученики беспокоятся о вас.

— Вы приехали ко мне, — сказал он, покосился на прислушивающегося санитара и понизил голос. — Ко мне... *к Саргону* ?

Бобби уловил ноту сомнения и огорчился.

— К вам, Саргону, Царю из былого.

— Они хотят, чтобы я это отрицал, — прошептал Саргон.

Бобби поднял брови и кивнул, словно говоря: «От них всего можно ждать!»

Маленький человек сказал другим тоном:

— Но как знать? — Он вздохнул. — Как знать? В чем можно быть уверенным?

— Может быть, сядем и поговорим? — сказал Бобби. — Нам нужно о многом сказать друг другу.

Саргон огляделся. В углу стояли два стула, и в этом углу подслушать их будет труднее.

— Не могу понять этого безумия, — сказал Саргон, когда они сели. — Не могу разгадать эту предложенную мне загадку. Почему Сила, почему Бог допускает, чтобы люди впадали в безумие? Ведь тогда они за пределами добра и зла. Что они такое? Все еще люди? Во что превращается справедливость, во что превращается праведность... когда люди сходят с ума? — Его голос стал еще тише, глаза забегали. — Тут происходят ужасные вещи, — шепнул он. — Ужасные. Неслыханно ужасные.

Он умолк. Некоторое время они с Бобби молчали.

— Я хочу забрать вас отсюда, — сказал Бобби.

— Мои друзья что-нибудь делают? — спросил Саргон. — Что делает Кристина-Альберта? Как она?

— Великолепно, — ответил Бобби наугад. Конечно, кто-то из мерзкой семейки Саргона, с радостью оставившей его тут. — Выслушайте меня внимательно.

Но Саргону надо было рассказать о многом.

— Тут все только и думают о том, что делают для них их друзья снаружи. Бедняги подходят ко мне и делятся этим. Они знают, что я отличен от них. Они пишут письма, прошения. Я говорю им, что, когда Бог меня освободит, я о них не забуду. Некоторые смеются надо мной. Они страдают галлюцинациями. Думают, будто они короли, или императоры, или богачи, или великие ученые, и что мир в заговоре против них... Некоторые подозрительны и жестоки... Души, одевшиеся мраком... У некоторых омерзительные привычки. Не хочешь, но видишь... Некоторые совсем пали... потеряли человеческий облик... Невозможно описать. Это очень тяжело, очень.

Синие глаза смотрели куда-то внутрь.

— Сомнений, что я Саргон, нет, — сказал он внезапно и внимательно посмотрел на Бобби.

— Другим именем я вас не называю, — сказал Бобби.

Мгновение осознания миновало.

— Этот человек, Примби, спал непробудным сном... и даже снов о жизни почти не видел. *Но мне было дано узреть!* Я смотрел на мир с высоты. И из мрака тоже... Саргон. Саргон — другой человек... Но так трудно...

Он умолк.

Бобби чувствовал, что они топчутся на месте. Свидание это представлялось ему иначе: говорил он, а Саргон слушал. И подслушать их было некому. А теперь — неожиданность за неожиданностью. Но изложить свой план он должен. Саргону необходимо объяснить, что от него требуется. Он опасливо покосился на ближайшие к ним группы.

— Среди нас, — заговорил он тихо и быстро, — есть те, кто хочет вас освободить. Мне надо вам сказать... — Внезапно его осенило: иносказание! — Когда я заговорю о Центральной Азии, то буду подразумевать это место, приют. Вы поняли?

— Это место... Центральная Азия. Если я Саргон... Тогда все, вполне возможно, что-нибудь еще. Но тем не менее мы по-прежнему в Англии.

— В реальности. Но я хочу вам объяснить...

— Да-да, объясните.

— Я буду говорить о великих открытиях в Центральной Азии. А иметь в виду это.

Но понял ли он?!

— *Спасение* ! — прошипел Бобби на ухо Саргону, покосился на санитара, встретил его взгляд и осекся.

— Расскажите мне об открытиях, — сказал Саргон после паузы, будто не слышал этого решающего слова.

— Обозначение этого места, — сказал Бобби.

На лице Саргона отразилось недоумение, а санитар теперь смотрел прямо на них. Может быть, уже заподозрил что-то? Бобби жарко покраснел и без паузы принялся описывать открытия поразительного русского, которого он назвал Бобинским. Бобинский обнаружил обнесенный стенами город, не имеющий выхода.

— Да? — с интересом спросил Саргон, а санитар уже отвел глаза.

— Вроде этого места, — сказал Бобби и добавил выразительно: — Я говорю об этом месте.

Через город, запертый в стенах, протекала река и выбегала наружу в нижней его части. И там ждал тот, кто хотел помочь. Спасители. Место, где они ждут. Он понимает? Там росли три дерева, а река вытекала из-под стены. Там они ждали. Там они будут ждать, пока пленный царь не выйдет к ним.

— Любопытная история, — сказал Саргон. — А кто этот пленный царь?

— Подразумеваетесь вы.

— Видимо, вы говорите об Евфрате, — сказал Саргон. — Евфрат мне снится.

Он ничего не понял! Задумался о своем. Евфрат! Какое отношение Евфрат имеет к Центральной Азии? Или к приюту? Ну какое?

— Ах, ты! — сказал Бобби. — То есть... я говорю о реке поменьше, о ручье. Прямо тут. Неужели вы не понимаете?

Высокая женщина с худым острым лицом в шляпке из жесткой черной соломы направилась к ним и села почти рядом. Говоря, Бобби следил за ней краешком глаза. Родственница пациента или же... что она тут делает?

— Я говорю аллегорически, — сказал Бобби, все еще следя за женщиной и размышляя о ней. — Этот город — ваша тюрьма. — Он заметил, как женщина обменялась многозначительным взглядом с санитаром, который перешел ближе к середине комнаты. Они знают друг друга! Значит, она здесь тоже, чтобы следить!

— Мне другой тюрьмы не нужно, — сказал Саргон, видимо, совершенно запутавшись. — Одной тюрьмы вполне достаточно.

— Я не о том, — сказал Бобби. — Вы ходите здесь свободно?

— Нет, — сказал Саргон. — Не свободно.

— Не могли бы вы выйти на прогулку? Завтра.

Женщина повернула в его сторону острый лисий нос и уставилась на него довольно глупыми зелено-голубыми глазами.

Нервы Бобби окончательно сдали. Женщин он всегда боялся больше, чем мужчин. Эта чопорная остроносая женщина, которая явно подслушивала все, что он говорил, причем с явной враждебностью, окончательно его доконала. Он попытался придумать историю о забытых и вновь открытых городах, которая была бы абсолютно ясна Саргону и абсолютно непонятна слушающей. Но его изобретательность спасовала перед столь трудной задачей. Где река вытекает из города, повторил он. И начал повторять так и эдак: где деревья и плющ на стене, где ждут верные. Какой час благоприятен Учителю, чтобы выйти к ним? Все готово. Так когда же? Обрывочно, перемежая их всякими не идущими к делу подробностями, Бобби пытался втолковать смысл своих намеков Саргону. То он выражался почти ясно, то, вновь пугаясь подслушивания, возвращался к бессвязным иносказаниям. Ему как будто удалось вызвать у Саргона ощущение тайны и чего-то зреющего, это он видел, но этим все и ограничивалось. А время шло. Бобби готов был задушить эту чертову перечницу. Она все больше и больше прислушивалась к его беспорядочным попыткам. И он вернулся к исходному пункту, к Бобинскому.

— Никакого Бобинского нет, — сказал он вдруг.

— Но тогда как же он мог находить города? — спросил Саргон, все более очевидно запутываясь в чуши, которую порол Бобби.

— Он мертв, — сказал Бобби. — Он был просто маской.

— Да, такие люди бывают.

— Забудьте Бобинского. Сможете вы пробраться к стене туда? Нет-нет. Она смотрит. Не отвечайте!.. Теперь можно: ответьте!

— Не понимаю, — сказал Саргон.

Бобби почувствовал, что только все больше сбивает Саргона с толку. Но что ему оставалось? Он готов был надавать себе пинков — почему он не принес краткое изложение своего плана, аккуратно написанное на листочке, который незаметно всунул бы в руку Саргона или в его карман? Было бы так просто! Он мог бы начертить карту, снабдить ее рисунком. Но поздно!

Бобби охватило отчаяние. Все пошло не так. Он встал, но тут же сел, чтобы попробовать еще раз. Он ненавидел эту мымру, ненавидел себя, ненавидел даже непонятливого маленького Саргона.

— Вы так добры, что приехали меня навестить, — сказал Саргон. — А зачем вы приехали?.. Выдумаете, мне можно помочь?.. Вы повидаете Кристину-Альберту? Когда я вас увидел, то подумал, что у вас есть, что мне сказать, что-то важное. Здесь только такими надеждами и живут. Здесь, когда нет посетителей, ничего не происходит... ничего приятного. И так грустно... Конечно, эти города в Центральной Азии меня интересуют, но не совсем понятно... Вы приехали ради них? Или просто повидать меня? Приезжайте снова. Даже спуститься сюда, в эту гостиную, уже событие.

И быстрым шепотом он добавил:

— Еда тут ужасная. Так скверно приготовлена. Она мне вредна...

— Эта женщина, — сказал Бобби, направляясь к двери. — Она все испортила. Так бы и убил ее.

— Эта женщина? — повторил Саргон и проследил взгляд Бобби. — Бедняжка, — сказал он. — Она глухонемая. Приезжает навестить брата. У них в семье все либо такие, либо сумасшедшие.

В полном исступлении Бобби шагал к себе в гостиницу. Бросить все? Об этом даже подумать нельзя! Надо придумать новые планы... совершенно новые. Начать сначала. Бедняге здесь, очевидно, очень скверно. Но добраться до него оказалось труднее, чем он думал.

Бобби не спал всю ночь.

###### 4

Ночью перед рассветом Саргон внезапно проснулся и все понял. Совершенно ясно понял, о чем ему говорил этот молодой человек. Он сказал: «Спасение!» Конечно, он подразумевал бегство. Город в Центральной Азии был просто аллегорией, он же так и сказал. Он описывал место на территории приюта, то место, где ручей бежит мимо поля, скрываясь за кустами, куда пациентам не позволяется ходить. Он говорил о друзьях, которые будут ждать снаружи. И пытался договориться, в каком часу этим друзьям придти туда. А Саргон не понял! Он замер, приподнявшись на постели.

Все так ясно, но в тот момент он не понял из-за тупости, которая порой овладевает им. Молодой человек сердился, что вполне естественно. Что он сделает теперь? Попробует еще раз? Будут ли друзья ждать?

Кто этот молодой человек? Имя незнакомое... Или он забыл? Но он верит! Сказал же он: «Другим именем я вас не называю». Саргон! И друзья, о которых он говорил, которые снаружи ждут царя. Они должны знать. Как они могли бы знать, если бы знать было нечего? Вдруг это все-таки не сон! Быть может, мир пробуждается... А он не оправдал их ожиданий. Он не понял... Они ждали снаружи.

Как тихо вокруг! Странная, необычная тишина. В этом месте настолько редко замирают все звуки! Темно, но не совсем темно. Палату тускло освещала лампочка под синим колпаком. Три соседние кровати пустовали, а дальше человек, который почти не переставая ворочался и бормотал, против обыкновения погрузился в недолгий покой. Человек, который буйствовал, умер три дня назад, а человека, который внезапно начинал громко кричать, перевели в другую палату. В открытую дверь через площадку была видна внутренность залитой желтым светом комнатушки, где Брант, санитар палаты, скрестив руки на груди и уронив подбородок на грудь, спал над разложенным пасьянсом. Он, казалось, был один — и спал так крепко! А где же второй — новый санитар, имени которого Саргон не знал? И все же у него было ощущение, что кто-то только что вышел.

За незавешанными окнами была ночь — мрак, становившийся прозрачным, полоса черных туч и пять бледных звезд. По нижнему краю этой прямоугольной картины можно было смутно различить кружево древесных ветвей и кудрявую вершину дубка, еще не сбросившего листья. Деревья вдоль первой ограды. На его глазах эти очертания обретали четкость. Словно медленно проявлялась фотографическая пластинка в темной комнате. Звезды исчезали. Их же было пять? Теперь мерцали три, а две остальные растворились в бледном разгорающемся свете.

Осмелиться и выйти на площадку? Если Брант проснется, можно сослаться на какую-нибудь естественную причину. Брант хорошо к нему относится. Но тот, другой?..

Нигде не видно. Куда он мог уйти?..

*Делай, не откладывая!* Мудрейшая из максим.

Саргон быстро соскользнул с кровати, надел халат и шлепанцы. Ш-ш-ш! Что это?! Просто кто-то храпит. И все. Он вышел на площадку и остановился. Брант спал как убитый. Каменная лестница была освещена и пуста, а из открытой двери слева внизу доносились всхрапывания спящего. Казалось — какая редкость! — весь мир спит, кроме Саргона и друзей, ждущих за стеной. Где-то кто-то кричал и выл, но эти звуки приглушались расстоянием и забытыми дверями. Они только оттеняли тишину, царящую вокруг.

И вдруг — легкий щелчок, от которого сердце Саргона отчаянно забилось. Затем — гулкий удар. Второй. А! Просто часы внизу отбивают шесть.

Очень тихо, но и очень решительно, он сошел по ступенькам. Его вели интуиция и инстинкт. Он ощутил сквозняк и прищурился на дверь. Подумать только, она приотворена! Засов отодвинут, замок отперт! Коллега Бранта ушел по какому-то своему делу. В лицо Саргона пахнуло холодным воздухом свободы.

Дверь открылась и закрылась бесшумно. Саргон оказался на крыльце левого крыла приюта, лицом к смутному миру ноябрьского рассвета.

Темнота, но прозрачная, мир черных абрисов и бесцветных форм. Словно все только что протерли мокрой тряпкой. Было холодно, но холод этот не ожесточали пронзительность и ненависть ветра.

Он пересек мощенную щебнем подъездную дорогу, остановился и поглядел вокруг. Массивное левое крыло здания поднималось над ним, уходя в более бледную тьму неба. В перспективе центральная часть дома выглядела призрачной. Кое-где оранжево светились прямоугольники окон, а некоторые лишь чуть мерцали отблесками из коридора. В сторожке слева от ворот тоже горел свет. Ибо там, где безумие, спокойного сна не бывает.

Но в это утро приют был окутан тишиной, максимум возможной для сумасшедшего дома.

Он смотрел и прислушивался. Но звука шагов не различил. Нельзя, чтобы его тут застал второй санитар...

Но, конечно, он где-то уютно устроился. Никто не станет медлить в этом зябком воздухе.

Что Саргону надо было вспомнить?

Друзья и верующие ждут его. Ждут сейчас. Там, где река вытекает из-под городской стены, то есть, где ручей вытекает с территории приюта. Значит, туда — налево и вниз по склону. Он сошел на траву, потому что его подошвы громко шуршали по щебню. Трава шипяще поскрипывала. Ее одел густой иней, и его ноги оставляли черные пятна на тусклом влажном серебре.

Он наискось удалялся от тяжелой черной массы приюта, погружаясь в еще более холодный свежий воздух свободы. Он отодвинул задвижку и прошел сквозь чугунную калитку в чугунной решетке, которая, отделяла аккуратные квадраты газонов перед фасадом от капустного поля. Ее петли жалобно пискнули, и он отворил и затворил ее очень бережно. И пошел через поле. Тропинка перед ним нырнула в туман. Она возникала из тумана у самых его ног и исчезала позади него. Словно бежала под ним, пока он отбивал ритм. Он не помнил, куда ведет тропинка и как она соотносится с нужным ему местом. Но с каждой секундой все вокруг становилось более четким. Что-то темное и мрачное в небе нависало над ним, будто следя за каждым его шагом. Он изо всех сил старался не замечать этой неясной угрозы, потому что опасался собственного воображения. Но внезапно он ясно увидел, что это просто верхушки деревьев поднимаются над туманом. Наверное, это деревья вдоль живой изгороди, параллельной фасаду. Ему надо пройти между ними, если он хочет спуститься по склону. Он свернул с тропинки и медленно пошел вдоль валика замерзшей земли. Огибал длинные ряды капустных кочанов, черных, сморщившихся, растрепанных — будто спешившие казаки на часах. И все они наклонялись в его сторону, будто вслушиваясь в его шаг.

Приближаясь к изгороди и деревьям, он услышал звуки, словно топоток ножек армии муравьев. Это капала вода с веток.

Далеко позади него по шоссе пронесся невидимый автомобиль.

Пробраться сквозь изгородь оказалось нелегко, и какие-то колючки оцарапали ему лодыжку. Он сказал себе, что торопиться не надо — друзья ждут. За живой изгородью земля круто пошла вниз, туман стал белее и гуще. Уже настолько рассвело, что туман выглядел белым как саван. Он полностью скрывал ручей.

Саргон шел медленно. У него не было ощущения, что за ним гонятся. Брант войдет в палату не раньше чем через час, да и потом, возможно, хватится его еще не скоро...

Какая чудесная вещь — рассвет, думал Саргон, и как редко его видишь. Каждый день начинается этим чудом, а мы спим, будто оно нас не касается. И просыпаемся только к привычному дню. Совсем недавно мир был чернильным монохромом, а теперь он окрасился в цвета. Небо заголубело. Все звезды исчезли... но, нет! Не все. Одна все еще сияла — большая, бледная звезда, звезда Саргона. А небо там чуть розовело. Значит, это восток, а это — утренняя звезда висит над трубами склада. Торец приюта, который несколько минут назад был черным бесформенным чудовищем, теперь стал темно-лиловым силуэтом, обведенным чарующим сиянием — карнизы, коньки, трубы, выступы, оконные рамы. В четырех окнах поблек оранжевый свет, а два внезапно погасли.

Что, если кто-нибудь выглянет из окна и увидит его?

Не страшно. Он спустится к ручью и дружеский туман укроет его.

Как удивительно — быть в этом белом тумане и не быть в нем. Туман все время был чуть впереди него. И все-таки его одежда стала влажной. Как похрустывала замерзшая земля, но стоило ее ковырнуть, и она оказывалась мягкой.

Вверху голубизна обретала глубину, теперь ее прочерчивали розовые волнистые облачка.

Он все больше углублялся в мягкий туман. Ступал он теперь по мокрой длинной пожухлой траве. Когда он оглянулся на приют, здание уже скрылось из вида.

*Что это?!* Кто-то шепчется, или бьется сердце какой-то машинки эльфов? Слушай! Вглядывайся! Думай!

Ручей.

Теперь все было легко и просто.

Он пошел вдоль ручья. Теперь вблизи деревья стали видимыми, деревья-служители с туманом вокруг пояса, деревья-часовые, облаченные в белое. Трава здесь была не такой высохшей. А это что — словно густая гряда тумана внизу тумана? Стена. А за этой стеной почти на расстоянии оклика ждут друзья и верующие. Как они осторожны! Ни звука, ни шороха.

Саргон долгое время стоял под стеной у арки. Наконец он очнулся от мыслей и, цепляясь за плющ, вскарабкался на верх стены.

Его никто не ждал. Какое-то смутное четвероногое метнулось прочь из заиндевелого бурьяна внизу, и наступила тишина. Не единого признака спасителей, готовых помочь.

Не важно. Если на то будет Божья воля, они придут.

Он сидел совершенно неподвижно. Он не чувствовал себя покинутым, одиноким. Он чувствовал, что Сила, призвавшая его, была повсюду вокруг.

Медленно, непрерывно разгоралась заря. Облачко, перышком плывшее в небе, вдруг запылало, за ним другое. Мощный луч света, похожий на луч прожектора, только гораздо шире, косо ударил в сторону севера. Затем над пологим горбом дальнего холма протянулось лезвие слепящего света, уподобилось кривому ножу, шапке, куполу — дрожащий, пылающий, полыхающий огонь. И вот, оторвавшись от холма, круглое и красное, взошло ноябрьское солнце.

###### 5

Свет стал совсем дневным, туман рассеялся. Теперь над гребнем холма виднелись крыши приюта, лишившиеся ночной магии, унылые и обычные. Где-то в том направлении лаяла собака.

Странно, что тут никого нет. Этот молодой человек с неизвестным ему именем совершенно ясно дал понять, что тут его ждут друзья. Может быть, они ушли и сейчас вернутся.

Но теперь это большого значения не имело. В любом случае он наблюдал восход солнца почти невероятной красоты. Какая замечательная вещь — солнце! Из всех видимых вещей, наиболее подобная Богу!

Может быть, никаких спасителей тут и не было. Может быть, он понял неверно. Он знал, что отупел. Он все чаще и чаще понимал неверно. Быть может, скоро сторожа начнут поиски и заберут его назад в приют. Возможно, так суждено. Он не позволит, чтобы это его расстроило. Жизнь полна тяжких испытаний и разочарований. Теперь он всем существом ощущал холод и усталость. От его недавней энергии не осталось и следа. Вздрогнув, он заметил, что на склоне напротив него стоит человек. И вновь он ожил. Этот человек стоял неподвижно и смотрел на территорию приюта. Кто-то из служителей разыскивает его? Или кто-то из обещанных спасителей? Один из обещанных спасителей?

Саргон вовсе не был таким спокойным и апатичным, как ему казалось. Он дрожал весь, с головы до ног. Но не от холода, это была дрожь волнения. Он почувствовал, что должен покончить с этой неизвестностью, и будь что будет. Как ему привлечь внимание этого человека? Он помахал рукой. Затем вынул грязный носовой платочек из кармана халата и замахал им. Вот! Теперь человек, казалось, смотрел прямо на Саргона.

Он пошел к Саргону медленно, будто не веря своим глазам. Потом замахал обеими руками и припустил бегом.

Саргон сидел, не шевелясь. Он все время знал, что они придут за ним.

Это был Бобби, совсем рядом, и он кричал:

— Это вы! Саргон!

Саргон не стал его ждать, повернулся, уцепился за плющ и спрыгнул со стены. Они схватились за руки.

— Вы пришли увезти меня!

— Я был в отчаянии. Не верил, что вы меня поняли. Я просто ошарашен... Дайте сообразить, что нам делать теперь. Великолепно! Мой мотоциклет в гостинице. Досадно. Да, идемте. Я должен вас где-то спрятать и сбегать за ним. И мы уедем. Не думал, что у вас нет верхней одежды. Ваша одежда? Ее почти не будет видно. Холодно. Да, конечно. Я захвачу плед. В коляске есть плед.

Он повел Саргона вверх по склону, то и дело оглядываясь на поля приюта. Саргон семенил рядом с ним, безмятежно полагаясь на Бога и Бобби с безграничной кротостью, с какой доверяют преданному слуге.

###### 6

В это утро ум Бобби был ясен и остер. К приюту он забрел потому, что, терзаемый сожалениями, не мог дольше оставаться в постели. Необыкновенная удача встречи с Саргоном восстановила всю его уверенность в себе и в благоприятности хода событий. Он придумал план быстро и решительно. Отвезти Саргона в гостиницу и напоить кофе было невозможно. Едва его хватятся, они тотчас явятся в деревню. А там, конечно, все обратят внимание на нелепую фигурку в халате, шлепанцах и с исцарапанными лодыжками. Надо его спрятать где-то тут. В той буковой рощице за гребнем холма. (Был бы он одет потеплее!) А потом как можно быстрее явиться за ним с мотоциклетом.

Саргон был исполнен доверчивости и послушания.

— Холодно, я знаю, — сказал Бобби, — но неизбежно. Будь бы здесь поменьше мокрых сухих листьев.

— Только поторопитесь, приведите помощь, — сказал Саргон.

— Ни шагу отсюда, — сказал Бобби.

Тайник был не самым надежным на свете — канава, укрытая остролистом, на опушке редкой буковой рощи, но ничего лучше вокруг не было.

— Пока, — сказал Бобби и зарысил к гостинице и мотоциклету. Добрался он туда растрепанный, раскрасневшийся, запыхавшийся — и столкнулся с подозрительностью и нерасторопностью, когда немедленно потребовал счет, отказался от завтрака, удовольствовавшись чашкой чая и куском хлеба с маслом, и принялся паковать свой рюкзак. Но потребовалось переделать массу вещей, занявших нескончаемое время. В довершение десятка проволочек в гостинице не оказалось сдачи, и деньги послали разменивать в деревенскую лавку. Мотоциклет Билли, всегда нравный, никак не хотел заводиться. А тем временем Саргон зябнул среди грязи и мокрой опавшей листвы под роняющими капли деревьями. Или, хуже того: он уже схвачен и его ведут назад в приют-тюрьму.

Было почти восемь, когда Бобби увидел с проселка буковую рощицу, и тут же у него оборвалось сердце: к нему приближались двое дюжих верзил. Он сразу распознал в них приютских санитаров по той ауре унтер-офицерской власти, которая отличает тюремных надзирателей, бывших полицейских, табельщиков и служителей сумасшедших домов. Когда он подъехал ближе, они вышли на дорогу и замахали, чтобы он остановился.

— Черт! — сказал Бобби и затормозил.

Они подошли к нему. Особой враждебности в них заметно не было.

— Извиняюсь, сэр, — сказал один, и Бобби сразу полегчало. — Вон та стена, сэр, это Каммердаунский приют. Может, вы о нем слышали, сэр?

— Нет. А какое из зданий за ней приют? Все они? — Бобби похвалил себя за находчивость и воспрянул духом.

— Ага, сэр.

— Чертовски большой приют! — заметил Бобби.

— Один из тамошних сегодня утром ушел. Безобидный старичок, вот мы и решились остановить вас. Может, вы его видели?

На Бобби снизошло вдохновение.

— По-моему, видел. На нем что-то вроде бурого халата и шлепанцы, а голова ничем не покрыта?

— Он самый, сэр. А где ж вы его видели.

Бобби обернулся и махнул рукой в сторону, откуда приехал.

— Он пробирался по краю поля, — сказал он. — Я его видел... да не больше пяти минут назад. В миле отсюда или чуть дальше. Он бежал вдоль изгороди справа... то есть слева... около каштановой посадки.

— Это он, Джим. Так где, вы сказали, сэр?

Бобби осенила еще более блистательная мысль.

— Если один из вас сядет позади меня, а другой вот в эту штуку... — перегрузка, конечно, но ничего, — я вас отвезу на место. Прямо сейчас.

И не дожидаясь ответа, он начал разворачиваться.

— Вы нам здорово поможете, сэр, — сказал Джим.

— О чем речь! — сказал Бобби.

Бобби теперь был в своей стихии. Усадив их при помощи полезных советов — даже тот, что пониже, еле втиснулся в коляску, а другой придавил багажник точно куль с песком, — он провез их полторы мили, пока не увидел каштан возле живой изгороди. Аккуратно сгрузил их, выслушал искренние, но торопливые слова благодарности, ответил дружелюбным кивком и отправил их бодрой рысью через поле.

— Больше мили он пробежать никак не успел, — сказал Бобби. — Да и бежал не очень быстро. Вроде бы прихрамывал.

— Это он, — сказал Джим.

Бобби послал воздушный поцелуй их удаляющимся спинам.

— А это вы! — сказал Бобби. — Да смилуется над вами Бог, да очистит ваши души. А теперь — к Саргону!

Он помчался назад к месту, где оставил Саргона, опять развернул мотоциклет и посмотрел на опушку рощи, на остролисты, где должен был ждать Саргон. Но из них не выглянула ничья голова.

— Странно! — сказал Бобби и побежал туда, где в канаве затаился Саргон. Никого! Бобби растерянно и испуганно посмотрел по сторонам. После всего, после таких удач, неужели случилась беда?

— Саргон! — воззвал он. И погромче: — Саргон!!

Ни звука, ни шороха в ответ.

Спрятался! А что, если он отполз и потерял сознание? Совсем обессилил!

Бобби коснулись леденящие пальцы страха. Не спутал ли он место? Саргон побрел куда-то, забыв свое обещание? Или, совсем замерзнув, вернулся, измученный, в тепло и привычность приюта? Бобби пошел вдоль канавы туда, где она огибала клин рощи, и за поворотом внезапно узрел справа в канаве маленькую старушонку; старушонку, которая сидела, скорчившись на куче сухой соломы, и крепко спала. На ее голове была видавшие виды верная соломенная шляпка со сломанным пером, на черный жакетик точно шаль был накинут мешок, второй мешок укрывал ее ноги. Лицом она утыкалась в колени, так что видно было только одно красное ухо, а позади нее на краю канавы лежали два шеста, связанные крестом. Бобби никак не ожидал ничего подобного. Как будто мало того, что Саргон исчез, так нате вам! Такая странная замена!

Бобби почти минуту простоял в колебаниях. Разбудить старушенцию и спросить ее о Саргоне? Или тихонечко уйти?

Ну, от вопроса вреда не будет, решил он, подошел к ней поближе и кашлянул.

— Извините, сударыня, — сказал он.

Спящая не проснулась.

Бобби пошуршал листьями, кашлянул погромче и снова извинился. Спящая громко всхрапнула, вздрогнув, проснулась, подняла голову, и открылось лицо Саргона. Секунду он смотрел на Бобби, не узнавая его, затем его рот разинулся в колоссальном зевке. И пока он зевал, его синие глаза прояснились, посмотрели на Бобби осмысленно.

— Я так замерз, — сказал он. — Снял эти вещи с чучела. А на соломе сидеть было сухо и удобно. Соберем его заново?

— Чудеснейшая мысль! — воскликнул Бобби, к которому вернулась вся его бодрость. — Она сделала вас честной женщиной. А идти в этом мешке вы сможете? Нет, собирать его заново у нас нет времени. Сбросьте его с ног и захватите с собой. До коляски и двухсот шагов нет. Там вы снова им укроетесь. Великолепно! Замечательно! Конечно, собирать его заново мы не станем, а умчимся и, когда нас от приюта будут отделять добрые десять миль, остановимся выпить горячего кофе и чего-нибудь поесть.

— Горячего кофе! — повторил Саргон, заметно веселея. — И яичницу с беконом?

— Горячий кофе и яичница с беконом, — сказал Бобби.

— Кофе там... премерзкий, — сказал Саргон.

Бобби усадил Саргона в коляску, поднял верх, установил ветроотражатель и укрыл пледом. Получилась весьма сносная тетушка, видимая лишь смутно. Минуту спустя Бобби был в седле, и, повинуясь удару ноги по стартеру, мотоциклет нетерпеливо заурчал.

Бобби теперь ощущал себя умнейшим из всех, кто когда-либо крал сумасшедших. Хотя что может быть проще, чем похитить сумасшедшего? Если знать, как взяться задело... Они подскакивали и тряслись по проселку, пока не выбрались на гладь шоссе на Эшфорд и Фолкстоун, и тут уж из мотоциклета было выжато все возможное.

— Прощай, Каммердаун! — распевал Бобби. — Каммердаун-Хилл, прощай!

Маленький старенький мотоциклет летел стрелой.

###### 7

Они позавтракали в гостинице возле почты примерно в миле за Оффхемом. Бобби оставил Саргона дремать в коляске и пошел послать телеграмму в Димчерч, извещая о своем прибытии. На почте он замешкался, потому что почтмейстерша куда-то задевала очки. Когда Бобби вернулся, заказанный завтрак был почти готов. Он помог Саргону выбраться из мешка и повел в маленький зал гостиницы. Хозяин был низеньким толстяком с мрачноватым наблюдательным лицом. За извлечением Саргона и его шествием к стулу за столиком, накрытым белой скатертью, он следил с безмолвным удивлением. Затем на время исчез. Затем вернулся в зал к накрытому столику. Несколько секунд он разглядывал Саргона, сказал «хмп!», повернулся и медленно направился на кухню, где кто-то вроде жены занимался готовкой.

— Странный какой-то! — услышал Бобби его вывод и приготовился для беседы.

Появились яичница с ветчиной и кофе, принятые со всей поспешностью. Хозяин стоял рядом и смотрел, отдают ли они должное его меню.

— Значит, не завтракали еще? — сказал он.

— Уже завтракаем, — сказал Бобби, беря горчичницу.

— Издалека едете-то? — осведомился хозяин после задумчивой паузы.

— Порядком, — ответил Бобби предусмотрительно.

— Далеко едете-то? — предпринял хозяин другую попытку.

— Да как сказать, — ответил Бобби.

Хозяин собрал свои силы для решительной атаки.

— Странные к нам заглядывают проезжие, — сказал он.

— Что-то их к вам влечет, — сказал Бобби.

Это поставило хозяина в тупик. Он повернулся и сказал «хмп!» весьма многозначительно.

— Хмп! — сказал Бобби с сугубой многозначительностью.

Хозяин предпринял хитрый демарш, когда они уходили.

— Надеюсь, вы завтраком довольны, — сказал он. — Я что-то не разобрал, дама с вами или джентльмен... А все ж таки...

В этот момент неуемная живость Бобби разыгралась вовсю.

— Это гермафродит, — сказал он доверительным шепотом, на чем и расстался с хозяином.

Но не проехали они и нескольких миль, как он сообщил Саргону о своем решении снабдить его носками, пиджаком и брюками в следующем же магазине, который окажется на их пути.

— А то, — сказал он, — вы двусмысленны. И тогда шляпку, жакет и мешки мы оставим у дороги для того, кому они могут понадобиться. И мне надо послать еще телеграмму. А то в той я допустил ошибку.

По мере того как шли часы, воображение Бобби все больше воспалялось. Он разработал удивительно подкрепленную подробностями ложь о коттедже, пожаре, и о том, как его друг еле успел спастись, накинув на себя лишь то, что оказалось под рукой.

— Все остальное, — сказал Бобби, — буквально превратилось в пепел.

Они едут, чтобы найти приют у варьирующего родственника — у брата, дяди, девствующей тетушки. Мало-помалу подробности пожара становились все более богатыми и удивительными, а частности спасения обретали все большую поразительность. Подобную ложь он излагал с величайшей искренностью и серьезностью. Она была формой спасения... от реальности.

Саргон не говорил почти ничего. Для него это приключение было куда более тяжким испытанием, чем оно в тот момент представлялось Бобби.

Почти все время он был либо втиснут в коляску между поднятым верхом и ветроотражателем, трясясь по шоссе, либо торопливо переодевался у обочины, либо неподвижно сидел в коляске, подкрепляясь под аккомпанемент очень ясных, но странных и обычное совершенно ненужных объяснений его персоны.

###### 8

Миссис Пламер, владелица коттеджа Майрсет в Димчерче, была пугливой вдовой. У нее было доброе надежное сердце, но оно тревожилось из-за всякой всячины. Она экономила и из всего пыталась извлечь выгоду с избыточным старанием. Летом она сдавала почти все свои комнаты, а несколько — даже и зимой, но страдала при мысли, чтО некоторые жильцы могут сотворить с ее мебелью. Она любила, чтобы во всем был полный порядок и чтобы у нее проживали люди более красивые и солидные, чем жильцы миссис Прингл или миссис Макайндер. Бобби ее очаровал, потому что он так удачно подошел для ее последней свободной комнаты и потому что при бритье обходился холодной водой, тогда как все его предшественники во весь голос (в комнате не имелось сонетки) требовали горячей. А еще, приходя и уходя, он всегда находил сказать что-нибудь приятное и не требовал добавок за едой.

Она была очень довольна, когда он написал, прося сдать ему на две недели ее нижнюю гостиную и две спальни — для него и близкого ему человека. В Димчерче мало кому удавалось сдать комнату в ноябре. Они могли приехать «в любой момент» после вторника.

Она сообщила миссис Прингл и миссис Макайндер, что ожидает двух молодых джентльменов, и оставила их под впечатлением, что проживут они неопределенное время.

В среду ее взволновала и ввергла в недоумение серия телеграмм от Бобби. Первая ясно и четко сообщала «приеду с тетушкой около четырех Рутинг». Телеграмма ее огорчила. Два джентльмена были бы куда предпочтительнее.

Но меньше чем через час пришла следующая телеграмма: «Ошибка телеграмме не тетушка дядюшка извините Рутинг».

Ну как понять такое?

Вскоре девочка с почты явилась снова.

«Дядюшка простужен огонь грелки виски».

Следующая сенсационная телеграмма оповещала о задержке: «Непорядок шиной не так скоро позднее Рутинг».

Затем: «Около шести почти наверное хороший огонь пожалуйста Рутинг».

— Очень мило с его стороны, — сказала миссис Пламер, — так меня извещать, но, надеюсь, старичок не окажется очень требовательным.

В шесть камин в нижней гостиной весело пылал, на крюке пел чайник, стол, кроме чайного прибора, украшали виски, сахар, стаканы и лимон, а в обеих кроватях наверху лежали грелки. И тут появились беглецы. Первым чувством миссис Пламер при виде Саргона было разочарование. Она позволила своей фантазии создать образ добродушного покладистого дядюшки, разве что с простудой, излечиваемой виски, дядюшки, который окажется если уж не совсем из золота, то хотя бы золотообрезным. И она несколько преувеличила свои воспоминания о приятности мистера Рутинга, если не сказать сильнее. Едва она открыла дверь на рев и сигналы мотоциклета, как увидела, что ей вновь придется умерить свои предвкушения. В сгущающихся сумерках рассмотреть что-либо толком было трудно, но она заметила, что на Бобби нет положенного кожаного костюма, дополненного перчатками с раструбами и очками, какой надел бы для подобной поездки настоящий молодой джентльмен и какой внушил бы уважение миссис Прингл и миссис Макайндер, и что фигура, которую он извлекает из коляски, никак не может быть фигурой приличного дородного дядюшки. Впечатление было такое, словно в базарный день из маленькой корзины вытаскивают большую курицу.

Когда же Саргон вступил в свет гостиной, разочарование миссис Пламер усугубилось и окислилось. Ей редко доводилось видеть такого странного и иззябшего изгоя общества. С бледного лица жалобно смотрели синие глаза, волосы под неуместной шляпой из черного фетра были всклокочены. Облачен он был главным образом в избыточную пару брюк, которые нервно поддергивал, чтобы они не сползли; а их весьма отягощали заправленные внутрь полы его халата; очень широкие белые носки маскировали старые фетровые шлепанцы, точно гетры, и открывали взгляду истерзанные лодыжки. Вид у него был испуганный. На нее он посмотрел, будто ожидая самого недружеского приема. Да и Бобби рядом с ним выглядел грубоватым, вымотанным дорогой, чреватым всякими неожиданностями и совсем не похожим на скромного молодого джентльмена, который ей запомнился.

Проследив быструю смену выражений на лице миссис Пламер, Бобби понял, что еще неизвестно, останутся ли они в этой уютной, озаренной огнем камина, располагающей к отдыху гостиной. К счастью, запасная ложь, которую он придумал, но пока еще в ход не пускал, удачно подвернулась ему на язык:

— Нет, вы только подумайте! — сказал он. — Они забрали всю его одежду. Даже носки!

— Вроде бы так, — сказала миссис Пламер, — кто они там ни есть.

— Чистейший грабеж. По эту сторону Эшфорда. И мой чемодан тоже.

— А откуда у джентльмена одежда, которая на нем? — спросила она неприятно скептичным тоном.

— Они взамен оставили свою. Я пошел назад по дороге поискать насос, который обронил, и не подозревая, что на английском шоссе может случиться такое. (Дядя, да сядьте же к огню.) А когда я вернулся, их и след простыл, а он... ну да вы сами видите. Вообразите мое изумление!

— И вы даже телеграммы об этом не послали! — сказала миссис Пламер.

— Так ведь уже рукой подать было. Я бы приехал раньше нее. Ну, на сегодня с нас приключений хватит. Такой поездки у меня еще не бывало. Хорошо еще, что мы выпили чаю. Пожалуй, лучше всего дядюшке лечь в постель... пока мы не подыщем ему одежды. Как по-вашему, миссис Пламер?

— После того, как он хорошенько вымоется, — сказала миссис Пламер. Сомнения еще не рассеялись, но в ней пробудилась доброта. — Как вы, наверное, испугались, когда они на вас набросились, — спросила она прямо у Саргона. Его синие глаза воззвали к Бобби.

— Для него это такой большой шок, — сказал Бобби. — Такой шок! Он еще почти не оправился от него.

— Почти не оправился от него, — подтвердил Саргон.

— Сорвали с вас всю одежду, — сказала миссис Пламер. — Подумать только. А вы-то еще и простуженный.

— Вот уложим его в постель. Конечно, если у вас найдется для нас ужин, мы бы поели здесь. Скажем, гренки с сыром или еще что-нибудь такое, и стаканчик горячего грога. А, дядюшка?

— Есть много мне не хочется, — сказал Саргон. — Нет.

— Я ведь не забыл, какими гренками с сыром, миссис Пламер, вы меня попотчевали, когда я возвращался из Хайда и угодил под дождь.

— Ну, гренки поджарить нетрудно, — сказала миссис Пламер, заметно смягчаясь.

— Чудесно, — сказал Бобби. — Сразу поднимет его на ноги. А пока я отгоню мотоциклетку в сарай. Можно? Дядя, вы посидите здесь?

— А тут безопасно?

— У миссис Пламер? Как нигде! — сказал Бобби, открывая дверь и пропуская миссис Пламер перед собой. — Я вам расскажу про него завтра, — добавил он конфиденциально. — Замечательнейший человек!

— А он совсем в себе?

— Всебее не бывает.

— Вид у него такой расстроенный!

— Он поэт, — сказал Бобби, — и на скрипке играет.

Она была полностью удовлетворена.

Но он не чувствовал, что довел этот замечательный день до безупречно успешного конца, пока вымытый, причесанный Саргон не был укутан в одеяло в лучшей уютненькой спальне миссис Пламер.

— Вот мы и в гавани, — сказал он, прошел к себе в комнату и посидел там, придумывая, чтобы такое сказать еще о своем дядюшке, если миссис Пламер возжелает более подробных сведений, когда он сойдет вниз. «Он эксцентричен» — вот, что надо сказать внушительно и категорически. «И очень стеснителен». Дядя, объяснит он, переутомился, слагая героическую поэму о кругосветном путешествии принца Уэльского. Ему требуется полный отдых. И морской воздух. Чем больше времени он будет оставаться в постели и в стенах дома, тем лучше. Он присочинил несколько убедительных подробностей, еще посидел, покачивая носком сапога, встал и спустился вниз. Он был уверен, что не ударит в грязь лицом перед миссис Пламер. Она действительно его ждала. Главной трудностью оказалось ее убеждение, что о грабеже на большой дороге по эту сторону Эшфорда необходимо немедленно сообщить полиции.

— Хм, — сказал Бобби, несколько растерялся, но тотчас принял решение. — Я это уже сделал.

— Но когда?

— Позвонил из будки Автомобильной ассоциации. В эшфордскую полицию. Это же их территория, вы понимаете. А не Ромни-Марша. Ребята там свое дело знают. В эшфордской полиции. Мне пришлось описать украденную одежду и все до последней мелочи. Им палец в рот не клади.

Она скушала это и не поперхнулась. И дальше все пошло прекрасно.

###### 9

На следующее утро у Саргона разболелось горло и заложило грудь. В груди были боли, от жара у него раскраснелись щеки и блестели глаза. Дышалось ему тяжело. Бобби не хотелось обращаться к врачу. Он полагал, что все врачи объединены в Лигу возвращения сбежавших сумасшедших за решетку. Ему чудились секретные сообщения о побегах, рассылаемые всем членам это профессии. Он съездил в Хайд, где купил хины, несколько сортов леденцов от кашля, два йодистых снадобья для груди и тому подобные средства, которые рекомендовал аптекарь. Вернулся он в середине дня. Больной выглядел лучше, и боли как будто утихли. После того как Бобби напичкал его хиной, растер ему грудь и окружил другими целительными заботами, он смог и захотел разговаривать.

— Подушка удобна? — спросил Бобби.

— Очень.

— Вам следует немножко вздремнуть.

— Да. — Саргон задумался. — Мне не надо будет возвращаться в то место?

— Надеюсь, что нет.

Пылающее лицо жалобно сморщилось.

— Обещайте, что я туда не вернусь. Обещайте! Я этого не вынесу!

— Не тревожитесь, — сказал Бобби. — Здесь вы в полной безопасности.

— И не надо будет опять садиться в эту коляску?

— Нет.

— Никогда?

— Да.

— Она подпрыгивала... просто жутко... Где Кристина-Альберта?

Бобби ответил не сразу.

— Вероятно, мне надо объяснить. Я не знаю, кто такая Кристина-Альберта. Я забрал вас из приюта, потому что не верю, будто вы сумасшедший. Но я ничего не знаю о вашей семье. Я вообще ничего о вашей жизни не знаю. Но мысли о том, что вы заперты в приюте, я выдержать не мог.

Саргон некоторое время лежал молча, устремив на Бобби синие глаза.

— Вам было меня жаль?

— Вы мне стали симпатичны с первой же минуты, как я вас увидел на Мидгард-стрит.

— Симпатичен?! Но вы верили, что я Саргон, Царь Царей?

— В общем, да, — сказал Бобби.

— Нет, не верили. Да я и сам, наверное, не верил.

Туманные синие глаза перестали смотреть на Бобби и обратились на небо за окном.

— У меня очень мешались мысли, — сказал Саргон. — Даже и сейчас я не разобрался. Но я знаю, что запутался. Кристина-Альберта — моя дочь. Наследной царевной я ее называл. В Шумере. Она очень милая, смелая девушка. Кроме нее, у меня никого нет. А я бросил ее, ушел и, наверное, очень ее расстроил.

— Так она может и не знать, куда вы попали?

— Наверное, она меня ищет.

— А где она?

— Я все время стараюсь вспомнить. В какой-то студии... с очень странными картинами. Они мне сразу не понравились. Студия в подворье. У него есть название, но я не помню какое. Так глупо! Наверное, Кристина-Альберта там со своими друзьями... и все еще думает, чтО со мной случилось.

— В... в этом месте мне сказали, что ваша фамилия Примби.

— Альберт-Эдвард Примби... Не знаю...

Некоторое время он размышлял, затем снова заговорил:

— Помню, что долгое время я верил, будто я — Альберт-Эдвард Примби, никчемность, маленький человек, влекущий скудную жизнь в прачечной. В прачечной с большими голубыми фургонами. Свастика. Вы и вообразить не можете, какую жалкую убогую жизнь вел этот Примби. И тут я внезапно подумал, что не могу, никак не могу быть Примби и одновременно обладать бессмертной душой. Либо нет Примби, подумал я, либо нет Бога. Невозможно, чтобы они существовали оба. Это ставило меня в тупик и очень тревожило. Потому что я был... и был Примби. Думать у меня не очень получается: задумаюсь, и вот уже словно грежу наяву. Ну и тут пришло доказательство... возможно, я слишком уж ухватился за то, что мне было сказано, счел достаточным. Но Саргон, несомненно, был великим царем, великим! А я — маленький, слабый, не очень умный. Когда служители и санитары запугивали меня, скверно со мной обходились, я не вел себя, как вел бы великий царь, и когда я видел, как они жестоки с другими... другими пациентами, я не вмешивался. Но все равно я продолжаю думать, что я некто иной, а не Альберт-Эдвард Примби, кем я был прежде. Некто более значимый, некто лучше. Но когда я думаю о том, кто я, мысли у меня мешаются и я очень устаю. Может быть, когда я отдохну день-другой, мне будет легче думать обо всем этом.

Бесцветный голос замер, но синие глаза по-прежнему безмятежно смотрели на небо.

Бобби некоторое время молчал. Потом сказал:

— Я видел, как с людьми обращались жестоко. — А потом добавил: — И я ведь посильнее вас.

Саргон ничего не ответил. Казалось, он не слышал. Бобби встал.

— Вам надо хорошенько отдохнуть. Тут вы в полной безопасности. Если мы проведем тут две недели и нас не потревожат, вас вообще уже нельзя будет отослать в то место. Вам удобно?

— Чудесная кровать, — сказал Саргон.

Но какой чудесной ни была кровать, этого было мало, чтобы исцелить больную грудь Саргона. Вечером он выглядел совсем плохо. Ночью его одолел кашель, и кашлял он так мучительно, что Бобби пошел к нему. Утром он был очень вялым и не хотел есть. Бобби сидел внизу в гостиной и работал над кипой писем к Тетушке Сюзанне, которые переслал ему Билли. Он подумывал, не вызвать ли Тесси ухаживать за больным, но для нее не нашлось комнаты. Миссис Пламер настаивала на докторе, он отделывался отговорками, и в конце концов она сама вызвала молодого человека, который только-только начал практиковать там. Бобби выдержал жуткую беседу с ним, но молодой врач вроде бы ничего не заподозрил. В целом он даже успокоил их. Легкие обложены, но ничего хуже. Надо следить, чтобы Саргон был укрыт потеплее и принимал то да се. В сиделке особой нужды нет. Следите, чтобы ему было тепло, и давайте ему лекарства.

Поздно вечером Бобби поднялся к нему пожелать спокойной ночи. Саргону стало получше, и он разговорился.

— Я все думаю о Кристине-Альберте, и мне хотелось бы ее увидеть. Увидеть и рассказать ей, какие мысли мне про нее приходили. Очень любопытные мысли. Может, я для нее значу не так много, как она полагает. Но больше всего я хочу поговорить с ней о молодом человеке, который мне очень не нравится. Как его зовут? Когда я последний раз был в Лонсдейлском подворье, она с ним танцевала.

— В Лонсдейлском подворье!

— Да-да, конечно. Я совсем забыл. Дом восемь в Лонсдейлском подворье на Лонсдейл-стрит в Челси. Но мысли у меня мешаются, и я не знаю, что мне ей сказать, даже если она приедет.

Бобби тут же записал адрес.

— И у вас есть только эта Кристина-Альберта? — спросил он.

— Только она. Двадцать всего. Совсем еще ребенок. Мне не следовало оставлять ее одну. Но со мной произошло что-то вроде чуда... словно весь мир распахнулся. И все остальное вдруг показалось обыденным и ничтожным.

###### 10

«Со мной произошло что-то вроде чуда, словно весь мир распахнулся».

Бобби записал и это. И он допоздна сидел перед огнем в гостиной, обдумывая эти слова и обдумывая телеграмму, которую надо будет утром послать Кристине-Альберте. Завтра ему придется сообщить, кто он такой и чем объясняется его неслыханное вмешательство в дела семьи Примби. Ему самому это было далеко не ясно, а завтра ему предстоит объяснить, вероятно полной негодования молодой девушке, чем ее отец настолько завоевал его симпатию и завладел его воображением, что он решился на подобную эскападу. И он вынужден был заняться самоанализом. Он поймал себя на том, что исследует собственные побуждения и собственное мировосприятие.

Он так хорошо знал и понимал это ощущение «словно весь мир распахнулся». Но еще больше ему было знакомо ощущение мертвой пустоты жизни, его порождавшее. У него, считал он, это постоянное недовольство обыденностью, эта потребность в чем-то неведомом и грандиозном, явились следствием крушения его ожиданий от жизни, которое принесла война. Субъективный аспект перенапряжения нервов. Но не могла же война заставить этого маленького совладельца прачечной, так сказать, эмигрировать из самого себя, отправиться на поиски фантастического вселенского царства. Нет, за этим кроется что-то куда более фундаментальное, чем случайность войны. Наверное, это нормальная потребность людей оторваться от безопасности и комфорта.

Он взглянул на груду писем Тетушке Сюзанне, на материал для следующего номера «Уилкинс уикли», который он выжал из них, и, встав с кресла, вернулся к работе с освежившейся мудростью. Он писал: «Едва человек удовлетворит свои насущные потребности, обретет уверенность в пище, одежде и крове, как он оказывается под воздействием более великого императива и отправляется на поиски тревог и трудностей. А потому я не стану отговаривать „Кройдона“ от желания стать миссионером в Западной Африке, несмотря на его религиозные сомнения и особое чувство, которое вызывают у него люди с черной кожей. Такое место, как остров Шерборо, несомненно, обеспечит ему хорошую, крепкую, укрепляющую и облагораживающую систему тревог и трудностей. Белый, бросив вызов западно-африканскому секретному обществу, навлекши на себя его вражду, уже не будет располагать временем для болезненного самокопания. Ему вряд ли будут выпадать скучные минуты...»

Он перестал писать.

— Звучит иронично, — сказал он вслух. — И не совсем в духе Тетушки Сюзанны. — Он поразмыслил. — По временам мои мысли меня не слушаются. Сегодня я не в настрое.

Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы они заподозрили Тетушку Сюзанну в иронии. Нет! Это не годится. Он зачеркнул написанные пять предложений и отбросил лист. Потом притянул к себе тот, на котором сочинял телеграмму, чтобы наследующее утро отправить ее «Примби, 8, Лонсдейлское подворье, Челси». Он перечел все варианты. Последний гласил: «Ваш отец безопасности но сильная грудная простуда присмотром Рутинга коттедж Майрсет Димчерч желает видеть вас необходима осторожность возвращение надзор повлечет фатальные результаты удобная станция Хайд вас может встретить такси если телеграфируете вовремя но не знаю вас лично я высокий худощавый брюнет Рутинг».

По зрелом размышлении — то, что требуется.

Он попытался представить себе эту Кристину-Альберту Примби. Естественно, синеглазая, вероятно, светловолосая, чуть повыше и попухлее, чем ее отец, с нежным голосом, несколько мечтательная. Она, конечно, застенчивая и ласковая, очень добрая, кроткая и чуть непрактичная. Вероятно, ее следует встретить в Хайде, как только он узнает, каким поездом она приедет. Такси, возможно, ее смутит. А он подскажет ей, что надо делать. Он уже в значительной мере взял на себя ответственность за судьбы этих двоих. И ему нравилось думать так. Ему нравилось думать, что они могут стать по-настоящему его близкими, даже больше, чем Молмсбери. Потому что, если быть с собой откровенным, в семье Молмсбери он был чуть инородным телом. Они хорошо к нему относятся, ведут себя с ним идеально, но прекрасно обойдутся без него. Даже этот дьяволенок Сьюзен прекрасно без него обходится. Он ей нравится, она им командует, но разве он ей совершенно необходим? Нет. И вот наконец-то нашлись, возможно, два человека, которые никак не могут обойтись без него и могут стать близкими ему в невероятной степени.

Конечно, ему придется притвориться более сильным и решительным, чем он есть на самом деле. Он должен сделать это ради них, чтобы они привыкли полностью на него полагаться, а тогда он сможет помогать им справляться с их трудностями.

Он скажет ей... а что он ей скажет? «Я был несколько опрометчив, я знаю, но мне кое-что известно о том, как тяжело для человека в здравом уме находиться в сумасшедшем доме. И я подумал, что самое неотложное — вырвать вашего отца оттуда. Я не предполагал, что он временно забудет ваш адрес. Пожалуй, мне следовало бы поговорить с вами, прежде чем начинать действовать. Но откуда мне было знать, что вы существуете? Пока он мне об этом не сказал. Так часто родственники бывают против освобождения из приюта. Страшно признать такое, но это так».

Затем с юмором и очень скромно он опишет, как все произошло. Он уже почти забыл туманность разговора в день посещений и бесчисленные случайности, приведшие к встрече в канаве. Но у истории есть это свойство исключать ненужные подробности.

Вот так он все расскажет. Ему не пришло в голову, что Кристина-Альберта может быть из тех, кто перебивает и задает щекотливые вопросы.

Он закурил сигарету, прошелся по комнате, остановился у камина и уставился на тлеющие угли. Он уже не сомневался, что Кристина-Альберта — синеглазая, крупная, застенчивая и глубоко в себе таит прелестный юмор и фантазию. Вполне вероятно, что она таит и литературный дар. И, быть может, ему предстоит открыть этот дар, развить его, помочь расцвести пышным цветом. Вместе они будут опекать Саргона, уже наполовину очнувшегося от опьянения грезами. Они найдут, как смягчить болезненное смущение, когда он полностью очнется. Как удачно, если не сказать, судьбоносно, что он был просто вынужден спасти этого бедняжку. Ведь иначе он никогда бы не встретил Кристину-Альберту, никогда бы не обрел клада ее робкой любви...

Э-эй!

— Чушь какая! — яростно воскликнул Бобби и швырнул сигарету на угли. — Дурацкие фантазии. Я же ее еще даже не видел!

Он зажег свечу, погасил керосиновую лампу миссис Пламер со всеми ритуалами и предосторожностями, положенными этому опасному пережитку средневековья, и отправился спать. У двери Саргона он остановился и прислушался. Больной спал, дыша довольно хрипло и порой придушенно кашляя.

— Была бы хоть погода потеплее, — сказал Бобби.

Когда он открыл дверь собственной спальни, пламя его свечи заколебалось и легло почти горизонтально, занавески заколыхались, а листок бумаги на тумбочке слетел на пол. Он поставил свечу и закрыл окно. Поднимался ветер, и по стеклам забарабанили дождевые капли.

### Глава III

### Последняя фаза

###### 1

Среди многих недостатков организма Бобби имелась и повышенная чувствительность к метеорологическим условиям. Затянувшаяся золотая осень кончилась, так что небеса, земля и воздух между ними принялись допекать, раздражать, охлаждать, мочить, затемнять, угнетать и терзать его. Над Димчерчем со стороны мыса Дадженесс и Атлантического океана неслись клубящиеся серые тучи, рваные лохматые бескрайние тучи, полные злобой ведьмы и колдуны, хлеща землю дождем. Под их мантиями накатывали полки волн, грозя издалека, разлетаясь в преждевременные клочья пены, набираясь сил перед штурмом, вздымаясь перед последним ударом о дамбу и взлетая к небу фонтанами мыльных брызг.

— Вперед, малый! — сказал Бобби. — Вперед! Это всего лишь Природа. Не поддавайся ей. Подумай о бедной девочке.

Он заставил себя совершить утреннюю прогулку по дамбе. Его намокшие брючины хлопали его по ногам, точно полотнища флагов по древкам.

— Великолепный ветер, — сказал он Саргону, когда вошел к нему. — Но я бы предпочел, чтобы проглянуло солнце.

— От Кристины-Альберты есть что-нибудь? — спросил Саргон.

— Прийти ответ на мою телеграмму еще не мог. Но она, конечно, приедет, — сказал Бобби и спустился вниз сушить ноги у огня.

Он не думал, что вызов в Хайд встретить юную девушку придет раньше половины первого, а пока он отправился в сарай убедиться, что мотоциклет и коляска вполне готовы для быстрой поездки. Половина первого... половина второго... Бобби перекусил. Он не находил себе места и то и дело подходил к окну взглянуть, не бежит ли девочка с телеграммой от Кристины-Альберты. Около двух огромный, бесшумный, роскошного вида «даймлер» подъехал к воротам миссис Пламер и остановился. В окошке возникла коротко остриженная голова без шляпы и обменялась несколькими словами с шофером, который вылез из автомобиля и открыл дверцу. Из нее появилась красивая, решительная молодая женщина самого современного обличия, без шляпы и в короткой юбке, а за ней худощавый брюнет преуспевающего вида лет тридцати восьми — сорока в голубом костюме из тонкой шерсти и в серой фетровой шляпе. Он открыл калитку перед своей спутницей, и она, оглядывая дом, быстро пошла к дверям.

Бобби сообразил, что Кристина-Альберта не сдержала обещания и не оказалась синеглазой и хрупкой. Она предала его. Но вопреки ее измене им все еще владело теплое чувство, которым он связал себя и ее. И он смотрел, как она идет по дорожке, не в силах совладать с волнением. Только кто, черт побери, этот брюнет? Наверное, родственник. Она обнаружила, что Бобби следит за ней из окна, и их взгляды встретились.

###### *2*

Бобби благодаря инстинкту, который в подобных случаях просыпается в молодых душах, понял, что крайне заинтересовал Кристину-Альберту. Он побеседовал с ней и Дивайзисом в маленькой нижней гостиной миссис Пламер. Обращался он преимущественно к ней, третируя Дивайзиса как фигуру второстепенную, как голос у ее плеча.

— У него сильно заложило грудь, — сказал он. — Он спрашивал про мисс Примби...

— Кристину-Альберту, — сказала Кристина-Альберта.

— ...про Кристину-Альберту все время. Но я только вчера вечером узнал от него адрес. Прежде он никак не мог его вспомнить. Мы здесь уже третий день. Он простудился по дороге сюда.

— Но как вы сюда попали? — вставил Дивайзис.

— На мотоциклете, — ответил Бобби. — Но ему пришлось много ждать, прежде чем мы успели выбраться, а утро было очень холодное, ветреное и сырое, а на нем были только ночная рубашка, халат да шлепанцы. Так трудно все заранее предусмотреть.

— Но как случилось, что вы взялись его спасать?

Бобби улыбнулся Дивайзису:

— Но кто-то же должен был его спасти. — Он вновь повернулся к Кристине-Альберте. — Я просто не мог стерпеть, что его заперли. Видите ли, он снял комнату у моей квартирной хозяйки, и в нем было что-то такое наивное и... и обаятельное. А у меня слабость, симпатия к чудачествам... Вам надо бы подняться к нему.

— Да, нам следует посмотреть на него, — сказал Дивайзис.

(Да кто же, черт дери, этот тип?).

И Бобби дал почувствовать, кто тут главный.

— Мне кажется, пусть сначала одна Кристина-Альберта.

Он проводил Кристину-Альберту наверх к ее папочке и затворил дверь, пока они обнимались. «Ну, а теперь, мистер де Визес, или как вас там, — сказал он себе, спускаясь по лестнице, — вы-то тут при чем?» Он вошел в гостиную и к вящей своей досаде обнаружил, что Дивайзис занял его позицию на коврике перед камином. И в нем проглядывало отдаленное сходство с Кристиной-Альбертой. Бобби почему-то туманно вообразилось, что каким-то образом Дивайзис несет ответственность за то, что Кристина-Альберта не предъявила синих глаз. Он замешкался с тем, что намеревался сказать, и Дивайзис перехватил инициативу.

— Простите мою неприличную прямолинейность, — сказал он, — но не могу ли я узнать, кто вы такой?

— Я писатель, — сказал Бобби, старательно не глядя на боковой столик, на накопившуюся корреспонденцию Тетушки Сюзанны.

— Вы уже пообедали? — спросил Дивайзис в скобках и ответа не получил.

— Могу ли я задать тот же вопрос вам? — сказал Бобби. — Какое отношение вы имеете к мистеру Примби и его дочери?

— Я кровный родственник, — ответил Дивайзис, подумав. — С материнской стороны. Скажем, кузен. А к тому же я специалист по нервным и психическим заболеваниям. Вот почему меня попросили приехать сегодня.

— Ах так! — сказал Бобби. — А у вас нет намерения... вернуть его туда?

— Ни малейшего. Мы не противники, мистер...

— Рутинг.

— Мы на одной стороне. Вы отлично сделали, что извлекли его оттуда. Мы пытались сделать то же менее оригинальным способом. И мы вам очень признательны. Законы о сумасшествии — довольно-таки громоздкая и неповоротливая машина. Но, как вы вероятно, знаете, если его на четырнадцать дней уберечь от них, им придется начать с ним все сначала. Он возобновит здравость своего рассудка. В этом мы союзники. И нам следует получше узнать друг друга. Ваше вмешательство — такое неожиданное — мне кажется одновременно и эксцентричным, и очень мужественным. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали мне обо всем поподробнее — как вы с ним познакомились, каким образом они его схватили, и почему вы задумали его спасти.

— Хм, — сказал Бобби и заявил свои права на половину коврика. Он уже придумал, как рассказать эту историю Кристине-Альберте — предварительной Кристине-Альберте с синими глазами. Он чувствовал, что для этого слушателя версия нуждается в коренной переделке. И вовсе не был уверен, что хочет поведать ее этому слушателю. Он был врач, психиатр, и считал, что Саргону в приюте не место. Все это говорило в его пользу, но в душе Бобби оставалось ощущение, что он тут ни к чему. С другой стороны, он очень вежливо подвинулся на коврике, давая место Бобби, и вроде бы слушал внимательно и с уважением. И Бобби принялся описывать появление Саргона на Мидгард-стрит.

Дивайзис показал себя умным и проницательным. Он тут же понял значение желания Саргона подняться на купол собора Святого Павла.

— Не сомневаюсь, он туда поднимался, — сказал Дивайзис.

— Я тоже в этом уверен, — сказал Бобби, — хотя еще не спрашивал его об этом.

Вместе они создали правдоподобную версию обретения учеников до того, как Билли с Бобби наткнулись на их процессию.

— Так трогательно, — сказал Дивайзис. — И колоссально.

Бобби одобрил эти слова.

— Теперь вы понимаете, чем он меня взял, — сказал Бобби.

В душу Бобби незаметно прокралось явное расположение к Дивайзису. Трудности, которыми, казалось, были чреваты его объяснения, рассеялись. Этот человек, решил он, способен понять любой поступок. Дивайзис заставил его почувствовать, что похищение Саргона из Каммердаун-Хилла абсолютно незнакомым человеком было самым естественным, самым обычным делом. И Бобби продолжал рассказывать уже с увлечением, его чувство юмора вырвалось наружу, и он откровенно и забавно описал свои терзания в день посещений. Когда он добрался до глухонемой с лисьей мордочкой, в гостиную вернулась Кристина-Альберта.

— Он как будто даже и не расставался со мной, — сказала она. — Он очень слабый и сонный, а хрипы у него в груди страшные. — Она решительно повернулась к Дивайзису: — По-моему, вам надо его осмотреть.

— Врач его видел? — спросил он у Бобби.

Бобби объяснил, как все было. Дивайзис немного подумал. Саргон дремлет? Да. Тогда пусть пока дремлет. Бобби, теперь более сознательно стремясь произвести эффект, продолжал свою повесть. Кристина-Альберта смотрела на него с явным одобрением.

К чаю Бобби свыкся с присутствием Дивайзиса и неожиданной Кристиной-Альбертой. От его предвкушений осталась только мысль, что его отношениям с Кристиной-Альбертой суждено быть очень особенными и близкими. Он все еще верил, что где-то в ней непременно прячется синеглазая, уступчивая, истинно женственная дочка Саргона, но только спрятана она очень глубоко. Тем временем скрывающая ее личина показалась ему симпатичной, задорной, дружелюбной и с чувством юмора. Дивайзиса он тоже все больше и больше зачислял в сильные, талантливые, чуткие личности. Он наблюдал, как Дивайзис осматривал Саргона. И это был умелый, внушающий больному доверие осмотр. Он сказал, что легкие Саргона в плохом состоянии, особенно левое — ему угрожает пневмония, а у его организма мало сил, чтобы с ней бороться. Ему требуется комната теплее и без сквозняков, а также ночная сиделка. У миссис Пламер комнаты для сиделки не имелось, а всего в часе езды отсюда находится в Удиморе чрезвычайно комфортабельный коттедж Пола Лэмбоуна, куда он иногда приезжает на воскресенья. Мастерское телефонирование, телеграфирование — и коттедж был предоставлен в их распоряжение, в лучшей спальне затоплен камин, туда выехала опытная сиделка, и все было готово, чтобы Саргон, тепло укутанный, обложенный грелками мог отправиться в путь. В этом новом порядке вещей Бобби оказался аксессуаром. На следующий день ему предстояло отправиться следом за ними на мотоциклете, поскольку в коттедже Пола Лэмбоуна место найдется для них для всех. Оказалось, что представление Пола Лэмбоуна о скромном коттедже в сельской глуши включает экономку, несколько слуг и четыре-пять комнат для гостей.

Этот тип Дивайзис организовал все с такой невозмутимой компетентностью, что Бобби негде было проявить себя. Саргон, Кристина-Альберта и Дивайзис уедут в пять и будут в Удиморе в шесть, когда сиделка уже все там приготовит. Затем Дивайзис вернется в Лондон и успеет переодеться для банкета, где он должен быть обязательно. В субботу утром он будет занят в Лондоне, а затем приедет в Удимор посмотреть, оправился ли Саргон настолько, чтобы начать психиатрическое лечение. Возможно, там будет и неведомый Пол Лэмбоун. Большой лентяй, насколько понял Бобби, так что привезти его туда придется Дивайзису. Бобби останется в Удиморе на несколько дней. Он начал скромно отнекиваться.

— Нет уж, вы теперь повязаны, — весело сказал Дивайзис и взглянул на Кристину-Альберту. — Повязаны с Саргоном, как и все мы. Захватите свою работу.

— Да, пожалуйста, приезжайте, — сказала Кристина-Альберта.

Бобби упирался единственно потому, что приглашение было чересчур уж соблазнительным.

###### 3

«Коттедж» в Удиморе, который показался Бобби очень удобным и привлекательным современным домом, и эти трое — Кристина-Альберта, Дивайзис и Пол Лэмбоун, собравшиеся вокруг Саргона, — завладели всеми мыслями Бобби. Они казались ему новыми и четкими в степени, какой он еще не встречал, и даже дом был свеж и четок в своем чарующем белом изяществе, как никакой из домов, привлекавших его внимание прежде. В сравнении с ним все они казались плодами случайности, скомпилированными, вторичными, неопределенными в своем назначении. Но этот дом создал искусный молодой архитектор, который верно оценил Пола Лэмбоуна, и белые шагреневые стены уютно вписались в склон холма, глядя с искренним, вполне отвлеченным восхищением на Рай, и через болота на Уинчелси и далекое голубое море. И при нем имелись беседки и бельведер, откуда открывался тот или иной вид, а выше по склону располагался обнесенный стеной сад с широкими дорожками, на который можно было смотреть с обратной стороны дома сквозь частый переплет окон. Закатом можно было любоваться из разных превосходных мест, но он не заливал своим светом ни одну комнату, слепя и раздражая. Заботливая стена ограждала шток-розы и дельфиниумы от юго-западного ветра и служила опорой двум-трем сливам, груше и смоковнице. Первый этаж был почти весь занят одной огромной комнатой с угловой нишей, служившей столовой. Раздвигающиеся широкие двери соединяли ее с террасой, а для разговоров можно было устроиться у каминов или возле окон, в зависимости от времени года. Однако в доме имелось и несколько небольших кабинетов, где можно было запереться и писать. В удобных углах произрастали книжные полки, и всюду в доме таинственно веяло теплотой от невидимых радиаторов, о существовании которых трудно было догадаться. Дом был настолько похож на Пола Лэмбоуна, а Пол Лэмбоун был настолько частью своего дома, что казался всего лишь его голосом и его глазами.

Пол Лэмбоун был первым преуспевающим писателем, с каким довелось познакомиться Бобби. О, он был знаком с разными нуждающимися молодыми писателями, писателями-головастиками, писателями, не уверенными в завтрашнем дне, но это был первый полностью сложившийся, признанный и во всех отношениях зрелый писатель в его жизни. Он произвел на Бобби впечатление оглушающей уверенности в своем положении — он казался свободным, полностью обеспеченным. Но особенно поражало то, что он ни с какой стороны не был великим писателем — ни Диккенсом, ни Вальтер Скоттом, ни Гарди; произведения Лэмбоуна, по мнению Бобби, ничем особенно не превосходили его собственные потуги. Иногда — некоторая выразительная лаконичность, некоторое проникновение в глубину, но только и всего. До сих пор в воображении Бобби жизнь писателей и художников рисовалась увлекательнейшей авантюрой, великолепными свершениями, невыносимыми трудностями, бешеными наслаждениями и трагическими несчастьями. Свифт, Сэвидж, Голдсмит, Карлейлы, Бальзак, Дюма, Эдгар Аллан По — вот они были в его духе. Но этот новехонький светлый дом был столь же солидным и удобным, как любой загородный дом, и Лэмбоун восседал в нем с таким же незыблемым достоинством, как какой-нибудь провинциальный банкир, или владелец рудника, или старший партнер преуспевающей юридической фирмы. Его не угнетал страх потерять «работу» или «исписаться». Он говорил и поступал так, как считал приличным, и полицейский отдавал ему честь, когда он проходил мимо.

Если подобное могло возникнуть из «Книги житейской мудрости» и приятных романов Пола, так какой же потенциал, до этих пор даже не подозреваемый, потенциал приобретательства, комфорта, надежности и полезности может таиться в благожелательной отзывчивости Тетушки Сюзанны?

Прежде Бобби не верилось, что может настать день, когда он обретет финансовую независимость, станет сам себе хозяином, сможет ничем себя не ограничивать и освобождать других людей от ограничений. До сих пор жизнью Бобби кто-то руководил, и она управлялась необходимостью. Его *послали* в школу и *послали* в колледж, его собирались *сделать* управляющим поместья друзей, когда война схватила его вместе со всем его поколением, вымуштровала и отправила в Месопотамию. А после войны он был вынужден подрабатывать, чтобы восполнять свое сильно уменьшившееся наследство. Жизнь на каждом этапе была настолько размечена и предписана, существование его родителей настолько управлялось традициями их класса, что сознание Бобби было более чем подготовлено потрястись нескованностью и свободой Пола Лэмбоуна.

Любопытно заметить, с какой полнотой Пол Лэмбоун был порождением современного мира и с какой полнотой он ему не принадлежал. Он пользовался всеми его преимуществами и уклонялся практически от всех присущих этому миру обязательств. Он вырвался из него, унося его дары. Ему не требовалось ходить в присутствие, соблюдать времена года, обращаться куда-либо, исполнять какие-либо обязанности. Был ли он исключением в этом смысле? Или еще многие подобно ему с выгодой вырвались из ветшающей социальной системы? Особый сорт новых людей, которые ничему не принадлежат?

Бобби сидел на террасе и поглядывал через спинку стула на этот чрезвычайно новый и при том ласкающий глаз и комфортабельный коттедж Пола Лэмбоуна, сосредоточившись на осенившей его идее: в мире появились люди новой породы, живущие вне связи со старым порядком вещей, формирующие новые образы жизни. Дом казался воплощением этой идеи. Новый и непривычный, но без намека на извинения или бунт. Он просто возник, как новая мода. Просто пришел, как новое столетие. Бобби всегда считал, что революции наступают снизу, рождаются яростью обездоленных и угнетенных. Он полагал, что это для всех само собой разумеется. Но предположим, что революции — это просто взрывы, не имеющие особого отношения к подлинному прогрессу не так и не эдак, и что новая эра наступает, когда люди, какое бы место они ни занимали в социальной иерархии, освобождаются настолько, чтобы выработать новые идеи.

Новые идеи!

Саргон был новым, Пол Лэмбоун был новым, Дивайзис был новым — до войны таких людей не существовало. Они выросли из своих прежних «я» и столь же отличались от довоенных людей, как люди XIX века отличались от людей XVIII века. А самой новой была Кристина-Альберта, отодвинувшая в небытие свою синеглазую предшественницу. В мыслях и разговорах она была такой прямой и свободной, что Бобби чудилось, будто его сознание семенит в кринолине и шляпке. Он совершил с ней две прогулки — в Брид и в Рай, и она ему страшно нравилась. Ему еще не было ясно, влюблен он в нее или нет. Кто бы в нее ни влюбился, обрекал себя на цепь еще не разведанных, никем не опробованных трудностей. Ничего общего с тем несбывшимся обычным романом с несуществующей синеглазой девушкой.

Ей он, казалось, нравился — особенно его волосы. Она дважды об этом упомянула и один раз их взлохматила.

Ситуация предлагала странную загадку, каким образом она, Саргон и он сам оказались гостями Пола Лэмбоуна с Дивайзисом на переднем плане. Именно свобода Пола Лэмбоуна от всяких предписаний позволила ему предоставить убежище Саргону и собрать такое странное общество под своим кровом. Но Бобби инстинктивно чуял какие-то скрытые связи и недостающие звенья. Дизайзис, конечно, был достаточно законным гостем как близкий друг Лэмбоуна. Но их интерес к Саргону казался Бобби более сильным, чем следовало бы. Он недоумевал и осторожно анализировал всяческие возможности. Без сомнения, за этим крылось безотчетное побуждение вроде его собственного, но не совсем такое — саргонизм.

Начал Бобби с враждебности к Дивайзису, непрошено вторгнувшемуся в систему отношений, достаточно интересных и без его вмешательства. Он радовался, что должен уехать в Лондон на пятницу и без особого удовольствия думал о возвращении в субботу. Затем он обнаружил, что его чувство перешло в своеобразное уважение, к которому примешивалась опасливость, почти страх.

Дивайзис замечал вас, не в пример Лэмбоуну. Смотрел на вас, приобщался к вам. Это была привычка — приобщаться к людям. Он умел интересоваться активнее и увлечение, чем Лэмбоун, в куда большей мере забывая о себе. Лэмбоун замечал все ровно настолько, чтобы высказывать остроумные наблюдения, Дивайзис касался самой сути. Бобби связывала внутренняя неуклюжесть — как и большинство людей, полагал он, но в Дивайзисе ее практически не было. Человек науки, человек с научным мышлением. Бобби доводилось встречаться с одним-двумя учеными, и они были поглощены чем-то, отгораживавшим их от обыденных вещей; поглощавший их интерес отгораживал их и от самих себя — одного в основном занимали напряжения в стекле, другого — яйца иглокожих. Возникало ощущение, что вы все время видите только их затылки, и оставалось лишь улыбаться такой их всепоглощенности. Но Дивайзиса занимали побуждения и мысли других людей. Он не отводил от вас взгляда, он заглядывал вам внутрь. Бобби мало-помалу осознавал это. Взгляду Дивайзиса не хватало деликатности и такта.

В субботу он приехал главным образом для того, чтобы заняться Саргоном. Он поднимался к нему и подолгу с ним разговаривал. Он «лечил» Саргона. Он поднимался к Саргону не для того, чтобы поговорить с ним, как мужчина с мужчиной — как говорил он с ним, Бобби. Он поднимался, чтобы, так сказать, заниматься с Саргоном психологическим джиу-джитсу, чтобы поразмять его, придать иной ход его мыслям. Дивайзис был внушителен сам по себе, но куда более внушительным, как знамение. Он, как ни посмотреть, выглядел предшественником, крайне энергичным предшественником (они все были предшественниками!) нового типа человеческих взаимоотношений. Отношений без тактичных умолчаний, без мощного накопления эмоций из-за страстей, от которых уклонились, из-за всего, что осталось несказанным. Так чудилось Бобби, который понятия не имел, от сколького эти люди уклоняются и сколько подавляют. Ему казалось, что мысли и слова Кристины-Альберты предстают в полной наготе, точно толпы в какой-нибудь жуткой утопии Уэллса. И он вспоминал об огромной неощутимой сети «взаимопонимания», которую они с Тесси сплели между собой.

— Новые люди! — прошептал он и посмотрел прямо в лицо новому дому Пола Лэмбоуна. Для него они были ошеломляюще новыми, удивительнейшим открытием. Война, понял он, истощила его, оставила слишком усталым, чтобы он был способен замечать новое. Он принадлежал к неисчислимому множеству тех, кто вышел из войны, ожидая возвращения в очевидное, банальное, старомодное тысячелетнее царство, и излил свое разочарование в утверждениях, что не произошло ничего, кроме опустошений и обнищания. Вначале они были слишком переутомлены, чтобы заметить что-нибудь еще. Но вот теперь Бобби по-настоящему понял, что Европейский мир двигался вперед все быстрее и быстрее после того, как в 1914 году рухнул вооруженный нейтралитет, и появились новые типы людей, новый образ мышления, новые идеи, новые реакции, новые морали, новые образы жизни. Он обнаружил, что находится в волне нового века — нового века, который наступает так быстро, что не было времени убрать понятия и институты прошлого века. Их не опрокинули, не отменили, не преодолели — их попросту игнорировали. Вот почему оказалось возможным прожить около года, не замечая, как кардинально все меняется.

«Новые люди». Относится ли это к Саргону? Точно комната Саргона — два окна между выступами. И Саргон тоже вырвался из установленного порядка взаимоотношений в нечто новое? В чем заключалось истинное значение нелепого человечка с его дурацкой картой мира и еще более дурацкой звездной картой, который хотел быть Владыкой Земли?

###### 4

Когда Бобби пришел обсудить это с Саргоном, ему показалось, что Дивайзис разъял человечка на части и преподнес ему разрозненные его кусочки. В понедельник Дивайзис уехал в Лондон и забрал туда Кристину-Альберту в своем прокатном автомобиле, однако Лэмбоун попросил Бобби остаться на день-другой, чтобы развлекать больного. Сам он, насколько понял Бобби, намеревался остаться в Удиморе по крайней мере на неделю, чтобы поработать. Бобби проводил Кристину-Альберту, раздумывал о ней около часа, затем остаток утра посвятил Тетушке Сюзанне, а день — Саргону. И Саргон, которому стало заметно лучше, сидел, опираясь на две подушки и обсуждал свою разъятость.

— Ничуть не устал, — сказал Саргон. — Я теперь принимаю тонизирующее средство. Каждые два часа. — Несколько секунд он что-то взвешивал, а потом спросил: — Но кто такой этот мистер Пол Лэмбоун? Очень радушно с его стороны пригласить нас. Очень. (Кха-кха)... Он ваш друг?

— Он известный писатель, друг Кристины-Альберты.

— У нее столько друзей! Как у всей нынешней молодежи. А что такое этот доктор Дивайзис?

— Специалист по нервным расстройствам, и с ним проконсультировались... проконсультировались о том, как забрать вас из этого... места.

— Специалист по нервным расстройствам. Он замечательный собеседник. Весьма умный и (кха-кха) чуткий. У меня странное ощущение, что где-то, когда-то, каким-то образом я с ним уже встречался. В этой жизни... или в какой-нибудь другой. Все это крайне смутно, а у него, как будто, нет сходных воспоминаний. Да. Возможно, какое-то совпадение.

Бобби не придал совпадению никакого значения.

Саргон на несколько секунд закрыл глаза.

— Мы беседовали о том, что мне пришлось пережить последнее время.

— Вполне понятно, — сказал Бобби, чтобы помочь ему.

— С моей личностью произошла значительная путаница. Теперь такое случается много чаще чем прежде. Большую часть моей жизни я считал себя человеком, которого звали Альберт-Эдвард Примби, ограниченным человеком, весьма ограниченным. Затем меня озарило. Я начал понимать, что на самом деле никто не может быть таким вот Альбертом-Эдвардом Примби. И я начал искать себя. У меня была причина... объяснять было бы слишком долго... что я Саргон Первый, великий шумер, основатель первой Империи в мире. Потом... потом случилось несчастье. Вам кое-что об этом известно. Я попытался взять скипетр... как-то к вечеру... в Холборне... опрометчиво. Крайне тяжелые последствия. Меня отправили в это место. Да. Я был совсем разбит. Унижения. Тяготы. Настоящая... нечистота. Меня взяло сомнение: что, если я все-таки всего лишь этот маленький Примби. Заяц в человеческом облике. Моя вера поколебалась. Признаюсь, она поколебалась.

На несколько секундой погрузился в тягостные размышления.

Затем успокаивающе погладил Бобби по запястью.

— Я действительно Саргон, — сказал он. — Беседа с вашим другом Дивайзисом заметно прояснила мои мысли. Я действительно Саргон, но в ином смысле, чем мне казалось. Примби был, как я и предполагал, случайной личиной. Но... — Маленькое личико сморщилось от интеллектуальных усилий. — Я не Саргон, исключающий всех других. Вы... вероятно, вы еще не пробудились, но вы тоже Саргон. В наших жилах его кровь. Мы сонаследники. Понять это нетрудно. Саргон, требования царского сана. Естественно, много жен. Политическая... биологическая необходимость. Многочисленные отпрыски. Ну, и они... преимущества положения... много детей. Следующее поколение — еще больше. Как гигантский расширяющийся луч интеллектуальной и нравственной силы. Это можно доказать... доказать математически. Доктор Дивайзис и я... мы рассчитали это на листке бумаги. Мы все происходим от Саргона, как мы все происходим от Цезаря... ну, как почти все англичане и американцы происходят от Вильгельма Завоевателя. Мало кто осознает это. Немножко арифметики... и все ясно. Задолго до христианской эры кровь Саргона распределилась между всем человечеством. А его традиции — тем более. Мы все наследуем. И не только от него, но от всех великих монархов, благородных завоевателей. От всех смелых и красивых женщин. От всех государственных мужей, изобретателей, творцов. Если не прямо от них, то от их отцов и матерей. Все лучшее вино прошлого — в моих жилах. А я думал, что я всего лишь Альберт-Эдвард Примби! И в Вудфорд-Уэллсе я чуть не каждый день совершал глупую прогулку с шестипенсовиком в кармане на расходы, потому что мне совершенно нечего было делать! Двадцать лет. Невозможно поверить.

Синие глаза взглянули на Бобби в поисках подтверждения, и он кивнул.

— И я гулял по Эппингскому лесу в костюме, который мне не нравился... костюм для гольфа, довольно утрированный, с мешковатыми брюками, которые выбрала для меня жена... Они словно с каждым годом становились все мешковатее... Гулял и ничего не знал о том, что я наследник всех веков, что Земля до самого центра и до неба — моя. И ваша. Наша! У меня не было ни малейшего ощущения долга по отношению к ней, во мне еще не пробудилось самоуважение. Я был не только Саргоном, но всеми мужчинами и женщинами, которые когда-либо что-то значили на Земле. Я был Вечным Слугой Господа. Но я не думал об этом, а боялся лошадей и незнакомых собак, и часто, когда навстречу мне шли люди, я думал, будто они рассматривают меня и разговаривают обо мне, и я не знал, что мне делать с руками и ногами, не знал, куда их девать.

Он умолк, чтобы улыбнуться этому воспоминанию.

— Было очень интересно разговаривать с вашим доктором Дивайзисом о нелепости, слепой узости и мелкости, в которой я жил так долго. Мы говорили о Великом Человеке, каким я был на самом деле, о Великих Людях, какими мы были на самом деле. Все Слившиеся Великие Люди. Вы и я — одинаково. Потому что в прошлом вы, и я, и он были одним, и в будущем можем вновь воссоединиться. Мы просто разделились, чтобы овладевать сущим. Вот как рука разделяется на пальцы. Мы говорили о том времени, когда живущий в нас дух построил первую хижину, спустил на воду первую лодку, объездил первую лошадь. Мы не могли связать эти великие моменты с конкретными действиями, но мы вспоминали их... в общем. Мы вспомнили жгучее солнце, когда кучка людей впервые пересекла пустыню, и когда человек впервые ступил на ледник. Он был... скользкий. Затем я вспомнил, как следил за моими людьми, когда они насыпали валы вокруг моего первого города. Мы гнались за разбойниками, угонявшими первые стада. Потом мы с доктором Дивайзисом стояли в воображении на подобии квартердека и смотрели, как наши люди налегают на огромные весла ладьи, которая доставила нас в Исландию и в Винланд. Мы видели это оба. Мы спланировали Великую Китайскую Стену; я считал наши латинские паруса на нашем великом канале. Видите ли, я воздвиг миллионы великолепных храмов и создал миллионы чудесных скульптур, картин, драгоценных украшений. Я забыл это, но так было. И я любил миллионами любовий — да-да, — чтобы быть сейчас здесь. Как и мы все. Мы обсуждали это, ваш доктор Дивайзис и я. Мне не грезилась и миллионная доля того, чем я являюсь. Когда я думал, что я Саргон, целиком и только, я все еще не осознавал мое великое наследие и мою великую судьбу. Даже и теперь я только-только начинаю видеть это... Нелепо думать, что я после всех свершений и приключений готов был прогуливаться по Вудфорд-Уэллсу в дурацком твидовом костюме и брюках-гольф, чрезвычайно неудобных и тяжелых — знаете, они меня противно щекотали в жаркие дни. Но так было. Было. Я не понимал... И я шел, пока не оставалось сил терпеть, а тогда я останавливался и почесывал себя под коленками... Конечно, когда я называл себя Саргоном, Царем Царей я, как назвал это доктор Дивайзис... символизировал. Разумеется, каждый человек на самом деле Саргон, Царь Царей, и каждый должен овладеть всем миром, и спасти его, и управлять им, как должен я.

Он завершил свои объяснения. Он разложил свои разъятые части перед Бобби точно в том виде, в каком Доктор Дивайзис вернул их ему.

###### 5

— Но что именно вы собираетесь делать? — спросил Бобби.

— Я думал над этим.

И некоторое время он продолжал думать.

— Все так изменяется, — сказал он, — когда понимаешь, что ты — не единственный Саргон. Я думал быть великим царем, великим вождем, думал, что весь мир просто последует за мной. Сомневаюсь, чтобы я когда-либо безоговорочно верил, будто подобная задача мне действительно по силам, но я не понимал, как иначе могу я быть Саргоном и царем. Но теперь вижу. Я делал что мог, но даже направляясь в Букингемский дворец, я осознавал насколько не для меня эта задача. Я говорил доктору Дивайзису... я сказал ему: раз он — Саргон и Царь, так же, как и я, и раз почти кто угодно может стать Саргоном и царем, то уже речи нет о дворцах и тронах, о том, чтобы тебя провозгласили царем и короновали, — все это устарело не меньше кремневых орудий. Просто нужно быть царственной личностью и со всеми другими царственными личностями в мире трудиться, чтобы мир этот стал достоин нашего высокого происхождения. Кто угодно может пробудиться и стать царственной личностью. Мы можем быть подлинными царями, оставаясь инкогнито. Можно заниматься прачечной, как я, когда я был просто Примби, и думать только о прибылях, и потребностях, и тщеславных потугах, и страхах маленького человека при прачечной — и как тоскливо было это! Или можно быть царем, потомком десяти тысяч царей, сонаследником всех человеческих деяний, владыкой еще не рожденных поколений, которому выпало жить в изгнании при прачечной.

Он помолчал.

— Я почти со всем согласен, — сказал Бобби. — Это... это очень привлекательно.

— Вплоть до этого момента все проще простого. Но тут начинаются трудности. Мало сказать, что ты царь. Надо быть царем. Надо действовать. Нельзя быть царем и не поступать по-царски. Но касательно этого доктор Дивайзис и я... мы утратили ясность. О стольком надо подумать. В чем моя царская задача? В этом слабом теле... и что я? Мне неясно. Но самый факт, что мне неясно, ясно указывает, с чего мне следует начать. Я должен обрести полную ясность. Должен приобрести знания, узнать все о моем царстве. Это логично. Я должен узнать больше о моем великом наследстве — нашем великом наследстве, его истории, его возможностях и о путях людей, которые управляют им так скверно. Мне надо разобраться в коммерции, промышленности, экономике и деньгах; а когда я увижу все это ясно, мне надо будет напрячь силы, голосовать, трудиться. И узнать, какими дарованиями я обладаю и как лучше употребить их на пользу нашего царства. Каждый царь должен прославить свое царствование своим дарованием. Вот к какому выводу мы пришли. Пока я еще не знаю, каково мое дарование. Доктор Дивайзис говорит, что его задача — разбираться в человеческих побуждениях и человеческих взаимоотношениях; его дарование, его естественные склонности лежат в области психологии. Его задача открыта ему — его царственная задача. Но я пока знаю себя много хуже. Я должен начать снизу и узнавать ответы на более общие вопросы. Мне надо набраться сведений о вселенной и об истории всемирной империи Саргона, и обо всем том, чем я пренебрегал в моих фантазиях и малости. Я должен снова поступить в школу. Научиться думать глубже. Усталости я не боюсь. Но мне не терпится начать. Когда я думаю обо всем, что мне предстоит, — о чтении, розысках, посещениях музеев и тому подобных учреждений, мне хочется сейчас же приступить к делу. Я прожил такую нелюбознательную и безответственную жизнь, что не нахожу, как отчитаться за потраченные мной годы. Я их профантазировал. Но я рад, что пробудился к моему царствованию, пока еще не поздно.

Я же еще совсем молод. Мне лишь чуть за сорок — пустяки! Половину занимали детство и отрочество, а большую часть остального — бездеятельность. Я ведь могу прожить еще сорок лет. Большая часть жизни у меня еще впереди. И эти годы могут стать лучшими, плодотворнейшими. Три-четыре года я могу потратить только на образование, на постижение устройства мира. Начну с политики, выясню, почему люди так угодливы и мелочны. И постепенно пойму, как поделиться с другими великим освобождением, открывшимся мне. Начну участвовать в политике. Человек, чурающийся политики, похож на крысу в трюме корабля, а не на того, кто этот корабль ведет. И участвуя в ней, я узнаю, в чем смысл моей жизни, в чем лично моя задача. Пока, мне кажется, решать преждевременно, но меня притягивает загадка сумасшествия и сумасшедших домов. Не понимаю, почему вообще существует сумасшествие. Меня это озадачивает и угнетает, и доктор Дивайзис согласен со мной, что, когда что-то озадачивает и угнетает сознание, необходимо по мере возможности постигнуть все накопленные об этом предмете знания и идеи, то есть научно. И предмет перестает тебя угнетать, он заинтересовывает тебя, занимает. Когда я был в... в этом месте, я беседовал с некоторыми из тамошних бедняг. Мне было их так жаль! Я обещал помочь им, когда обрету свое царство. И теперь я начинаю видеть, что такое мое царство и как я могу вступить во владение им. Быть может, со временем я соберу сведения о сумасшедших домах, и сделаю их всеобщим достоянием, и улучшу условия в них, чтобы там не просто держали людей взаперти, но помогали им и вылечивали.

Кажется, это была идея доктора Дивайзиса — или мы пришли к ней вместе, — что в сумасшествии есть подлинная и важная цель. Это своего рода упрощение, удаление тормозов и контролирования — своего рода естественный эксперимент. Тайны сознания обнажаются. Но если беднягам приходится терпеть такое, чтобы другие могли черпать знания, с ними должны обходиться достойно; их нужно оберегать, использовать в полной мере, а не оставлять на милость таких животных, каких поставили над нами... Не могу рассказать вам. Пока не могу. Да, они были животные... А в минуты прояснения сознания — у них у всех бывают такие минуты, у этих помешанных, их следует утешить, объяснить им все.

Синие глаза на странном круглом личике с пробивающимися усами уставились на Бобби.

— Когда я в первый раз увидел вас, — сказал Саргон, — я совершенно не понимал, как на самом деле обстоят дела между нами. Я все еще был порабощен тщеславием. Я думал, будто я великий пророк, учитель, царь, и весь мир должен мне повиноваться. Я думал, вы станете моим первым, лучшим и самым близким мне учеником. Но теперь я знаю больше о себе и о других людях. Они здесь не для того, чтобы стать моими последователями и учениками, но моими собратьями-царями. Мы должны работать вместе со всеми, кто пробудился, во имя нашего царства и великого прогресса человечества.

Он продолжал говорить больше себе, чем Бобби.

— Мне всегда хотелось получать знания, но теперь у меня будет воля для этого. Теперь я буду иным. Просто не верится, что еще совсем недавно я не знал, чем занять свое время. А теперь мне не терпится взяться за дело, и сколько бы времени мне ни осталось, я знаю, оно будет использовано сполна. Меня поражает, что в моем царстве люди летают уже более десяти лет, а я ни разу не поднялся на аэроплане. Мне необходимо обозреть мир с аэроплана. А может быть, мне придется поехать в Индию, Китай и тому подобные таинственные и удивительные страны — ведь и они часть моего наследства. Мне нужно узнать их. И джунгли, и дикую глушь, которую мы должны покорить. Я должен их увидеть. Животные подчинены нам, и мы должны заботиться о них или милосердно уничтожать, как того потребуют интересы нашего царства. Страшно быть владыкой даже зверя. Все звери, домашние и дикие, в нашей власти. И наука. Вся замечательная работа, которой заняты люди в лабораториях, и их чудесные открытия тоже требуют наших забот. Если я не понимаю, то могу помешать. Как слеп я был к великолепию моей жизни! Когда я думаю обо всем этом, мне невыносимо оставаться в постели, так мне не терпится взяться за дело. Но полагаю, я должен быть терпелив с этими бедными хрипящими легкими.

— Терпелив, — повторил он.

Он взглянул на свои наручные часы, но они остановились.

— Вы не скажете, который час? В семь мне надо еще раз принять это прекрасное тонизирующее средство. Оно творит со мной чудеса. Нет, не беспокоитесь, сиделка проследит... Оно вдыхает в меня новую жизнь.

###### 6

Но Саргон не прожил сорока лет, и тридцати не прожил, и двадцати. Он прожил всего семь недель без одного дня после этого разговора. После возвращения Бобби в Лондон он оставался в постели еще два дня. А тогда уехал и Лэмбоун, и он стал глух к голосу здравого смысла. По мере того, как к нему возвращались силы, он изводил свою сиделку все новыми и новыми требованиями принести ему книги, которые не мог ни назвать, ни описать, а кроме того, тома «Британской энциклопедии». А когда она заявила, что семи томов этого монументального издания должно хватить на день любому больному, он встал, надел свой халатик из грубой материи и спустился по лестнице в библиотеку, решительно кха-кхакая. После это он вставал с постели три дня кряду. В наиболее книжном углу нижней комнаты был разведен огонь, а сам угол отгорожен ширмами, чтобы ему было теплее. Но тонизирующее средство подхлестывало его — возможно, оно оказалось слишком уж стимулирующим.

Сиделка, видимо, была бесхарактерным унылым существом и опасалась делать что-либо без указаний. Она звонила Дивайзису в Лондон, но не сумела объяснить ему всю опасность неосторожностей Саргона. Венцом всего явился отказ лечь в постель в семь. Вместо этого он выскользнул из дома, правда, в пальто и шарфе, но в домашних туфлях, на террасу, где ветер леденил его голые лодыжки и голени. Его привлек то вспыхивающий, то исчезающий луч маяка на берегу, который медленно скользил по призрачным холмам под мерцающим сиянием звезд — эта процессия лучей, и беглое великолепие Сириуса, и неизменное величие блистающего Ориона. Был ясный ноябрьский вечер, морозный воздух пощипывал щеки. Сиделка услышала его кашель и кинулась за ним. Он смотрел на Сириус в полевой бинокль Лэмбоуна, ей пришлось тащить его в дом силой. Она вспылила, и чуть не произошла вульгарная драка.

На следующий день он не смог встать с кровати, и все-таки он ворочался и открывал пылающую жаром грудь в слабых попытках читать.

— Я же ничего не знаю, — жаловался он.

Затем ему снова полегчало, после чего он, видимо, подошел ночью к открытому окну полюбоваться звездами. За этим последовал рецидив, около недели он боролся с болезнью, после чего начался бред, сменившийся глубокой слабостью, и затем однажды ночью пришла смерть. Он умер совсем один.

Бобби никакие ожидал его смерти, и узнал о ней от Кристины-Альберты с большим изумлением. Ему ничего не говорили ни о том, что Саргону стало хуже, ни о его упрямом поведении. И он с некоторой завистью представлял себе, как Саргон день ото дня становится крепче и удовлетворяет прекрасную, тоже крепнущую любознательность. Он предвкушал еще один разговор и новую фазу этой необыкновенной запоздалой подростковости. У него было ощущение, будто увлекательная история оборвалась на середине, так как заключительные главы были безжалостно и бессмысленно вырваны.

Это настроение обманутого сочувственного ожидания сохранялось и во время кремирования Саргона в Голдерс-Грин. Бобби отправился на эту своеобразную церемонию. Они с Билли опоздали — гроб с маленьким покойником уже стоял наготове, чтобы соскользнуть в печь, а заупокойная англиканская служба уже началась. Кристина-Альберта в трауре, который носила на похоронах матери, сидела впереди как главная скорбящая с Полом Лэмбоуном и Дивайзисом справа и слева от нее. Позади нее с лицами, выражавшими готовность поддержать ее, сидели Гарольд и Фей Крамы; как ни поразительно, оба были в глубоком трауре и следили за службой по двум молитвенникам. Очень неприятный тип с длинной рябой овечьей физиономией и крохотными глазками, в черном, но явно будничном костюме, обернулся и воззрился на Бобби, когда он вошел. Типа сопровождала очень крупная блондинка, словно бы проспавшая ночь в своем трауре под кроватью. Родственники покойного? Да, от них так и веяло родственниками. Молодая женщина позади них и две безмятежные старушки, видимо, просто отдавали дань склонности к похоронам. Ими провожающие Саргона в последний путь и завершались.

Кристина-Альберта выглядела непривычно маленькой, почти заслоненной двумя своими непонятными друзьями. День снаружи был пасмурный, и здесь все окутывала зябкая сырость, в которой немногие фигуры словно сиротливо терялись. Когда Бобби вошел, играл прекрасный орган, но ему показалось, что он еще никогда не слышал такого разбитого органа. Служба с каждой минутой казалась все более банальной, теологичной и неискренней. Какой же подержанный мокрый макинтош — эта англиканская церковь, подумал Бобби, чтобы накидывать на ищущую душу! Но что может любая религия в мире сделать перед лицом обычной смерти? С точки зрения теологии, следовало радоваться, когда умирает хороший человек, но ни у одной из них не достало дерзости преступить эту черту. Никому не дано уйти от неизбежного растерянного вопроса: а есть ли в этом гробу нечто, которое слышит или хоть капельку ценит это торжественно-мрачное лицедейство?

Мысли Бобби сосредоточились на том, что лежало в гробу. Маленькое восковое лицо, наверное, обрело непривычное благообразие; круглые, до невероятия наивные синие глаза закрыты и чуть провалились. Где те мысли и надежды, о которых Бобби слушал лишь несколько недель назад? Саргон говорил о полете на аэроплане, о поездке в Индию и Китай, о благородных трудах на благо мира. Он сказал, что у него впереди еще половина его жизни. Он, казалось, распускался, словно цветок в первое солнечное утро запоздавшей весны. И все это было самообманом. Захлопнувшаяся за ним дверь смерти уже тогда начинала закрываться.

Но ведь эти надежды были жизнью! Именно в них было что-то от жизни, которая живет и не может умереть. И она там? Нет. В гробу лишь фотографический отпечаток, сброшенная одежда, обрезок ногтя. Теперь даже в мозгу Бобби было больше Саргона, чем в этом гробу. Но Саргон — где он? Где эти грезы и желания?

Бобби расслышал голос священника, птицей проносящийся над путаницей его мыслей: «Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут? Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет; И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное, или другое какое; но Бог дает ему тело, как хочет, и какому семени свое тело...»

«Странный, замысловатый, находчивый тип, этот Павел», — думал Бобби. К чему он, собственно, тут клонит? Странный тип! И скверные манеры.

«Безрассудный!» Можно ли так? Довольно-таки натянутая аналогия с семенем, сеющемся «в тлении». В конце-то концов, семя — самое чистое, самое живое, что только есть в растительном мире, и сажать его надо в чистую землю. Растущие побеги, возможно, унавоживают, но не ящики, в которые сажают семена. И дальше такое странное подчеркивание «изменения» — непреемственности новой жизни. То, что взойдет, будет совсем другим, чем посеянное. Бобби никогда прежде не замечал этого, не замечал, как прямолинейно апостол настаивал на том, что никакое тело, никакое земное тело, никакая личность никогда не вернется.

«*Есть* тела небесные и тела земные: но иная слава небесных, иная, земных; Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе».

Что за этим кроется? Верен ли перевод? С чем Павел столкнулся в Коринфе? В конце-то концов, почему Церковь, вместо того чтобы говорить о твоих живых потребностях, эксгумирует этот левантийский довод? А аналогия с семенем? Может быть, она все-таки удачна? То, что прорастает из семени, должно в свою очередь умереть. Оно не более бессмертно, чем растение, которое было до него. И священник слишком частит, чтобы уследить за ним. Лучше потом дома взять Писание и прочесть все самому.

«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Жало же смерти — грех; а сила греха — закон».

Нет. Никак не уследить. Чушь какая-то. Видимо, упускаешь суть. Словно слушаешь кого-то, кто стоит далеко, так что слова еле доносятся, зато он красноречиво жестикулирует и играет голосом.

Внезапно возникла неловкая пауза. Все сохраняли неподвижность, точно окаменев.

«Человек, рожденный женою, краткодневен... Как цветок, он выходит и опадает; убегает, как тень...»

Невидимые руки привели гроб в движение, и он заскользил к дверям, которые раскрылись, чтобы принять его. Бобби казалось, что он слышит рев печи, для которой предназначался этот гроб. В его воображении пламя в печи взметнулось и заревело — звук, подобный реву урагана, стихийный, смятенный звук...

Жизнь — тоненькая пленка на одной планетке, но пламя ревет вот так, и ураганы налетают, закручивая смерчи, и уносятся к самым дальним звездам в неизмеримых глубинах космоса. Этот могучий, хаотичный рев — истинный голос безжизненной материи, а не мертвой, ибо то, что никогда не жило, мертвым быть не может — да, безжизненной материи вне, ниже и по ту сторону жизни.

Все в часовне словно замерли, склонились, затихли и съежились до самых крохотных размеров перед этим бездушным, пожирающим грохотом в душе Бобби.

### Глава IV

### Май в Удиморе

###### 1

Бобби тут же полностью забыл это видение стихийных сил, вызванное кремацией, ибо сознание не сохраняет подобное. Это мешает жизни. Но голос священника, повторяющего доводы святого Павла, и часовня крематория — маленький гроб, ожидающий, когда его отправят в вечность, фигуры в черном там и сям на желтых скамьях сразу ярко воскресли в его памяти, едва Пол Лэмбоун принялся цитировать и перекручивать знакомые слова о контрасте между тленным и нетленным, развивая на их основе собственную фантастичную философию. Бобби всегда намеревался медленно и внимательно прочесть на досуге текст заупокойной службы, но так и не собрался, о чем теперь очень пожалел. В результате он — и Павел из Тарса — оказались в полной власти Пола Лэмбоуна, а он знал, что Пол Лэмбоун обожает изобретательно чуть-чуть передергивать.

Был очень теплый, безмятежно безветренный майский вечер, гости Лэмбоуна расположились после обеда сумерничать, кто внутри у открытых дверей, кто в плетеных креслах на террасе. Он глядели вдаль на болота и спокойное море за ними. Небо было точно внутренняя сторона темно-синей полусферы, на которой загорались все новые и новые мириады звездных светлячков. Рай и Уинчелси припали к земле под ней — два черных низких горба со светлыми пятнышками двух-трех уличных фонарей и освещенных окон. По морю удалялся сияющий яркими огнями пароход. Быстро и ровно луч ближайшего маяка скользнул по дальним равнинам, приблизился, озарил лица беседующих, озарил комнату, вырвал из темноты колокольню и купу деревьев, вновь их в нее погрузил и заскользил дальше. И почти сразу возник вновь — узкая белая полоса света, быстро приближающаяся по равнине.

Когда начинаешь пропускать разговор мимо ушей, обнаруживаешь, что вокруг соловьи, соловьи, соловьи. Они только что прилетели с юга. Один или два устроились на деревьях совсем близко, остальные подальше ткали легкую завесу над видимой вселенной — завесу из нежных переливчивых звуков.

Бобби сидел на ступеньке между комнатой и террасой, прислонившей спиной к косяку, а рядом стояла пустая чашка из-под кофе. Он устроился там у ног Кристины-Альберты, которая неподвижно сидела в глубоком кресле. Лицо ее казалось неясным в сумраке, но когда она затягивалась сигаретой, на него ложился багровый отблеск, и оно выглядело незнакомым.

А ведь днем ему казалось, что никого в мире он не знает так, как ее. Она его целовала, тянула за уши, а он целовал ее голые плечи и крепко обнимал. Дивайзис тоже молчал, погруженный в свои мысли. Он сидел за Кристиной-Альбертой по ту сторону раздвинутых дверей и в таком сумраке, что Бобби видел только его сверкающие ботинки и носки, кроме тех секунд, когда его лицо освещал луч маяка. Было время, когда Бобби думал, что Дивайзис влюблен в Кристину-Альберту, и его томило смутное необъяснимое чувство, что она влюблена в Дивайзиса или была в него влюблена. Ему чудилось, что их отношения прячут тайные глубины, но он понятия не имел какие. Люби Кристина-Альберта Дивайзиса, она бы прямо сказала об этом. Бобби не представлял себе, что могло бы ей помешать. Но сегодня она обняла и поцеловала Бобби, так не может же она любить другого!

Однако последние три-четыре месяца она часто бывала с Дивайзисом; Бобби не раз наблюдал, как влияют на нее, как меняют ее разговоры с ним. Она завела манеру ссылаться на него и говорила именно то, что сказал бы он. Эта поглощенность Дивайзисом совершенно не устраивала Бобби, была для него тяжким испытанием. И вот он внезапно узнал, что Дивайзис вовсе не предмет ее любви и никогда им не был. Сегодня она доказала ему это бесповоротно. И вот теперь, испытывая что-то среднее между гордостью и рабской преданностью, Бобби сидел у ее ног. Он сидел у ее ног совсем рядом с ней, а Дивайзис затерялся где-то во мраке на расстоянии целых трех ярдов от них.

Если не считать нескончаемого монолога Лэмбоуна, все больше молчали. А сейчас они еще меньше были склонны к разговорам.

— Такой совершенный вечер! — чуть вздохнула Маргарет Минз, уютно устраиваясь в большом плетеном кресле на террасе. — Я не могу разговаривать. И только благодарю Бога, что я живу на свете.

На этой девушке, как внезапно стало ясно Бобби две недели назад в Лондоне, намеревался жениться Дивайзис. Она резко вышла на сцену и смела треугольник, упорно рисовавшийся в воображении Бобби. Хрупкая, нежно миловидная, в сумраке она казалась такой же призрачной и душистой, как ночная фиалка, и была она замечательной пианисткой. Накануне вечером она играла два часа. Сестра Пола мисс Лэмбоун была извлечена откуда-то с запада Англии, чтобы играть роль хозяйки, пока помолвленные гостят в коттедже. Бобби пытался завести с Кристиной-Альбертой разговор о Маргарет, но Кристина-Альберта не хотела говорить о ней.

— Видишь ли, — невозмутимо сказала тогда Кристина-Альберта, — она открыла ему мир музыки. Вот, что их сблизило. Она умна, она очень безыскусственна и умна.

— Я даже не слышал о ней — пока ты не упомянула про их помолвку.

— Они вместе ходили на концерты и всякое такое. Он с ней знаком гораздо дольше, чем со мной.

— А когда ты познакомилась с Дивайзисом?

— Примерно тогда же, когда папочка явился на Мидгард-стрит. Совсем недавно. Едва ведь полгода прошло. Пол Лэмбоун привел меня к нему посоветоваться о папочке. А они уже вместе больше года. Я думала, что их только музыка интересует. Друзья и друзья. И я думала, что он не собирается жениться во второй раз. И тут он решил — совсем внезапно. — Кристина-Альберта призадумалась. — Так уж устроена жизнь, Бобби. Накапливается, накапливается, и вдруг решаешься.

— Она не могла решить? Заставляла его ждать?

— Не она, — ответила Кристина Альберта с удивительной жесткостью в голосе. — Нет, — сказала она. — Решил он. — Казалось, она почувствовала, что выразилась не вполне ясно. — Он просто взял дело в свои руки.

###### 2

Это был второй визит Бобби в Удимор. Пол Лэмбоун внезапно счел нужным собрать гостей в коттедже, видимо, под воздействием помолвки Дивайзиса. В промежутке Бобби виделся в Кристиной-Альбертой десятки раз, и в нем окрепла вера в особенность их отношений. Они заполнили его жизнь. Он постоянно грезил о ней, начиная с того дня, когда она рисовалась ему синеглазой и хрупкой, и всякий раз она оказывалась такой и поступала так, что его грезы разлетались в клочья. Это делало ее необыкновенно интересной. Все больше и больше его интерес к жизни начинал зависеть от нее. Он хотел жениться на ней хотя бы для того, чтобы сберечь этот интерес. Она отказала ему — два раза. И без соблюдения ритуала, положенного для подобных случаев. «Да ладно, Бобби, — сказала она. — Ничего не выйдет. Я не такая, какой ты меня считаешь».

«Никогда не такая, — сказал он. — Я ничего против не имею».

«Ты ужасно милый товарищ, — сказала она. — Мне нравятся твои волосы».

«Так почему бы тебе не прибрать их к рукам, и не стать товарищами навсегда?»

«Ужас какой!» — сказала она, вот так отвергнув его руку и сердце.

Они часто встречались, они проводили вместе значительную часть времени, кроме тех удручающих случаев, когда она внезапно бросала его, чтобы отправиться в театр или на прогулку с Дивайзисом. Или чтобы пойти к Дивайзису поговорить. Она всегда без колебаний бросала его ради Дивайзиса. И все-таки Бобби виделся с ней подолгу и много. Она мало что знала о театрах, мюзик-холлах, ресторанах, дансингах и прочем, а Бобби в этой области был скромно компетентен. Молмсбери чувствовали себя брошенными, а Сьюзен проникалась свирепой мстительностью из-за того, что ей так часто приходилось оставаться без историй на сон грядущий. Тесси, объявлял Бобби, его самый-самый дорогой друг, но когда он хотел излить перед ней душу, как бывало прежде (что он проделывал, когда Кристина-Альберта была с Дивайзисом), естественно, излияния посвящались Кристине-Альберте. Бобби был изумлен и разочарован, обнаружив, насколько Тесси оказалась неспособной оценить неисчерпаемую интересность и обаяние Кристины-Альберты. Какое-то слепое пятно в ее сознании! Она словно бы считала, что Кристина-Альберта очень так себе, тогда как она была несравненно лучше. В результате между Бобби и Тесси возникло отчуждение, очень удручавшее Бобби.

Потому что Кристина-Альберта была замечательной — и интересной! — вне всяких сомнений. Она интеллектуально развивалась с необычайной быстротой и все лучше узнавала мир. При каждой новой встрече она, на его взгляд, успевала стать еще более яркой личностью, с еще более глубокими и поражающими идеями. Казалось, она каждую свою минуту жила полной жизнью. Теперь она занималась в Королевском научном колледже у Макбрайда. И овладевала новыми знаниями с неугасающим энтузиазмом. Она влюбилась в сравнительную анатомию. Бобби всегда казалось, что сравнительная анатомия — на редкость сухая, педантичная ерунда, занятая костями, но Кристина-Альберта утверждала, что она озарила для нее всю историю жизни на Земле. Сравнительная анатомия решительным образом изменила ее представления о мире и о самой себе. «Это самое романтичное, о чем я когда-либо читала или думала, — говорила она. — Рядом с ней история человечества выглядит глупостью».

Трижды она возила его в музей Естественной истории в Кенсингтоне, чтобы продемонстрировать ему примеры удивительных открытий, волновавших ее ум. Она растолковала ему, как кости птичьего крыла или царапины, оставленные кремнем, могут воссоздать бури, солнечный свет и буйство жизни за десять миллионов лет до наших дней.

А затем неделю назад Кристина-Альберта вдруг согласилась выйти за Бобби. Взяла назад два своих отказа. Но, как и все остальное, сделала она это самым неожиданным и обескураживающим образом. Ей нужно было в чем-то признаться, и некоторое время — пока он хорошенько в это не вдумался — Бобби казалось, что это признание полностью объяснило ее отказы и сделало все в ней ясным и понятным.

Она потребовала, чтобы он поехал с ней в Хэмптон-Корт. Но в сады они не пошли, увидев сквозь решетку, что каштаны Буши-Авеню стоят в полном цвету, а потому прошли мимо пруда и оказались под ветвями, покрытыми белыми свечами цветков. Запоздавшая весна теперь явилась во всем тепле и блеске. Каштаны были великолепны, — словно зеленые морские волны взметывали нежно-кремовую пену под градом ядер. Синее небо полнилось светом.

— Весна теперь спешит показать, что действительно пришла, — сказала Кристина-Альберта.

Он чувствовал, что она собирается сказать что-то другое, и молча ждал.

— Я так и не решила, Бобби, а в этом году особенно, что такое весна — самое счастливое время года или самое беспокойное. Все и вся влюбляются.

— Я весны не дожидался, — сказал Бобби.

— Но каково лягушкам, которые не могут найти воду? — сказала Кристина-Альберта.

— Лягушки там, где есть вода, — сказал Бобби.

— Все женятся и дают согласие на брак, — сказала она. — Я думала... я думала, что хотя бы доктор Дивайзис — неутешный вдовец. Но весенние волны захлестнули даже его. Они всех захлестывают.

— И тебя?

— Не знаю. Я несчастна, Бобби. Места себе не нахожу и вот-вот сорвусь.

— Так дай себе волю.

— Боль терпят в одиночестве.

— Но разве ты одинока?

— Практически.

— Но вот же я.

— Бобби, милый, что во мне тебе нужно?

— Ты! Быть с тобой. Всегда быть где-то рядом. И быть тобой любимым.

— Ты так добр!

— Чушь какая! При чем тут доброта?

— Послушай, Бобби, — сказала она и умолкла. А когда снова заговорила, то с непринужденной небрежностью, точно речь шла о пустяках. — Ты веришь в невинность, Бобби? Мог бы ты любить девушку, если бы она не была... невинной?

Бобби вздрогнул, словно она ударила его хлыстом по лицу. Он побледнел.

— О чем ты? — спросил он.

— Ты слышал.

Некоторое время они молчали.

— У тебя были случаи, — атаковала она. — Во Франции. Как у них всех.

Бобби ничего не ответил.

— Теперь ты знаешь, — швырнула она ему в лицо.

На какое-то время свет в мире Бобби померк.

— Ты его любила? — спросил он.

— Если и любила, то не помню. Это было просто... любопытство. И потребность стать взрослой. И невыносимое ощущение, что тебе что-то запрещено. Нет... по-моему, я была почти... равнодушной. Мне нравилась его внешность. А потом он стал мне неприятен... Но это так, Бобби. Так.

Бобби сказал, взвешивая каждое слово.

— Будь это какая-нибудь другая девушка, а не ты, для меня это имело бы значение. Ты... ты другая. Я тебя люблю. И что с тобой было или не было, значения не имеет. Во всяком случае... большого.

— Ты уверен, что большого значения это не имеет?

— Абсолютно.

— И на будущее уверен?

— Да.

— С этой минуты ты забудешь... начнешь забывать, что я тебе сказала? Как я хочу забыть.

— Очень скоро, если ты хочешь забыть. Это не имеет значения. Я теперь понял — ни малейшего.

— Но зачем тебе понадобилось жениться на мне, Бобби? Что во мне такого? Я безобразна, груба, жадна, ни с кем не считаюсь. Во мне нет ни чистоты, ни преданности.

— Ты всегда интересна. Прямодушна, быстра и бесконечно красива.

— Бобби, что ты! Тебе действительно так кажется?

— Да. Разве не видно?.. Разве ты не знаешь?

— Да, — сказала она очень серьезно. — Мне кажется, я знаю.

Она остановилась перед ним, уперши руки в боки. Они стояли, глядя друг на друга, и Бобби сморщился, словно собираясь заплакать. У нее лицо было серьезным, встревоженным, но тут словно из-за туч проглянула ее улыбка. Серьезность исчезла. Теперь это была другая Кристина-Альберта. Внезапно она показалась ему самым веселым существом на свете, во всем уверенным, бесшабашным.

— Если бы ты поцеловал меня, Бобби, прямо сейчас и здесь в парке Буши, нас арестовали бы?..

Каким чудом для Бобби было обнять ее! Ему открылась новая Кристина-Альберта; Кристина-Альберта, обозреваемая с расстояния в шесть дюймов или около того, поразительно красивая Кристина-Альберта. Можно было подумать, что она всегда жила только для того, чтобы ее любил Бобби.

— А ты учишься, — сказала Кристина-Альберта немного погодя. — А теперь повтори все это, Бобби. Никто на нас как будто не смотрит...

###### 3

Ни Лэмбоуна, ни Дивайзиса их помолвка как будто ничуть не удивила. Наоборот, у них был такой довольный вид людей, чьи ожидания сбылись, что становилось неловко. Молодая пара приехала в Удиморе Дивайзисом и мисс Минз под благопристойнейшее крылышко мисс Лэмбоун, словно они были предназначены друг для друга с начала времен.

Но в Удиморе Бобби ждали новые сюрпризы и недоумения. Всю субботу Кристина-Альберта выглядела не столько влюбленной, сколько раздраженной на всех и на вся. Ее, казалось, куда больше трогал тот факт, что Дивайзис собирается жениться на мисс Минз, чем горячая преданность, которой Бобби готов был окружить ее. Она не замечала его многочисленных уловок остаться с ней наедине. Обе пары играли в теннис после чая, пока не настало время переодеваться к обеду; Кристина-Альберта очень давно не играла, да и всегда пренебрегала принятыми приемами, а Маргарет играла так умело и мило, что ввергла ее в злость, более чем очевидную для чуткого настроя Бобби. Ему казалось, что Дивайзис тоже заметил ее досаду, но мисс Минз блаженно никого и ничего не замечала, кроме Дивайзиса.

Утром в воскресенье Кристина-Альберта под бодрящий дальний перезвон колоколов увела Бобби на прогулку к замку Брида. И заявила Бобби, что не намерена выходить за него замуж.

Бобби взбунтовался.

— Ты меня не любишь?

— Разве я тебя не целовала? Не обнимала? Не ерошила тебе волосы?

— Тогда почему ты не хочешь выйти за меня?

— Я вообще не хочу выходить замуж, ни за тебя, ни за никого. Я никого не люблю. Кроме, конечно, тебя. Но даже за тебя выйти замуж я не могу. Я хочу, чтобы меня любили, Бобби, да. Но не выйти замуж.

— Но почему? Не из-за... не из-за той причины?

— Нет. Я положилась на твое слово. И все-таки не хочу выходить за тебя, Бобби... Наверное, потому что не хочу связывать себя с чьей-либо жизнью. Я не хочу быть женой. Хочу быть самой собой и свободной. Я должна расти. Вот в чем дело, Бобби. Я должна быть свободной, чтобы расти.

Бобби начал возражать.

— Я не хочу, чтобы кто-то все время следил, как я расту. А ты будешь все время не спускать с меня глаз, Бобби. Я знаю.

Возражать было бы бесполезно. Бобби знал, что будет вести себя именно так.

— Я не подозревала, что это на меня подействует таким образом, пока не решила выйти за тебя. Я хотела выйти за тебя, когда согласилась, — честное слово. Тогда мне до жути хотелось почувствовать кого-то совсем рядом. Насколько это возможно, и чтобы меня целовали, говорили «все хорошо!». И остаться так. Это было для меня утешением, Бобби. Ты мое утешение, Бобби. Без тебя я бы сошла с ума от боли. Но как мы близки в любви, Бобби, и как далеки все остальное время! Как мы можем узнать друг друга, когда и себя едва знаем? Когда не *смеем* узнать себя? Ты такой милый, Бобби, такой нежный и добрый, что не вручить тебе меня обеими руками — такая неблагодарность! Но я просто не могу. Может быть, как женщина я не вполне нормальна. Или сама не знаю, что со мной произошло. Может, жизнь меня в чем-то обошла... Ах, не знаю, Бобби! Я до жути хочу кого-нибудь. Я до жути хочу тебя, и вовсе тебя не хочу. Я предпочла бы умереть, чем быть женственной тряпкой вроде Маргарет Минз. И если это — брак!..

— Но я думал, — сказал Бобби, — после того, что было...

— Нет.

— Я буду десять лет ждать тебя, — сказал Бобби. — Вдруг ты передумаешь.

— Ты самый милый утешитель, — сказала Кристина-Альберта и умолкла.

Внезапно она положила руки ему на плечи, прильнула к нему и разразилась рыданиями.

— Замуж за тебя я не пойду, но промочу насквозь, — пробормотала она, всхлипывая и смеясь. — Бедный мой Бобби! Любимый мой!

И она продолжала его обнимать. Потом отступила, утирая слезы, — совсем та Кристина-Альберта, которую он знал, если бы не следы слез.

— Если женщины не способны лучше управлять своими чувствами, — сказала она, — им придется вернуться в гаремы. Либо одно, либо другое! Но замуж за тебя я не *пойду* ! Нет в мире мужчины, за которого я вышла бы. Я буду свободной и независимой женщиной, Бобби. С этой минуты.

— Но я не понимаю! — сказал Бобби.

— Это не значит, что я не хочу, чтобы ты меня любил.

Он растерялся.

— *Бобби* ! — шепнула она и словно вся засветилась изнутри.

Бобби снова схватил ее в объятия, прижался щекой и ухом к ее щеке и уху, поцеловал еще и еще. Но его угнетала мысль, какое он ничтожество, если в подобную минуту думает, что в мире нет поцелуев чудеснее поцелуев с соленым привкусом слез.

И тем не менее она не выйдет за него! Порвала с ним — и все-таки он ее обнимает.

Все происходящее поставило его в полный тупик, но одно было ясно: конец помолвки не означал конца занятиям любовью. В любом случае была любовь. И самое время для любви. Май в расцвете правил миром. Над ними смыкались ветки боярышника в белизне цветков, а вокруг — кусты зацветающей бузины.

###### 4

Бобби сидел в густых сумерках среди своих друзей и думал о том, что произошло с ним в этот день, думал о соленых слезах Кристины-Альберты и нескончаемой загадочности ее поступков. Он все еще был чрезвычайно озадачен, но теперь как-то спокойно и благодушно. Получалось, что они с Кристиной-Альбертой не поженятся, и тем не менее он целовал ее, обнимал, и ему не возбранялось сидеть у ее ног. И пока мог не подвергать себя унижению, сообщая всем остальным, что жениться на ней ему не суждено. Он молчал. Для его мыслей и чувств не нашлось бы слов, Кристина-Альберта тоже хранила молчание. Да и все, казалось, были заняты чем-то своим. Некоторое время поддерживался разговор о прекрасном виде, и звездах, и появлении соловьев, и перелетных птицах, и маяках, потом он замер.

Их переполняли чувства, мешавшие разговорам. Молчание затягивалось. Бобби подумал, а что будет, если никто так и не заговорит. Он подумал о Кристине-Альберте совсем рядом, у него за спиной, и все его существо охватил трепет. Молчание становилось гнетущим. Ему казалось, что он не в силах даже шевельнуться. Все хранили неподвижность. Положение спас Лэмбоун.

— Сегодня ночью исполняется ровно шесть месяцев, как Саргон скончался здесь в спальне на втором этаже, — сказал он, помолчал, а затем словно ответил на незаданный вопрос: — Мы не знаем точно часа его смерти. Он просто исчез в ночи.

— Я очень жалею, что не была с ним знакома, — сказала Маргарет Минз после довольно долгого интервала.

Мысли Бобби обратились к Саргону. Молчащая молодая женщина позади него перестала господствовать над его мыслями. Он ощутил необходимость сказать что-то, но прежде должен был откашляться.

— Просто подумать не могу, что его сожгли и пепел развеяли, — сказал он.

— Но куда неприятнее, — сказала мисс Лэмбоун, — думать о теле, упрятанном в гробу и разлагающемся.

— Не надо! — вскрикнул Бобби. — Я о смерти, о любой смерти не могу думать. Сейчас, весной, когда весь мир исполнен жизни, я вспоминаю, каким он был, какие надежды питал — и все они развеялись, исчезли... Во всяком случае, развеялись и исчезли, а не заколочены в деревянном ящике и не похоронены... Когда я в прошлый раз был здесь, он казался ребенком, который только-только узнал, как огромен мир. Он собирался полетать на аэроплане, поехать в Индию и Китай, собирался узнать все, а потом совершить множество чудесного. А в его легких делали свое дело гнусные бациллы, лишали его сил, так что ничего из этого не сбудется... Когда я услышал, что он умер, я не мог поверить.

— А он умер? — сказал Пол Лэмбоун.

Ответить на это было нечего.

Пол пошевелил лопатками, чтобы поудобнее прислонится к спинке мягкого диванчика.

— Чем больше я думаю о Саргоне, тем менее мертвым он мне кажется и тем большую важность приобретает. Я с вами не согласен, Рутинг. Ничего никчемного я в его жизни не нахожу. По-моему, он был — символически — полным совершенством. Я без конца о нем думал.

— И говорили, — сказал Дивайзис. — Без конца.

— И подсказал вам массу полезного для его лечения. Не будьте неблагодарным. Вы полагаете, что Саргон кончен. А он только сейчас начинает. Из-за успеха вы становитесь чересчур профессионалом, Дивайзис. Берете пациентов, работаете с ними и забываете их. А не продолжаете поддерживать с ними связь и учиться. Не сидите и не размышляете о них, как делаю я. А я продолжаю размышлять о Саргоне. Поддерживаю с ним связь, потому что он для меня все еще жив. Я получил от него новую религию, религию саргонизма. Я объявляю его пророком нового толка. Это самая последняя из моих религий. Новые религии будут всегда, и новые религии всегда будут единственными значимыми. Религия — живое существо, а то, что живо, должно постоянно умирать и постоянно вновь рождаться. По-иному, но оставаясь той же.

— Вы верите в бессмертие, мистер Лэмбоун, — сказала мисс Минз. — Я бы очень хотела, но не могу. Когда я пытаюсь вообразить его, мой ум оказывается бессилен. Иногда возникает чувство, что это все-таки возможно. Пожалуй, в такой вечер...

Ее милый ясный голос угас в тишине, точно след падучей звезды.

Пол, темная глыба на смутно-светлом диванчике, продолжал говорить.

— Бессмертие, — сказал он, — это тайна. Говорить о нем можно только темными метафорами. Как можем мы поверить, что каждая из наших индивидуальных заурядных жизней должна иметь бесконечное заурядное продолжение? Невероятная чепуха. И тем не менее мы продолжаем жить после смерти. Когда мы умираем, мы изменяемся. Все мудрые учителя наставали на этом. Как сказал Рутинг, мы не заколочены в деревянные ящики, не похоронены и не забыты. Наша истинная смерть есть спасение: мы спасаемся и — как вы выразились? — и рассеиваемся. Бессмертная жизнь — это бесконечные следствия. Наши жизни подобны строкам в великой поэме. Она не окончена; все же это совершенство. Строка начинается и кончается, но она должна там быть, а раз она там, то она там вечно. Ничто не могло бы продолжиться дальше, если бы ее там не было. Но звезды разнятся в славе. Некоторые жизни, некоторые строки более значимы, чем другие. Они кладут начало новому повороту сюжета, они открывают новую точку зрения, они выражают нечто свежее. Гении, пророки, звезды первой величины. Саргон был последним, самым новейшим из этих пророков, а я — его Павел. Не зря же я был наречен в честь этого апостола.

— Павел из Тарса, — сказал Дивайзис, — был сгустком энергии.

— Такие уподобления всегда в мелочах не совпадают, — сказал Лэмбоун. — Я изложу вам мою доктрину.

Он заговорил своим ясным миниатюрным голосом, таким похожим на мышку, выбегающую из горы его фигуры, — заговорил о Саргоне и его борьбе с собственной индивидуальностью, и о борьбе в каждом человеке между его индивидуальной жизнью и чем-то более великим, что тоже заключено в нем. В его слова вплеталась фантазия, а постоянное употребление богословской и религиозной фразеологии отдавало пародией, но в них же была и глубокая искренность. В каждом человеке, сказал он, маленький совладелец прачечной бьется с Царем Царей. Он расширил и углубил эту тему. Иногда Дивайзис перебивал этот монолог, но не столько возражал, сколько переформулировал, подправлял и дополнял. Остальные почти ничего не говорили. Маргарет Минз дважды испускала нежные мелодичные возгласы, указывавшие на интеллектуальною чувственность, и Кристина-Альберта один раз сказала: «Но!..» очень громко, тут же добавила: «Не важно. Продолжайте!», и надолго погрузилась в молчание, которое можно было пощупать. Бобби сидел неподвижно, то внимательно слушая, то позволяя своим мыслям растекаться по параллельным протокам, как растекается ручей, если его завалить. Следить за рассуждениями было интересно, но тут же возникал вопрос об искренности говорящего. Насколько Лэмбоун серьезен? Сколько из того, что он говорит, порождено его жизнью ублажающего себя наблюдателя, его жизнью, как добродушно-ироническим примечанием к вселенной, бесконечно нелепой?

Как Лэмбоун легко жонглирует словами и идеями, во имя которых люди жили и умирали! Как широко он начитан, и о скольком думал, чтобы собрать все это воедино? Он блистал эрудицией. «Золотую ветвь» он знал просто наизусть. Говорил о таинствах полдесятка культов — от митраизма до ритуальных жертвоприношений, о разнообразных представлениях о личности, которые подчиняли и потрясали человеческие жизни от Фиджи до Юкатана. Из дохристианской Александрии он переносился к китайским философам. «Превосходный человек» Конфуция, объявил он, на самом деле всего лишь пример нашей тенденции переводить китайские выражения как можно нелепее. На самом деле это «Высший Человек», «Великий Человек», «Вселенский человек», с которым слился низший эгоистичный человек. В этом было спасение ревивалистов повсюду; это был Духовный Человек христианства Павла. Когда покойный мистер Альберт-Эдвард Примби излил все свое маленькое существо в личность Саргона, Царя Царей, он всего лишь повторил то, что святые и мистики, вероучители и фанатики проделывали на протяжении веков. Он был просто Учителем под деревом Бо, переведенным на язык Вудфорд-Уэллса.

Тут заговорил Дивайзис. Полный контраст Лэмбоуну. Он говорил на совсем другом языке. Бобби он не показался таким ясным и эрудированным, как Лэмбоун, но он производил впечатление искренности и твердости, которых не хватало Лэмбоуну. Его выпады превратили все сказанное Лэмбоуном в дикую и расцвеченную всеми красками пародию на что-то, иному выражению не поддающееся. Казалось, и он, и Лэмбоун забрасывают словесные сети, вылавливая какую-то истину, а она им никак не дается. И все же истина эта, ускользающая, неуловимая, была для каждого из них самым важным в жизни.

— Освобожденная от теологической мишуры, — сказал Дивайзис Лэмбоуну, — ваша новая религия сводится к следующему утверждению. Что наша раса достигла максимума индивидуализации и теперь удаляется от него. Что она теперь обращается к синтезу и сотрудничеству. И будет возвращаться к тому, что вы зовете Саргоном, к великому правителю, и ее общие цели поглотят индивидуальных эгоистичных людей. Как их уже поглощает научная работа. Или хорошая административная работа. Или искусство. Вот, что вы говорите.

— Совершенно верно, — сказал Пол Лэмбоун. — Если уж мы обязаны говорить на вашем языке, Дивайзис, а не на моем. Искусство, наука, служение обществу, любая творческая работа — все это части того, что вы, полагаю, назовете сознанием расы, частями жизни расы. Каждый значимый человек — это свежая мысль, свежая идея. Он все еще — он сам, это верно, но его значение — в том, что он вырывается из своего прошлого, из своего положения и устремляется к людям будущего. В этом новое осознание, меняющее все ценности человеческой жизни. Это происходит повсюду. Даже в книгах и чтении вы сегодня можете видеть непрерывные перемены. История теперь становится важнее биографии. То, что в романтическом прошлом составляло всю жизнь, — повесть о любви, о кладах, карьере, прокладывании своего пути, наживании богатства, о личных деяниях и победе, о жертвах ради личного друга, или любви, или вождя, уже не составляет всей жизни, а иногда так и главного интереса в жизни. Мы переживаем переход к другому образу жизни, к иного рода жизни, к новым взаимоотношениям. Мир, который некоторое время словно бы вовсе не менялся, теперь меняется стремительно... в своей психической сущности.

— Иного рода люди, — тихонько сказал Бобби, перестал слушать ясный голосок Лэмбоуна и занялся заключительным резюмированием всех загадочных слов и поступков Кристины-Альберты, которыми ознаменовался этот день.

###### 5

О разговоре на террасе Бобби напомнило движение в кресле позади него. Глянцевый голос Лэмбоуна объяснял:

— Таким образом то, чего мы достигаем, менее важно, чем то, что мы вкладываем. Эта взлелеянная личная жизнь, которую мужчины и женщины стремились сделать гармоничной, благородной, совершенной, сходит на нет в системе сущего. Все большее и большее значение обретает работа, которую выполняет человек. И все меньшее и меньшее значение имеет наш личный романтизм и наша личная честь. Или, вернее, наша честь переходит от нас в нашу работу. Наши любовные дела, наши увлечения и личные страсти, например, все определеннее и определеннее подчиняются нашей научной или какой-то другой функции. Наши романтические чувства, наша слава и честь будут нами подавляться, как мы подавляем наши пороки. Было время, когда люди жили ради величественной гробницы и чтобы оставить после себя светлую и великую память; скоро для человека с его работой не будет иметь никакого значения мысль, что он умрет в канаве — непонятым. Лишь бы его работа была сделана.

— И никакого Страшного Суда, чтобы хоть когда-нибудь его оправдать, — сказал Дивайзис.

— Для него это не будет иметь ни малейшего значения.

— Согласен. Некоторые из нас даже сейчас чувствуют что-то в этом роде.

— Даже если не сделать ничего стоящего, — сказал Пол Лэмбоун почти с таким же вздохом, какой испускают, завершив постройку довольно трудного и шаткого карточного домика, — даже если бы Саргон умер неспасенным в своем приюте, а весь мир считал бы его сумасшедшим, все равно он спасся бы, его воображение соприкоснулось бы с воображением более великой жизни.

Последовала назидательная пауза, а затем удовлетворенный вздох мисс Лэмбоун. Она совершенно не понимала, о чем говорит ее брат, но она преклонялась перед ним, когда он говорил. Никто никогда, думала она, не говорил, как он — не мог, просто не мог говорить так. Голос у него был таким ясным, таким четким, как самый лучший шрифт. Только иногда становилось жаль, что при тебе нет очков.

Но на этот раз мисс Лэмбоун подстерегал шок.

— Я в это не верю, — сказала Кристина-Альберта из глубины кресла.

Бобби уже хорошо знал этот голос Кристины-Альберты, и понял теперь, что она в ужасе от того, что должна говорить, и в то же время исполнена отчаянной решимости сказать что-то. И он знал, что она судорожно вцепилась в ручки кресла. Он посмотрел на Дивайзиса, чье лицо в этот миг озарил луч прожектора, и Бобби увидел, что оно напряженно сосредоточено на Кристине-Альберте, словно больше ничего не существовало. Оно было напряженным, и нежным, и нежно озабоченным, серьезным и очень бледным в этом белом луче. А когда луч скользнул дальше, Бобби словно продолжал видеть это лицо, только теперь оно было словно вырезано из черного дерева.

— Я ничему этому не верю, — сказала Кристи на-Альберта. Она помолчала, словно подбирая доводы. — Наверное, это богословие, — сказала она. — Или мистицизм. Просто интеллектуальная игра, которой мужчины себя утешают. Мужчины больше, чем женщины. Это ничего не меняет. Трагедия — это трагедия, неудача — это неудача, смерть — это смерть.

— Но разве бывают полные неудачи? — спросил Лэмбоун.

— Предположим, — сказала Кристина-Альберта, — предположим, человека бросили в тюрьму, оклеветали перед всем миром; предположим, его забрали оттуда, заставили выкопать для себя могилу, потом застрелили на ее краю, закопали, некоторое время лгали о нем и позабыли. Убили ведь не часть расы, и это не нечто чудесное, продолжающееся дальше, это человек, которого убили, с которым покончили. Ваш мистицизм — всего лишь уловка, чтобы укрыться от безнадежности этого. Только он не помогает. Подобное случалось. И сейчас случается. В России. В Америке. Повсюду. Людей просто уничтожают — душу и тело, надежду и волю. С этим человеком и его черной вселенной покончено; он потерпел поражение и уничтожен; конец всем его делам, и никакие умные разговоры на мягких диванах в теплых сумерках ни на йоту этого не изменят. Это крушение. Если я потерпела крушение, то я его потерпела, если у меня есть желания и мечты, и они окажутся бессильными и погибнут, погибну и я. И сказать, что я не умерла, или что они преобразились, сублимировались в нечто лучшее, значит просто жонглировать словами.

— Моя дорогая, — сказала мисс Лэмбоун мисс Минз, — вы правда не озябли? — В ее голосе слышалось мягкое предупреждение, что она утратит интерес к разговору, если эта девчонка не перестанет в него вмешиваться, и что она займется накидками и шалями, положив сумерничанию конец.

— Дорогая, мне очень хорошо, — ответила мисс Минз. — Все это!.. Я была бы готова сидеть так вечно.

Но Кристина-Альберта пренебрегла предупреждением мисс Лэмбоун. Ей надо было высказать что-то, и был кто-то, кому она хотела это высказать не слишком прямолинейно, не слишком открыто.

— Все это богословие, эта религия, новые религии, которые всего лишь перекрашенные старые...

— Вновь рожденные, — сказал Пол.

— Перекрашенные. Мне они ни к чему. Но я хотела сказать не это, я хотела сказать, что вы неправы в отношении моего папочки. Абсолютно не правы. Это я знаю твердо. Мистер Лэмбоун нарядил его под свою собственную философию, а она у него сложилась задолго до того, как он познакомился с ним. А вы заговорили папочку, внушили ему идеи мистера Лэмбоуна, когда он был разбит и сломлен, — потому что они подходили к его состоянию. Прежде их у него не было. Я знаю его и точно знаю, как он мыслил. Я выросла на нем. И со мной он разговаривал больше, чем с кем-нибудь. И говорить о нем так — полная чушь. Будто его восторженность объяснялась тем, что великая душа точно приливная волна переполняла заводь маленькой души. Так не было. Когда он говорил, что он Владыка Мира, он хотел быть Владыкой Мира. Он вовсе не хотел включать в себя других людей, или чтобы его включали. Он был исключительно самим собой, когда был Саргоном, как и когда был Альбертом-Эдвардом Примби. Даже еще больше... И я верю, что точно так же дело обстоит со всеми нами.

Она заговорила торопливее, зная, что некие силы готовятся прервать ее.

— Я хочу быть самой собой, и ничем больше. Я хочу мир... для себя. Я хочу быть в мире одной из богинь. И не важно, что я некрасивая девушка с дурными от природы манерами. И не важно, что это невозможно. Это то, чего я хочу. Я создана хотеть этого. И ведь выпадают мгновения... Одно мгновение славы лучше, чем ничего... Я верю, что вы все хотите чего-то подобного. Вы просто убедили себя, будто не хотите. И называете это религией. Я не верю, что кто-либо исповедовал религию с самого начала. Буддизм, христианство, этот фантастический саргонизм, пародия на религию, которую вы изобрели как тему для вечерней беседы, — все они утешения и подпорки, лубки и деревянные ноги. Бесспорно, люди пытались уверовать в такие религии. Сломленные люди. Но если мы не можем исполнить желания наших сердец, почему мы должны кричать им: «Зелен виноград»? Я не хочу служить — ничему и никому. Может быть, я рвусь навстречу крушению, может быть, вселенная — это система крушений, но это не меняет факта, что чувствую я именно так. Возможно, я потерплю поражение, возможно, я обязательно потерплю поражение, но чтобы вынести из него сердце, полное раскаяния, и начать все сначала паинькой, частицей чего-то другого — нет уж! О, я знаю, что бью кулаками по стене. Это не моя вина. Почему мы не берем? Ах, почему мы не смеем?

Мисс Лэмбоун пошевелилась, зашуршала.

Сгусток мрака, который был Дивайзисом, заговорил с Кристиной-Альбертой, и мисс Лэмбоун затихла.

— Мы не берем и мы не смеем, — сказал он, — мы не бросаем вызова законам и обычаям, потому что в нашей жизни есть многое другое — в нас, а не вне нас, — более для нас важное. Вот почему. Полу нравится облачать свои взгляды на все это в старую мистическую фразеологию, но на самом-то деле он ненаучным языком определяет психологический факт. Вы полагаете, что вы просты, а в действительности вы очень сложны. Вы индивид, но вы же и раса. Такова ваша натура, и моя, и кого угодно. Чем больше пробуждается наш интеллект, тем больше мы это сознаем.

— Но именно отличие, вот что такое я, а не общая часть. Раса во мне для меня значит не больше, чем земля, по которой я хожу. Я — Кристина-Альберта, я не Женщина с большой буквы и не Человечество. Как Кристина-Альберта я хочу, и хочу, и хочу. А когда дверь перед моим воображением захлопывают, я кричу, я протестую. Зачем делать вид, будто я сама отказываюсь от того, чего иметь не могу? Почему превращать в достоинство отказ от чего-то или невозможность его получить? Ненавижу идею самопожертвования. Какой смысл появится на свет Кристиной-Альбертой для того лишь, чтобы пожертвовать тем, что ты Кристина-Альберта? Какой смысл быть иной, если нельзя жить по-иному?

Неожиданно ее перебила мисс Лэмбоун.

— Жизнь женщины — это одно долгое самопожертвование.

Наступила пауза.

— Но мы же получили право голоса? — сказала Кристина-Альберта почти насмешливо. — Почему жизнь женщины одно самопожертвование?

— Подумайте о детях, которых мы носим под сердцем, — сказала мисс Лэмбоун сдавленным голосом.

— Ну-ну! — сказала Кристина-Альберта и удержалась от неблагопристойной реплики.

— Самое удивительное в нас, — вновь заговорила она после паузы, — самое удивительное в женской натуре, это то, что среди нас так мало желающих иметь детей. В любом случае многие из нас детей не хотят. Теперь, когда я начинаю кое-что узнавать про биологию, мне понятно, насколько это замечательно. Нас, как расу, специализированную на детях, должно было бы пожирать желание иметь их. На самом же деле большинство современных женщин пойдет на все, лишь бы не иметь детей. Мы их боимся. Мне они представляются ордой притаившихся карликов, готовых наброситься на меня и пожрать все мое существование. И я не просто не хочу их, я живу в вечном страхе перед ними. Любви мы можем хотеть. Многие из нас ее хотят. Очень. Мы хотим любить и быть любимыми, стать близкими и родными кому-нибудь. Полагаю, это иллюзия. Одна из неуклюжих уловок природы. Одна иллюзия. Он исчезает — его никогда и не было. В прежних условиях этого было достаточно: появлялись дети, которые требуются Природе. Но мы не думаем о детях. Не хотим думать о них. Вот так! И в любом случае дети не освобождают женщину от эгоизма, а только расширяют и усиливают его. Я видела, как умные девушки выходят замуж, заводят детей. Стоит младенцу появиться, как их интеллект испаряется. Они превращаются в рабынь инстинкта, возящихся с пеленками. При одной мысли об этом мне хочется завизжать. Нет, я эгоистка, чистейшая и простейшая. Я Кристина-Альберта, и только она. Я не Саргон, я отказываюсь иметь что-либо общее с этим вездесущим кем-то — никем.

— В конце концов, это может быть лишь фаза в вашем развитии, — сказал Дивайзис.

— Единственная, мне известная.

— Это очевидно. Но уверяю вас, Кристина-Альберта, ваш бунт и страх — всего лишь фаза. Вы говорите о восстании, эгоизме, анархизме, как вопит здоровый младенец, чтобы вдохнуть свежего воздуха в легкие, избавиться от застоявшегося. Младенец не знает, почему он вопит, и, возможно, его мозгу чудится какая-то неясная обида...

— Продолжайте, — сказала Кристина-Альберта. — Бичуйте меня, бичуйте.

Бобби почудились в ее голосе слезы.

— Нет, вы еще так молоды, моя милая, — сказал Дивайзис.

«Моя милая!»

— Не такая уж молодая. Вовсе не молодая! — вскричала Кристина-Альберта. — Если я доживу до восьмидесяти, — сказала она затем, — буду ли я способна чувствовать больше, чем чувствую теперь? Почему вы все время обходитесь со мной, как с ребенком?

— Способность чувствовать — не единственная мерка, — сказал Дивайзис. — Даже сейчас, сегодня, вы говорите не так, как верите. Вы совсем не эгоистичная авантюристка. Во множестве проблем вы становитесь на чью-то сторону. Например, вы настаиваете, что вы коммунистка.

— А! Просто, чтобы крушить, — сказала Кристина Альберта. — Крушить все.

— Нет. Вы говорите так сейчас, но раньше вы говорили мне другое. Вас заботит мир. Вы хотите способствовать общим интересам. Вы воспитали в себе страсть к научным истинам. Ну, так нет способа отгородить вашу индивидуальность ни в науке, ни в социальных вопросах. Вы часть по необходимости, быть абсолютно целым вы не можете. Вы уже убедились, что не способны отгородиться. И будете втягиваться все больше, хотите вы того или нет. Таков дух времени. То же происходит и с нами всеми. Вам не уклониться. Наша работа, наше участие — вот первое в наших жизнях. Вот перед чем теперь должна склониться гордость, и страсть, и романтика. Мы должны захлопнуть, запереть на замок и все засовы дверь, оставив за ней все личные страсти, помеху в нашей работе. Заприте их и забудьте. Как второстепенное. Работайте. Дайте шанс более великому завладеть вами.

— Это, конечно, очень мило...

— В этом — все!

— Но почему оно должно мной завладевать? — мрачно и упрямо вырвалось у Кристины-Альберты. — Я знаю, это ваша вера, — продолжала она. — Вы мне полностью ее изложили. Вы все время ее излагаете. — (Чуткие уши Бобби уловили легкое изменение в ее тоне.) — Помните наш первый разговор вдвоем? Помните наш разговор в Лонсдейлском подворье? Когда мы обедали вдвоем в итальянском ресторанчике? В тот вечер. Сразу, как нашли друг друга.

«Нашли друг друга?»

— Но тогда я не знала, что ваша вера подразумевает все эти подавления, жертвы и ограничения, каких она словно бы требует. Тогда я не понимала ее... условий. Но с тех пор мы спорили и спорили об этом. В тот день в Кью-Гарденс. В тот день, когда вы взяли меня на прогулку по холмам в Шир. Мы все выяснили. Так зачем нам снова спорить? Я понемногу уступаю... что еще мне остается? И скоро я стану саргонисткой, как вы и Пол. Но не в это лето. Не сейчас. Не в этот вечер... этот чудесный первый вечер лета. В этот вечер я восстаю против любых отказов, против запихивания индивидуальности во второстепенность. Я намерена быть невыносимой и невозможной. В последний раз. Я хочу весь мир только для себя, от звезд до морского дна, для моего собственного голодного «я». И все, что между ними. Все, что есть бесценного между ними. Любовь... Вот так!

На экране сознания Бобби появлялись и исчезали смутные вопросы. От чего отказалась Кристина-Альберта? От чего она отказывается? От чего отказываются все? Обманул ли его собственный слух, или Дивайзис назвал ее «моя милая»? Бобби казалось, что с учетом присутствия Маргарет Минз, а также всех прочих обстоятельств, кто-кто, а уж Дивайзис никак не должен был называть Кристину-Альберту «моя милая». А «запихивание?» Это действительно бесстыдная прямота речи, возмутительнейшее признание, или он чего-то недопонимает?

Мисс Лэмбоун тревожно заерзала.

А Кристиной-Альбертой словно овладел злой дух.

— К *черту* отказы! — выругалась она с горьким смаком.

Несколько секунд они, казалось, просидели в мертвой тишине, а затем вдруг пенье соловьев стало очень громким.

###### 6

— По-моему, — сказала мисс Лэмбоун среди молчания, — становится чуточку прохладно.

— Здесь так красиво, — сказала мисс Минз, которой было тепло в шали мисс Лэмбоун. — Изумительно красиво... Как вы можете говорить о крушениях!.. — добавила она, не договорив.

— Пожалуй, — сказала мисс Лэмбоун, — я пойду зажгу свечи. Вечер слишком чудесный для электрического света, слишком чудесен! Мы зажжем свечи и огонь в камине. И может быть, вы сыграете что-нибудь прекрасное. Камины тут такие замечательные, и затапливаются сразу же. Не знаю, обратили ли вы внимание. Новинка. Никакого поддувала. Но форма верха обеспечивает тягу. Люблю, когда горят дрова, а не уголь, — сказала мисс Лэмбоун, вздохнула и, медленно колыхаясь, встала.

###### 7

Два дня спустя Бобби вошел в один из кабинетиков с видом на сад в доме Пола Лэмбоуна. Пол узнал, что Бобби требуются несколько дней ничем не прерываемых размышлений, чтобы начать роман, и пригласил его остаться, когда остальные гости уедут в Лондон. Это была идеальная комната для писателя с натурой Бобби: низкий письменный стол перед широким окном, на подоконнике серебряная ваза с незабудками и белыми тюльпанами. Узкая стеклянная дверь позволяла выйти в сад, не проходя через весь дом. На письменном столе было все, чего мог пожелать самый взыскательный писатель, — удобная подставка для бумаги, и облатки, и настоящие гусиные перья, и сколько угодно места для локтей. Сидел он не на стуле, а в кресле, чрезвычайно удобном, но не чрезмерно покойном: ни намека на убаюкивание, а только преданная поддержка сидящего за работой. От окна вверх по склону убегала садовая дорожка, садовая дорожка с бордюрами изумительных анютиных глазок. По обеим сторонам за анютиными глазками располагались розовые кусты, и хотя на них еще не появились бутоны, сочетание свежей зелени молодых листьев в солнечных лучах с рыжеватой коричневостью проглядывающих веток ласкало глаз.

Некоторое время он постоял, глядя на дорожку, затем сел и придвинул к себе блокнот. Взял одно из восхитительных гусиных перьев, проверил чудесную гибкость его кончика, обмакнул в чернила и написал своим четким красивым почерком:

###### *«Вверх-Вниз»*

*Пешеходный роман*

*Роберта Рутинга*

*Глава первая,*

*представляющая нашего героя*

Все это он написал без запинки, так как знал назубок. Он ведь писал это сначала и до конца не менее чем на полудюжине чистых листов.

Тут он остановился и замер, наклонив голову набок. Затем аккуратно исправил «представляющая» на «в которой мы представляем».

Миновало почти два года с тех пор, как он таким манером приступил к написанию своего романа, и все еще не разобрался в деталях представления своего героя. Первоначальный замысел все еще приятно парил в небесах его сознания — обещание увлекательной чреды отличных, разнообразных и упоительных приключений, рассказанных непринужденно и с юмором; превратности и удачи доброго, скромного, не чересчур, но достаточно смелого молодого человека на его жизненном пути, пока он не обрел вечного счастья с обворожительной девушкой. «Плутовской» жанр, магической слово! Ни одно из этих приключений пока еще не обрело конкретности в его мозгу. Он чувствовал, что в один прекрасный день они там возникнут. Если сесть и задуматься, их уже почти видишь, и это было для него достаточной гарантией. А потому аккуратно и изящно переписав титульную страницу, он погрузился в грезы и вскоре уже думал так и эдак о своей Кристине-Альберте, как и подобает хорошему герою.

Кристина-Альберта все время озадачивала Бобби, и он все время находил что-то такое, что вносило полную ясность, а затем опять озадачивался. Но теперь, казалось ему, он узнал последний важный факт, ее касающийся. Накануне вечером Пол Лэмбоун описал, как он повез ее к Дивайзису посоветоваться, и как они почти случайно обнаружили, чья она дочь на самом деле. Он рассказывал занимательно, как и подобает писателю, придал истории драматическую кульминацию. Очевидно, рассказал он об этом преднамеренно, потому что настало время, чтобы Бобби узнал правду. Лэмбоуну было известно о помолвке Кристины-Альберты. Но ни он, ни кто-либо еще, кроме Бобби, не знал, что замуж она выходить не собирается. Никогда. Но это, чувствовал Бобби, позволяло понять ее состояние. Объясняло настороженную нежность на лице Дивайзиса, внезапно вырванном из темноты, и его нечаянное «моя милая»; объясняло ее манеру держаться, словно она была своей для него и Пола Лэмбоуна, а не несколько непонятной гостьей; извиняло бурность ее ревности к Маргарет Минз: она, видимо, страстно поверила в свои дочерние права и, возможно, надеялась, что он ее признает, и она будет с ним постоянно. Бесспорно, Маргарет Минз была этому помехой. Так естественно, что Кристина-Альберта хотела быть с Дивайзисом, работать с ним, и так естественно, что она подозревала, предчувствовала и отвергала появление кого-то, кто мог стать между ними. Не говоря уж о магии кровного родства, только естественно, что две такие тонкие и богатые натуры должны испытывать сильнейшее тяготение друг к другу. Тот факт, что Дивайзис внезапно решил жениться на Маргарет Минз, никаких затруднений Бобби не причинил — о Дивайзисе он толком не думал. Маргарет Минз была достаточно хорошенькой, чтобы кто угодно захотел на ней жениться. Бывают моменты, как Бобби знал по собственному опыту, когда нежная миловидность способна поразить точно стрела. Видимо, она поразила и покорила Дивайзиса. И пожалуй, лишь одно заставило Бобби запнуться в его размышлениях — но только запнуться. То, как менялись решения Кристины-Альберты. То, как она согласилась выйти за него замуж, а затем с такой быстротой отказалась от своего намерения, и так бесповоротно, и все же сохранила его любовником.

Эта решимость замуж не выходить в конечном счете выглядела просто частью всего, что делало ее столь невероятно современной. Потому что среди этой группы «новых людей», ее окружающих, она казалась Бобби во всех отношениях новейшей. Он никогда еще не встречал такого смелого стремления жить. Эта вспышка изголодавшейся бунтующей индивидуальности его заворожила. Куда идет она? Добьется ли этой свободной личной жизни, которой желает, или не сумеет обрести цели в работе и кончит разочарованием и одиночеством, как кто-то сбившийся с дороги и заблудившийся? Мир приводил Бобби в ужас, когда он думал о себе, но ужас этот становился еще больше, когда он думал об этой храброй маленькой фигурке, бросающей ему вызов.

Бобби был от природы врожденно боязлив; инстинктивно он искал надежности, безопасности, доброты и помощи. За свою работу «Тетушки Сюзанны» он держался ради обеспеченности. Он не верил, что Кристина-Альберта представляет себе хотя бы десятую часть опасностей, которые ее подстерегают — оскорбления, неудачи, унижения, пренебрежение, отверженность, усталость и тоска одиночества. Его воображение рисовало мучительную картину ее там, в темном, хаотичном, колоссальном и бестолковом Лондоне — такая хрупкая фигурка, легкая походка, гордо поднятая голова, руки, упертые в бока, и никакого представления о затаившихся чудовищных опасностях. Теперь, когда он начал понимать ее, ему становились понятнее многочисленные ясноглазые, смелые, трудные девушки, с которыми он знакомился последние годы, и впервые он смутно осознал значение того мощного, широкого движения женщин, которое принесло им право голоса и два десятка беспрецедентных свобод.

Многие эти совсем молодые девушки выполняли свою работу и умели постоять за себя совершенно так же, как мужчины. Они писали картины и рисовали, как мужчины, писали критические статьи, как мужчины, писали пьесы, романы, как мужчины, возглавляли общественные движения, занимались наукой, играли роль в политике. Как мужчины? Если подумать, то нет, не совсем. Да, они все еще оставались другими. Но то, что и как они делали, они делали не по-женски. Если не вложить неожиданные новые значения в это «по-женски». Романы, которые они писали, его чрезвычайно интересовали. Такие, как Стелла Бенсон, писали книги, как... кто угодно; по ее произведениям нельзя было определить, мужчина она или женщина. И все это опять-таки было новым. Джордж Элиот, пожалуй, была их провозвестницей. Пожалуй. Прежние литературные творения женщин, если были не «душечка я» книгами, то книгами «доброй тетечки». На каждой странице вы слышали шуршание юбок.

Они бесполые, эти новые? Бобби взвесил эпитет. Предыдущее поколение женщин, искавшее эмансипации, подавляло пол, подавляло его так яростно, что его негативное присутствие стало доминирующим фактором их жизни. Они перестали быть позитивной женщиной, они превратились в фантастично негативную женщину. Но это новое множество не столько подавляло, сколько забывало свой пол, не считалось с ним. Кристина-Альберта свела на нет свой пол, не восставая против него, а удешевив его для себя, как удешевляет для себя свой пол мужчина, так что для нее он свелся всего лишь к меняющими настроениям и неожиданным порывам, и она могла перейти к другим вещам.

Перейти к другим вещам. Его воображение вновь обратилось к маленькой фигурке, решившейся завоевать мир для себя вопреки всем традициям.

Он испытывал сильнейшее стремление помчаться за ней в Лондон, быть возле нее, вмешиваться, защищать ее, укрывать от всех опасностей. Но он знал, что ничего подобного она не допустит. Ему придется остаться только ее другом и товарищем, быть у нее всегда под рукой, а если с ней произойдет несчастье, быть при ней.

Странно, что ему хочется быть при этой молодой женщине, забывшей свой пол. Как-то неожиданно. Быть может, это было частью гигантских биологических изменений данного времени. В прошлом биологическому виду требовалось, чтобы половина составляющих его особей специализировалась на деторождении и выращивании детей. Теперь же, очевидно, эта нужда отпала. Великое почитаемое достоинство жены и матери теперь уже устраивало не всех женщин. Определенный их тип мог при желании довольствоваться им. Однако огромные множества женщин рождались теперь, чтобы обходиться без него. Некоторые станут миловидными пиявками, вскоре утрачивающими миловидность, паразитирующими на любви и на уважении к материнству, подделками, фальшивыми подобиями. Другие вырвутся к истинно индивидуальной жизни, станут третьим полом. Быть может, в новом мире не будет только двух полов, а сложатся признанные вариация и подразделения. Вот какие предположения строил Бобби. Ведь если есть женщины, не желающие рожать детей, есть и мужчины, не желающие властвовать над женой и детьми. Но они все равно будут хотеть любви. Каждая особь социального вида нуждается в любви, и претерпеть тут неудачу значит вырваться из социальной жизни к бесплодию одиночества. «Взаимное утешение», — процитировал Бобби. Прежде Бобби мечтал о любви детей. Даже теперь он твердо помнил, что особенно мечтал о дочке, которую мог бы защищать и наблюдать. Но теперь ее заслонили мысли о Кристине-Альберте, интерес к ней. Он поражался, обнаруживая, насколько всецело она им владеет. Пока ему была нестерпима мысль о любой жизни, если в ней главным фактором не будет Кристина-Альберта. Но он может быть ей нужен, только если она будет его уважать. Шансов быть при ней в подчинении у него было не больше, чем стать ее господином. Во втором случае она восстанет, в первом — будет его презирать. Они должны стоять рядом. А поскольку она умна, очень способна и твердо решила работать упорно и отличиться на избранном ею поприще, он тоже должен работать упорно и отличится на своем. Он должен быть ей равным, оставаться ей равным, поддерживать это равенство...

Вот почему он напишет великий роман — не просто роман, а великий.

Он вновь поглядел на аккуратный заголовок.

— «Вверх-вниз», — прочел он. — «Пешеходный роман».

И тут ему стало ясно, насколько это неверно.

Он думал написать историю странствований в мире, каков он есть; историю радостных приключений уравновешенного человека в до конца дней системе вещей. Но Бобби начинал понимать, что нет и никогда не было мира, каков он есть, но только мир, каким он был, и мир, каким он будет.

— «Новые люди»! — прошептал Бобби, обмакнул перо в чернила и заключил заголовок в рамочку из точек. Затем внезапно вычеркнул два слова «Вверх-вниз», и написал взамен «Новая страна».

— Это может быть заглавием любого значительного романа, — сказал Бобби.

Он глубоко задумался, а затем исправил подзаголовок на «История исследователя неведомых земель».

Он зачеркнул все, начиная, от «исследователя».

— Путешественника против воли, — сказал Бобби.

В заключение он вернул «Пешеходный роман» в качестве подзаголовка.

Тут он заметил, что из сада доносится прерывистое постукивание, посмотрел в ту сторону и увидел, что на песчаной дорожке дрозд пытается разбить ракушку улитки. Но мягкий песок дорожки служил плохой наковальней.

— Глупой пичуге следовало бы поискать кирпич или черепок, — сказал Бобби и прикинул. — Думается, все цветочные горшки заперты в сарае...

— Не нравится мне, что эта пичуга попусту тратит все утро...

— Это и минуты не займет...

Он встал, вышел через узкую стеклянную дверь рядом с окном и отправился на поиски кирпича. Вскоре он вернулся с ним.

Но не пошел назад в кабинет, потому что, ища кирпич, заметил другого молодого дрозда, который забрался под сетку, накрывавшую клубнику, и насмерть перепугался, дурачок. А потому он вернулся туда освободить пленника. Минуты шли, а он все не возвращался. Быть может, увидел еще какое-нибудь живое существо, нуждающееся в помощи.

Тут в кабинет через открытую стеклянную дверь проник легкий ветерок, подхватил бумажный лист, который должен был представить нашего героя, и с плавной многозначительностью опустил на дрова, уложенные в камине. И там он пролежал долгое время.

1. Сказанное мимоходом *(лат.).* [↑](#footnote-ref-1)
2. Летучая Мышь (*фр* .). [↑](#footnote-ref-2)
3. Здесь: уверенность *(фр.).* [↑](#footnote-ref-3)
4. По пути *(фр.).* [↑](#footnote-ref-4)
5. Название планшетки для спиритических сеансов, составленное из «уи» и «я» — соответственно «да» по‑французски и по‑немецки. — *Примеч. пер.* [↑](#footnote-ref-5)
6. благовоспитанной молодой женщиной *(фр.).* [↑](#footnote-ref-6)
7. Не существует *(лат.).* [↑](#footnote-ref-7)
8. Что и требовалось доказать *(лат.).* [↑](#footnote-ref-8)
9. В конечном счете *(фр.).* [↑](#footnote-ref-9)